

Владимир  
Рудинский



Вечные  
ценности

Статьи  
о русской  
литературе

Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы

Владимир Рудинский

**Вечные ценности. Статьи  
о русской литературе**

«Алетейя»

## **Рудинский В.**

Вечные ценности. Статьи о русской литературе / В. Рудинский — «Алетейя», — (Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы)

ISBN 978-5-907189-77-5

Собраны очерки Даниила Федоровича Петрова (псевдоним Владимир Рудинский; Царское Село, 1918 – Париж, 2011), посвященные русской художественной и публицистической литературе, а также статьи по проблемам лингвистики. Тексты, большинство которых выходило в течение более 60 лет в газете «Наша Страна» (Буэнос-Айрес), а также в другой периодике русского зарубежья, в России публикуются впервые.

ISBN 978-5-907189-77-5

© Рудинский В.

© Алетейя

## Содержание

Патриарх русской зарубежной публицистики	7
Русская классическая литература	11
Основные образы нашей литературы	11
Юмор в русской литературе	15
Несправедливо забытые	19
Кельтские мотивы в русской литературе	21
Малайцы у русских классиков	31
Индия духа	38
Музыка великого времени	40
Мудрость Жуковского и тупость декабристов	41
Иной Грибоедов	43
Певец империи. К 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина	46
Не тот Пушкин	48
Фурий и Аврелий	50
Мир во зле лежит	54
Ангел, а не демон	58
Забытая годовщина	62
А. Муравьев. «Путешествие по святым местам русским» (Москва, 1990)	66
Миф о Белинском	67
А. Ишимова. «История России в рассказах для детей» (Москва, 2004)	68
Благочестивая Россия	69
Забытый эпизод истории	70
Черное добро	71
М. Волконский. «Темные силы» (Москва, 2008)	72
М. Волконский. «Мальтийская цепь» (Москва, 2007)	73
Монархия и республика	75
Столкновение героев	76
Ключи несчастья	77
Тайны блока	78
Пара слов в защиту Гумилева	80
Драматургия Гумилева	83
Советская литература	85
«Подсоветский»	85
Авгиевы конюшни	86
Что с нею делать	88
Правые и левые в литературе	89
Скат в бездну	90
Спрос и потребление	92
Тяга к пустоте	93
Кризис литературы	94
Художественная литература	95
Ч. Де Габриак «Исповедь» (Москва, 1999). Л. Агеева	95
«Неразгаданная Черубиина» (Москва, 2006)	
М. Петровых. «Прикосновение ветра» (Москва, 2000)	96

Певец фантастического города	99
Тоска по Богу	101
«Романтика! Мне ли тебя не воспеть!» К сорокалетию со дня смерти Эдуарда Багрицкого	102
Ревнивица	107
Слова мудрости	108
Мудрость и лжемудрость	109
Два советских романа	110
Возрождение авантюры	114
Новинки советской литературы	117
Н. Задорнов. «Амур-батюшка» (Москва, 2008)	120
Леонид Соболев «Морская душа» (Москва, 1955 г.)	121
Уроки истории	122
Советский роман об Египте	124
Мост в пустоту	125
Преступники и герои	126
Проклятое прошлое	128
А. Рыбаков. «Дети Арбата» (Москва, 1987)	129
Кровь вопиет к небу	130
А. Рыбаков. «Страх» (Москва, 1990)	132
А. Рыбаков. «Прах и пепел» (Москва, 1994)	134
Прах и пепел	135
Реквием преступникам	136
Василий Аксенов. «Москва Ква-Ква» (Москва, 2006)	137
Василий Аксенов. «Вольтерьянцы и вольтерьянки» (Москва, 2004)	139
Вознесенский. «На виртуальном ветру» (Москва, 1998)	140
Б. Окуджава. «Свидание с Бонапартом» (Москва, 1985)	142
А. Битов. «Оглашенные» (Москва, 1995)	144
Скучный совет	145
Аркадий и Борис стругацкие. «Хромая судьба» (Москва, 1989)	146
С. Лукьяненко. «Последний дозор» (Москва, 2006)	148
П. Дашкова. «Чеченская марионетка» и «Место под солнцем» (Москва, 2000)	150
А. Проханов. «Господин Гексоген» (Москва, 2002)	152
Э. Радзинский. «Игры писателей» (Москва, 2001)	153
В. Токарева. «О любви и о нас с вами» (Москва, 2010)	155
Людмила Улицкая. «Люди нашего царя» (Москва, 2005)	156
Н. Медведева. «В стране чудес» (Тель-Авив, 1992)	158
Б. Акунин. «Алмазная колесница» (Москва, 2003)	160
Б. Акунин. «Внеклассное чтение». (Москва, 2002)	162
Борис Акунин. «Ф. М.». (Москва, 2006)	164
Б. Акунин. «Сокол и ласточка» (Москва, 2009)	165
Б. Рябухин. «Кондрат Булавин» (Москва, 1993), «Степан Разин» (Ростов-на-Дону, 1994)	166
В. Бахревский. «Никон» (Москва, 1988)	167
Суд над левой интеллигенцией	169
Василий Белов. Воспитание по доктору Споку (Москва, 1978)	170
В. Белов. «Все впереди» (Москва, 1987)	171

В. Астафьев. «Жизнь прожить» (Москва, 1986)	173
Писатель русской земли	175
1. Всяк сущий в ней язык	175
2. Край родной долготерпенья	177
3. Наперекор стихиям	179
Послесловие	181
В. Солоухин. «Соленое озеро» (Москва, 1994)	184
В. Солоухин. «Последняя ступень» (Москва, 1995)	186
Двойная бухгалтерия	188
Литература народов СССР	190
Солнечный владыка	190
Убивающие душу	192
«Пермский край» (Пермь, 1990)	194
Я. Кулдуркаев <sup>183</sup> , К. Абрамов <sup>184</sup> , Н. Эркай <sup>185</sup> . «Кезэрень пингедэ эрзянь раськеде» (Саранск, 1994); И. Кривошеев <sup>186</sup> . «Кочказь произведеният» (Саранск, 1998)	196
Литературы Поволжья	198
Конец ознакомительного фрагмента.	200

# **Владимир Рудинский**

## **Вечные ценности. Статьи**

### **о русской литературе**

#### **Патриарх русской зарубежной публицистики**

Вашему вниманию предлагается сборник статей самого старинного, самого многолетнего (почти 63-летний стаж – уникальный случай для русской, да и мировой публицистики), самого плодотворного и многогранного сотрудника аргентинской газеты «Наша страна» – Даниила Федоровича Петрова.

Активнейший монархический деятель; верный сын Зарубежной Церкви; талантливый писатель; крупный ученый-лингвист, владевший десятками языков, обладавший энциклопедическими познаниями и совершенно феноменальной памятью; поразительно работоспособный труженик, не переставший писать до последнего дня своей долголетней жизни (а прожил он без малого 94 года), Даниил Федорович Петров представлял собою целую эпоху в жизни русской политической эмиграции, являлся ее богатейшим олицетворением. Рудинский блестяще писал на все затрагиваемые им темы, ум его был столь же острым, как и его перо. А какие ясность суждений и богатство языка!

...Даниил Федорович родился в Царском Селе 3 мая 1918 года (в то время это было Детское Село; название «Пушкин» присвоили перед самой Второй мировой). Сын врача, он окончил там школу. А потом в Ленинграде – филологический факультет, где изучал романские языки.

Путь журналиста, литературоведа и ученого-лингвиста Даниил Федорович начал сразу же после войны, как только оказался в эмиграции, и поскольку писать под своим именем было опасно, он выбрал себе псевдоним «Владимир Рудинский». Примерно в то же время появился другой его персонаж, «Аркадий Рахманов». С тех пор все его статьи выходили под псевдонимами, исключение он делал лишь для научных лингвистических статей, которые подписывал своей настоящей фамилией. Публиковался Даниил Федорович во множестве журналов выходивших в лагерях Ди-Пи – в Германии, в Италии, особенно у Н. Н. Чухнова, впоследствии редактора нью-йоркского монархического журнала «Знамя России». С Иваном Солоневичем завязал переписку, когда тот был еще в Германии. Первая статья Рудинского в «Нашей стране» появилась в № 6, от 11 ноября 1948 (!).

Даниил Федорович писал под целым рядом псевдонимов: Владимир Рудинский, Аркадий Рахманов, Геннадий Криваго, Виктор Штремлер, Елизавета Веденеева, Савва Юрченко, Вадим Барбарухин, Гамид Садыкбаев...

Его многочисленные персонажи-псевдонимы жили как бы своей жизнью, в разных странах, и отвечали за различные тематики и направления. Это был целый мир непохожих друг на друга личностей. Так, парижанин Аркадий Рахманов писал исключительно на лингвистические темы и вел в «Нашей стране» рубрику «Языковые уродства», неустанно борясь за чистый и правильный русский язык, и резко и непримиримо критикуя всевозможные модернизмы, новояз и просто лингвистические ляпы, допускаемые писателями и журналистами, как отечественными, так и русского зарубежья. Канадец Гамид Садыкбаев вел рубрику «Монархическая этнография» и публиковал исследования по истории народов России дореволюционного и советского периодов. Савва Юрченко из Швеции был, наряду с Владимиром Рудинским, ведущим литературоведом газеты и ответственным за рубрику «Среди книг». Геннадий Криваго из Италии, Виктор Штремлер из Греции и лондонец Вадим Барбарухин выступали с краткими



заметками и письмами на разные темы, принимали участие в рубрике «Трибуна читателя», печатали дополнительные комментарии на темы, уже разобранные Владимиром Рудинским. Иногда персонажи эти не соглашались друг с другом, спорили и даже критиковали друг друга. И, наконец, Елизавета Веденеева из Бельгии в течение многих лет была политическим рупором Даниила Федоровича, и ее рубрика «Миражи современности» часто была самым острым, эмоциональным и ярким разделом газеты, печатавшимся, как правило, на первой полосе.

Кроме «Нашей страны», он писал в парижских «Возрождении», «Русской мысли», «Русском пути» и «Русском Воскресении», брюссельском «Часовом», нью-йоркских «Знамени России», «Заре России», «Новом журнале», «России», «Наших вестях» и «Новом русском слове», сан-францисской «Русской жизни», канадском «Современнике», германских «Русском ключе» и «Голосе Зарубежья», аргентинском «Вестнике».

Помимо очерков и статей, писал Даниил Федорович и художественные произведения, рассказы и новеллы, многие из которых в конце концов были собраны в книге «Страшный Париж», вышедшей в 1992 г. в Иерусалиме и в 1995 г. в Москве. На родине автора, в библиографическом справочнике «Литература и искусство» о ней писалось:

*Этот уникальный, написанный великолепным языком и на современном материале, «роман в новеллах» можно отнести одновременно к жанрам триллера и детектива, эзотерики и мистики, фантастики и современной «городской» прозы. Подобная полифония в одной книге удалась автору благодаря лихо «закрученному» сюжету. Эзотерические обряды и ритуалы, игра естественных и сверхъестественных сил, борьба добра и зла, постоянное пересечение героями границ реального мира, активная работа подсознания, – вот общая концепция книги. Герои новелл «Любовь мертвых», «Дьявол в метро», «Одержимый», «Вампир», «Лицо кошмара», «Египетские чары» и др., оказываясь в водовороте загадочных событий, своими поступками утверждают: Бог не оставляет человека в безнадежном одиночестве перед лицом сил зла и вершит Свое высшее правосудие.*

В начале своей парижской жизни он активно участвовал в общественной жизни, выступал на собраниях, делал доклады. А также проучился два года в Богословском институте на рю Крме, находящемся в юрисдикции Парижской Архиепископии. Потом его исключили – фактически за то, что поехал в Брюссель на съезд имперцев, не испросив разрешения, хотя это было во время каникул. Там познакомился с монархическим деятелем Н. Н. Воейковым, с которым у него завязалась дружба на всю жизнь.

Затем поступил в Школу восточных языков, где изучал малайский, и ее окончил. Лингвистикой занимался всю жизнь. По Ленинградскому университету знал языки: французский, испанский, португальский, итальянский, румынский, латынь, английский. По Школе языков – немецкий. Позже изучал многие другие, включая малайско-полинезийские.

В первые десятилетия эмиграции Даниил Федорович жил часто впроголодь, все средства и свободное время отдавая служению России и монархической идее. И на протяжении 20-ти лет работал ночным сторожем. Он! Который сделал бы честь любой академии наук!

Один момент работал из Парижа на американском радио в Мюнхене; его пригласил писатель Гайто Газданов. Но руководителям радиостанции он не подошел, так же как и они ему; не из-за качества, конечно, а из-за политических взглядов.

Был представителем в Париже Высшего Монархического Совета и монархической подпольной организации «Русские Революционные Силы». Когда в 1960 г. в Париже ожидался приезд Хрущева, Даниил Федорович, в числе других антикоммунистов, был арестован французской полицией и сослан на Корсику, в город Иль-Русс, как опасный для советских главарей монархист. После этого, когда кто-то из большевицких «вождей» приезжал во Францию, Петрова заставляли являться в участок расписываться.

Помимо журналистской, общественно-политической и литературоведческой, Даниил Федорович вел большую научно-исследовательскую работу. Несколько лет трудился во фран-



цузском Центре научных исследований, а потом в отделе американского Йельского университета. Там составлял рефераты научных статей из журналов и книг на десятках разных языках, – по лингвистике, истории, литературе и пр.

Работы Даниила Федоровича в области лингвистики (он занимался сопоставлением австронезийских и индоевропейских языков), – увы, доселе в значительной степени не обнародованные, – имеют не только научное, но и богословское, религиозное значение, доказывающая существование первоначального единого языка человечества, исходящего от одной, и очевидно небольшой, группы. Если не из единой пары. А научное доказательство, что некогда был единый язык у человечества (а значит и общие предки), было бы свидетельством об истинности библейского повествования. И, следовательно, подтверждением христианству.

Многое было утеряно из того, что Даниил Федорович собирал всю жизнь. Вольно или невольно, но в 1999 году, когда он находился в больнице, при ремонте его квартирки была уничтожена значительная и очень ценная часть его архива, в частности, коллекция редчайших журналов и газет, где он сотрудничал. Уникальные, почти нигде не сохранившиеся. На машинке, потом типографским способом, – Чухнова в германских лагерях, Ефимовского в Париже, Сакова в Италии, Шапкина в Аргентине, по-французски «Russie-URSS» Майера, и многое другое, всего не пересчитать. Это была его гордость и радость, вся монархическая мысль эмиграции за весь период жизни целого поколения!

Слава Богу, значительная часть уцелевшего архива Даниила Федоровича была все же передана в русский отдел архива Бременского университета. Однако Никита Струве отказался передать оставшийся ценный материал в Дом Русского Зарубежья им. Солженицына. Буквально до самой своей кончины Даниил Федорович продолжал горько жаловаться на то, что его научные работы так и пропадут, равно как и не переданная в Бремен часть его архива, включая фотографии, книги и лингвистические рукописи. К сожалению, его худшие ожидания только подтвердились после его смерти. Нелегка была земная жизнь Даниила Федоровича Петрова, не сохранилась наиболее ценная, с его точки зрения, часть архива после его кончины, не стала пухом ему приютившая его французская земля.

Завещание, в котором он распорядился, чтобы его лингвистические рукописи, содержащие открытия в области малайского языка, фотографии, а также лингвистические и другие ценные и редкие книги были переданы на хранение в научный архив Бременского университета, так и не было выполнено. Наиболее ценная часть лингвистических рукописей была вывезена в Россию, а оставшаяся часть архива находится неизвестно где. Кроме того, поскольку Даниил Федорович не имел родственников во Франции и не оставил в завещании формальных распоряжений относительно своих похорон, его останки хранились по французским законам во временной могиле пять лет, а затем были кремированы, а прах развеян, в соответствии с буквой закона, над специально отведенным участком кладбища, где за многие годы таким же образом был развеян прах многих других не имевших наследников парижан.

Рудинского больше нет среди нас, но он жив в своих трудах. И это не клише. Потому что он пишет, как дышит. Что ни подвернется ему под перо, все живет и блесит, и восхищает. В десять, пятнадцать минут любая картина готова. Такой легкости и ясности, пожалуй, еще не знала публицистика наша. Произведения его, которые были опубликованы в «Нашей стране», можно прочесть в соответствующих номерах на сайте газеты.

Предлагаемый сборник дает возможность российскому читателю ознакомиться со статьями Даниила Федоровича Петрова (Владимира Рудинского), посвященными русской классике, советской художественной литературе и публицистике, а также с лингвистическими работами, опубликованными в журналах и газетах русского зарубежья.

*Николай Казанцев,  
июнь 2019 г.,  
Буэнос-Айрес*

## Русская классическая литература

### Основные образы нашей литературы

Если мы попробуем разобрать героев нашей литературы с точки зрения их отношения к обществу и государству, мы легко можем убедиться, что они делятся на два основных типа: тип бунтаря, лишнего человека, индивидуалиста, и тип строителя, верного слуги Государя и Отечества, преданного чувству долга и традициям предков. Изображая подобных персонажей, русские писатели следовали жизни, ибо люди того и другого рода никогда не переводились на нашей родине. Было бы более трудно с точностью определить, к какой из этих категорий принадлежит тот или иной из известных нам живых людей или исторических деятелей. Скажем, Стеньку Разина или Пугачева можно отнести к первой группе, но Ермак, начавший как бунтарь, кончил как строитель, расширяя границы Российской Империи. Более того, в нашем прошлом мы находим целые общественные слои людей подобных ему: все казачество вербовалось из беглых преступников и людей, так или иначе восставших против власти, а между тем в дальнейшем служило центральному правительству, завоевывая для него новые территории и отбивая атаки врагов на пределы России. Вспомним также, что, например, народоволец Тихомиров стал впоследствии самым выдающимся теоретиком и идеологом русского монархизма. С другой стороны, и представители второго типа иногда оказывались в конфликте с государством и яростно с ним воевали; так, их, верно, немало было среди стрельцов и староверов, противившихся реформам Петра. Быть может, как та, так и другая формация были необходимы для роста страны и ее прогресса, хотя теперь, в свете последних событий, мы склонны отдавать все наши симпатии одним созидателям и лояльным гражданам в ущерб новаторам и разбойникам.

Вот почему удобнее всего анализировать эти типы на образах, созданных литературой, которые более заострены и ярче определены в ту или иную сторону. Без преувеличения можно сказать, что большинство наших классиков рисовали фигуры и того, и другого лагеря, но обычно более яркие и сценичные типы бунтарей сильнее привлекали внимание публики. У Пушкина есть любовно обрисованные Гринев и Миронов; но Евгений Онегин как бы оттесняет их на задний план, хотя Пушкина никак нельзя обвинить в идеализации «байронического героя»: и Онегин, и его братья – Алеко, кавказский пленник, – предстают перед нами как вольные и невольные убийцы, всюду несущие с собою горе и беспорядок. Не более того можно обвинить в подобных симпатиях и Лермонтова: героем он называет Печорина лишь в насмешку и говорит о нем: «портрет, составленный из пороков всего нашего поколения». Моральное превосходство Максима Максимыча не вызывает сомнения. Лермонтов к тому же типу возвращался и еще не раз: вспомним героя его «Завещания», который, прощаясь с жизнью, просит передать родным, «что умер честно за Царя...» Такие все люди долга у Льва Толстого: Хлопов из «Рубки леса»<sup>1</sup>, Михайлов из «Севастопольских рассказов», тогда как лишних людей он изображал также вдоволь: князь Нехлюдов, герой «Живого трупа», Протасов, и т. д. Лесков был мастером в изображении положительного типа в коротких очерках, как «Человек с ружьем» или «Очерках архиерейской жизни». Но его Иван Северьянович, хотя и вышедший из глубины народа, принадлежит скорее к бунтарям, если не к лишним людям. Сродни Лескову в этом отношении Мельников-Печерский с его множеством типов старинной, кондовой Руси;

---

<sup>1</sup> Капитан Павел Хлопов – персонаж рассказа Л. Н. Толстого «Набег», упоминающийся также в рассказе «Рубка леса».

но и среди его строителей и собирателей нередко мелькают отчаянные бесшабашные герои сорвиголовы в стиле Васьки Буслаева нашего эпоса.

У Гоголя – может быть потому, что Великороссия не была для него родной стихией – труднее найти социально-положительный образ; быть может, его следует видеть в Тарасе Бульбе, несмотря на свою безудержность и необузданность, преданном идее Руси.

Своеобразно преломляется образ строителя у Алексея Константиновича Толстого, у которого он дан многократно, но более или менее, всегда в моменты конфликта с государством, в периоды резких кризисов и переходов: таковы и князь Серебряный, и Максим Скуратов, и князь Иван Петрович Шуйский, и даже Митька. У Василия Шибанова, тоже жертвы долга, дело осложнено феодальной проблемой выбора между верностью сюзерену или главе государства. Может быть ярче всего положительный образ дан в эпизодическом образе гонца из Пскова в «Смерти Ивана Грозного». Классический же тип бунтаря, разбойника, вы встречаем в лице Ванюхи Перстня, он же Иван Кольцо.

У Грибоедова положительные образы даны лишь в виде сатиры: Молчалин, Скалозуб. Остается вспомнить слова Пушкина, что в «Горе от ума» один умный человек – Грибоедов; он сам, блестящий чиновник, своей работой при жизни и своей героической смертью, бесспорно доказал свою верность России. Гончаров в «Обрыве» гораздо более ярко сумел изобразить революционера Волохова, чем положительного героя Тушина. Но в погоне за образами скромных, надежных, смелых людей, верных сынов отечества, нам лучше всего оставить его чисто беллетристические произведения и обратиться к простой зарисовке им действительной жизни: откроем «Фрегат Палладу», и мы встретим этот тип в любом из его офицеров и матросов.

Достоевский во многих отношениях представляет собою кульминационную точку в русской литературе. Станным образом, он не дает нигде изображения того положительного героя, о котором мы говорим выше. Вернее, он не дает его в его простом и химически чистом виде; зато дает массу его разновидностей со всевозможными осложнениями и вариациями в его становлении, разрушении, переломе и т. п. Таковы и Шатов, и Алеша Карамазов, и старец Зосима. Но о них, если говорить вообще, надо поговорить отдельно и более пространно, чем мы можем сделать тут.

Мы пока говорили исключительно о явлениях большой литературы. Творчество ряда наших левых писателей сюда не относится. Но нам хочется вскользь коснуться одной проблемы. Для левой литературы характерно слепое преклонение перед западом. Но в то время, как западные писатели, даже критикуя порядки внутри своей страны, всегда с безусловным почтением говорят об ее культуртрегерской роли в колониях, наши либералы в этих случаях склонны были действовать наоборот. Для Киплинга всякий английский чиновник в Индии герой и сверхчеловек: даже если он пьет, или не прочь соблазнить жену товарища, он всегда искупает это своим героизмом в несении «бремени белого человека». Таким же тоном говорят и Пьер Милль<sup>2</sup> или Клод Фаррер<sup>3</sup> о французских колонизаторах, в действительности, кажется, еще меньше стоящих похвал, чем английские. Для русских «леваков», обычно наблюдавших окраины в положении ссыльных, все чиновники и администраторы были заранее осуждены; они изображаются в виде безнадежных пьяниц, взяточников, тиранов, самодуров и т. д., и т. п. Нельзя не даваться диву, что они тем не менее так много сделали для всех глухих концов России. Своеобразие оценки и ее надежность напоминают нам отрывок из мемуаров известного

---

<sup>2</sup> Пьер Милль (Pierre Mille; 1864–1941) – французский писатель, журналист. Один из учредителей и президент Ассоциации колониальных писателей.

<sup>3</sup> Клод Фаррер (Claude Farrère; наст. имя Фредерик Шарль Эдуар Баргон; 1876–1957) – французский писатель. Автор популярных приключенческих, фантастических и детективных произведений. Член Французского комитета защиты преследуемой еврейской интеллигенции и Ассоциации защиты памяти маршала Ф. Петена; председатель Союза писателей-комбатантов. В 1959 была утверждена литературная премия его имени.

революционера Зензинова<sup>4</sup>. Бежав из ссылки, он выдавал себя за ученого геолога, путешествующего по Сибири с изыскательными целями. Каков был его ужас, когда он однажды обнаружил в исправнике, которому поднес эту историю, геолога-любителя и коллекционера, совершенно сбившего его с толку своими разговорами о предмете, о каковом сам Зензинов имел весьма смутное представление. Мы приводим этот эпизод только для того, чтобы лишний раз напомнить, что многое, очень многое, в массе воспоминаний, очерков, литературных произведений левого лагеря надо принимать *cum grano salis*<sup>5</sup>; в том числе и превосходство авторов по их культурному и моральному уровню надо всеми честными слугами царского правительства.

Продолжая наш анализ основных типов русской литературы, мы без труда обнаружим те же самые два типа и в советской литературе. Некоторые из писателей рисуют их на фоне дореволюционной жизни: Сергеев-Ценский («Севастопольская страда», «Брусиловский прорыв»), В. Шишков («Угрюм-река»); другие на фоне революции. Так, в «Тихом Доне» Шолохова они даны в рамках одной семьи, Петро Мелехов служит государству с великоросским терпением и стойкостью; никакие ужасы и тяготы войны его не пугают; он мужественно переносит все, а когда его производят в офицеры, принимает это как большую удачу и благодарен за нее Богу и Царю. Приходит революция, и он без труда находит свое место в стане ее противников, и в нем сражается, пока не теряет жизнь. Иное дело его брат Григорий. Его нервную, мятущуюся натуру война сразу надламывает; вид страданий и крови действует на него так, что все идеалы, воспринятые от отца – верность Царю, вера в Бога – рушатся как карточный домик... А тут еще ловкая, вкрадчивая агитация большевиков. Он кидается к красным, но, когда разбирается в них лучше, принужден воротиться в правый лагерь. Здесь он никак не придумает, чем заменить прежнее мировоззрение, бросаясь то к казачьим сепаратистам, то к партизанам махновского типа, и не находит себя до конца романа, хотя и искупает свои ошибки отважной борьбой против коммунистов.

Вспоминаю детские годы, первые образы, какие могу вызвать в памяти, годы НЭПа и последующие за ними... Мой отец на военной службе. Но вечерам у него нередко собираются поболтать и поиграть в карты однополчане, почти сплошь бывшие офицеры, теперь советские командиры. В своей среде они по-прежнему целуют ручки дамам и, когда нет комиссаров, оживают и весело разговаривают на разные темы, как настоящие русские интеллигенты, без осточертевшего шаблона революционной фразеологии. Посейчас помню многие лица, имена... помню и то, как они один за другим исчезали, и как отец или вообще о них больше не говорил, или упоминал, что они арестованы... помню и то, как его несколько раз вызывали на допросы, допытываясь, о чем он говорил, для чего встречался с тем или иным из осужденных «врагов народа», как он, усталый и бледный, морщась, рассказывал про это матери. Среди них, может быть, был и толстовский Вадим Роцин?

Что до Телегина, то трудно ли догадаться, что с ним должно было случиться? Крестный путь русской интеллигенции до сих пор вызывает чувство боли в моей душе; может быть, отчасти потому, что в детстве и юности, когда впечатления воспринимаются острее, я видел ее страдания, но не сознавал ее вины, ее греха перед старой Россией... Подростком, позже студентом, я уже не удивлялся внезапным исчезновениям знакомых, моих профессоров, сослуживцев и друзей моих родных; страшные еженощные рейды «черного ворона» ни для кого не были секретом. В истреблении интеллигенции Советами была жуткая планомерность. Их мечтою было уничтожить старую интеллигенцию, постепенно заменяя ее по мере возможности новой, фабриковавшейся главным образом из социальных низов и долженствовавшей быть всецело преданной новому режиму. Видя перед собой неизбежную страшную участь, старая интелли-

<sup>4</sup> Владимир Михайлович Зензинов (1880–1953) – журналист, политический деятель. Революционер, член партии и боевой организации эсеров. С 1919 в эмиграции, сначала во Франции, затем в США, где до конца жизни жил в Нью-Йорке. Издавал журнал «За свободу», сотрудничал в газете «Новое русское слово» и «Новом журнале».

<sup>5</sup> *Cum grano salis* (лат.) – с оговоркой, с осторожностью.

генция, замыкаясь в себе, с ужасом думая о том, что ждет ее детей, ежеминутно была готова к смертельному удару. Но та новая интеллигенция, на которую уповал большевизм, быстро обманула его надежды. Не потому, чтобы она не сумела достигнуть технического уровня старой... но потому, что Советы вскоре распознали в ней такую же лютую ненависть к себе, какой – они знали – горели ученые и специалисты старшего поколения, будь они в прошлом членами Союза Русского Народа или партии эсэров. За процессами «шахтинцев» и «Промпартии» последовали бесконечные процессы, жертвами которых были молодые интеллигенты, воспитанные уже при советском строе. Их обвиняли то в шпионаже, то в буржуазном национализме, то в разного рода вредительстве – их действительная вина была в негодовании против большевизма, которого они не в силах были скрыть. Большевизм, как Хронос, пожирал собственных детей, но не мог – и никогда не сможет – истребить в душе русского народа ни стремления к свободе, ни стремления к справедливому, человеческому порядку.

В этом, без сомнения, заключен смертный приговор советскому режиму – хотя бы исполнение этого приговора и затянулось еще на много лет. Он не может опереться ни на одну из двух категорий, из которых, в общих чертах, состоит русский народ, весь в целом, не только интеллигенция. Индивидуалисты, которым даже царский строй казался стеснительным, никак не могут улечься на прокрустово ложе «народной демократии», тогда как люди долга и порядка воспринимают все то, что делается сейчас в России, как сплошной беспорядок, несправедливость и хаос.

*«Наша страна», Буэнос-Айрес, 24 мая 1952 г., № 123, с. 4.*

## Юмор в русской литературе

Трудно согласиться со словами В. Крымова<sup>6</sup> в его – в целом очень интересной – статье «С разных листков» в номере «Нового русского слова» от 26 апреля, о том, что у Пушкина в его произведениях мало юмора, а больше иронии и даже злобности.

Если мы возьмем, например, «Капитанскую дочку», то весь образ Савельича дан именно в юмористических тонах. Он комичен, но симпатичен и мил, так что об иронии по отношению к нему не может быть и речи. Впрочем, забавен местами и Гринев. Вспомним, как он пишет стихи к Маше, или как он объясняет немцу-генералу, которому вручает рекомендательное письмо от своего отца, что «держат в ежовых рукавицах» означает «давать побольше воли». Забавен порою даже и Пугачев, который не может разобрать «слишком мудрено написанную» челобитную Савельича, тогда как на деле он попросту неграмотен. Да и капитан Миронов с женою и его одноглазый помощник описаны не без улыбки, хотя они бесспорно положительные персонажи и вызывают у чуткого читателя не только симпатию, но – в момент их героической смерти – и восхищение.

Не иначе обстоит дело и в «Повестях Белкина». И биография Белкина, и «История села Горюхина» полны самого настоящего юмора, и он же в различных дозах раскидан по всем белкин-ским рассказам. Приведем в пример образ Алексея из «Барышни-крестьянки». Это не только жизнерадостный и веселый, но и очень порядочный молодой человек, в общем симпатичный и автору, и читателю; но Пушкин все время лукаво подсмеивается над его попытками принять романтическую позу и напустить на себя модное «байроническое» разочарование в жизни.

Много юмора у Пушкина и в драматических произведениях, где это можно отчасти приписать влиянию Шекспира; им отмечен в «Борисе Годунове» капитан Маржерет, в «Дон Жуане» Лепорелло, а местами и сам Дон Жуан.

Перейдем ли мы от прозы к стихам, и тут по «Руслану и Людмиле» разбросан заразительный и совершенно беззлобный смех, вроде рассказа о том, как Людмила подумала

Не буду есть, не стану слушать,  
Подумала – и стала кушать.

Эта же интонация типична для всех пушкинских сказок. А в «Евгении Онегине» Ленский, играя в шахматы с Ольгой,

пешкою ладью —  
берет в рассеяньи свою.

Вспомним, сам Пушкин, поймав случайно заглянувшего в гости соседа, «душит его поэмою в углу». Это ли не юмор?

Можно бы защитить от аналогичного упрека и Льва Толстого, о котором Крымов еще решительнее говорит, что у него «почти нет» юмора. Стоит перечитать «Анну Каренину», чтобы заметить, что юмор почти везде присутствует, лишь только на сцену появится Стива Облонский. Критики уже не раз обращали внимание на странность отношения Толстого к этому своему герою. С точки зрения морализаторства, столь присущего автору в пору написа-

---

<sup>6</sup> Владимир Пименович Крымов (1878–1968) – писатель, журналист, издатель. До революции издавал иллюстрированный журнал «Столица и усадьба», сотрудничал в «Новом времени» А. С. Суворина. В эмиграции жил во Франции. Автор многочисленных романов, рассказов и очерков.



ния этого романа, Стива должен бы вызвать у него негодование, – а на деле вызывает только приятельскую, почти сочувственную усмешку.

Можно предполагать, что чувство юмора у Толстого было развито сильно, и что если он его мало проявлял, то скорее всего из принципа, так как хотел писать серьезно, даже проповеднически. Но все же оно у него иногда прорывалось. Вспомним Ипполита Курагина из «Войны и мира» с его удивительными, ни к селу, ни к городу, замечаниями вроде «это, может быть, по дороге в Варшаву!», совершенно огорошивающими собеседников, тщетно ищущих в них скрытого смысла. Или, в другом роде, невероятно комичные разъяснения горничной из «Плодов просвещения» приехавшим из деревни землякам о том, как она облачает барыню в корсет. «Так ты ее, стало быть, засупониваешь?» – деловито отзывается вопросом один из мужиков.

Трудно, может быть, найти юмор у Тургенева. У него, в сущности, взгляд на мир полон грусти и жалости. Однако, в пьесах у него можно найти немало смешных ситуаций, да и в рассказах мелькает умышленно притушенный, но несомненный юмор, вроде рассказов «степного короля Лира» Харлова о том, что он происходит от «шведа Харлуса».

Крымков вполне прав, отмечая юмор у Достоевского. В самых серьезных и трагических его романах, рядом со страшными и раздирающими сценами, бывают страницы, над которыми можно покатываться со смеху, – вроде повествования отца Карамазова о некоем фон Зоне, который печально окончил жизнь, будучи убит в «блудилище», или маленькой картинки благочестивого купца в «Бесах», которому юродивый в знак особого благоволения накладывает множество сахара в чай, и который принимается «с умилением пить свой сироп».

Пример Гоголя, мрачного в жизни и веселого в творчестве (впрочем, далеко не всегда!) не должен нас особенно удивлять, ибо уже давно подмечено, что эти свойства присущи самым замечательным юмористам – ими обладали и Мольер, и Марк Твен. Но юмор Гоголя может быть в значительной степени следует отнести за счет его украинского происхождения. Юмор – характерная черта украинцев вообще, и в той части, где Гоголь писал о родных местах, его персонажи не могли бы, пожалуй, не остря, оставаться художественно жизненными и правдоподобными.

Великороссу юмор присущ поменьше, хотя у него есть свои специфические черты и свои самобытные свойства. Думается, правильно подметил Артур Конан Дойль в своей книге «Через магическую дверь», сказав, что у русских и англосаксов есть два общие качества: юмор и спокойное, лишенное рисовки, мужество в бою. Он, между прочим, последнее наблюдение делает по поводу рассказа одного британского корреспондента о том, как русские войска в крымскую кампанию шли в атаку с песней под убийственным огнем. Пораженный свидетель осведомился, что же они такое поют? Национальный гимн? Религиозный хорал? И ему в ответ перевели слова:

Как поставил меня батюшка  
капустку садить...

Анализ элемента юмора в русской литературе немало затрудняется тем, что все наши писатели испытали сильное французское влияние, и в результате далеко не всегда возможно провести у них грань между иронией, обычной у французов и вообще у романских народов, и юмором, типичным для англосаксов. В целом, однако, они скорее тяготеют к последнему. Скажем, у Фонвизина и Грибоедова больше иронии, но местами она определенно переходит в юмор, который не ставит целью осуждать, а описывает смешное не без оттенка сочувствия. У Крылова же с его лукавым простодушием эта стихия явно побеждает.

Лермонтов, с его мрачным романтизмом, с его остро-трагическим восприятием жизни, казалось бы, не должен был питать сильной склонности к юмору. Но нельзя не уловить его проблесков, когда он говорит о Максиме Максимовиче и, особенно, когда этот последний сам

говорит за себя. Это главным образом потому, что образ Максима Максимовича глубоко национальный, и вследствие того не мог не быть лишен столь важного оттенка нашего национального характера. Однако, юмор можно обнаружить и в других вещах Лермонтова.

Если мы обратимся к крупнейшим из более поздних наших поэтов, то у Некрасова юмор был очень многогранный, хотя поэт и не слишком часто пускал его в ход: порою с оттенком издевательства, как при изображении биржевиков, падких на всякие мошенничества, порою совершенно добродушный, как в «Коробейниках», хотя бы в описании торга:

Старый Тихоныч так божится  
Из-за каждого гроша,  
Что Ванюха только ежится:  
«Пропади моя душа!  
Чтоб тотчас же очи лопнули,  
Чтобы с места мне не встать,  
Провались я!...» Глядь – и хлопнули,  
По рукам! Ну, исполать!

Но, пожалуй, тем из русских поэтов, у кого юмор занял больше всего места в творчестве, составляя целую область его поэзии, был Алексей Толстой, давший столь замечательные вещи, как «Сон статского советника Попова», «Русская история от Гостомысла». «Баллада о камер-герере Деларю», не говоря уже об его участии в создании знаменитого Козьмы Прутова.

В прозе Чехов, собственно говоря последний из литературных деятелей нашего золотого века, считается мастером юмора. Как и Гоголь, Чехов был также человеком с пессимистическим взглядом на жизнь.

Любопытно задать себе вопрос, в какой мере это, свойственное русской литературе, юмористическое восприятие мира присуще литературам остальных славянских народов? В отношении самой в них замечательной, польской, ответ может быть только один: она в этом отношении никак не уступает русской. Сенкевич, один из самых знаменитых ее авторов, создал комический персонаж пана Заглобы, который через его «Трилогию» завоевал любовь читателей по всему миру. Сценки высокого комизма рассеяны и по менее известным вещам Сенкевича, как повесть «Та третья» или очерки о путешествиях, и находит себе место даже в таких, глубоко мрачных в целом, произведениях как «Наброски углем» или «Бартек победитель». Впрочем, и у более позднего Стефана Жеромского<sup>7</sup> юмористические и порою мастерские пассажи чаще всего заключены в романы грустные и иногда даже чрезмерно раздражающие. Отойдя же в более далекое прошлое, мы увидим, что и меланхолический Мицкевич обладал даром юмора, выраженного не только в «Пане Тадеуше», но и в таких стихотворениях как «Пан Твардовский», или «Сватовство». Более того, тот же национальный юмор сказался уже на самой заре польской литературы, у таких ее начинателей, как авторы XVI века Рей<sup>8</sup> и Кохановский<sup>9</sup>.

Более сомнительно, есть ли настоящий юмор у чехов, ибо хотя их литература дала таких мастеров как Ярослав Гашек и Карел Чапек, в их произведениях больше бичующей сатиры, чем спокойного юмора.

---

<sup>7</sup> Стефан Жеромский (Stefan Zeromski; 1864–1925) – польский писатель, драматург. Представитель польского критического реализма. Его роман «Пепел» был экранизирован режиссером А. Вайдой.

<sup>8</sup> Миколай Рей (Mikolaj Rej; 1505–1569) – польский писатель, поэт, общественный деятель. Один из основателей польской литературы; автор сборников стихов и эпиграмм «Зверинец» и «Зерцало».

<sup>9</sup> Ян Кохановский (Jan Kochanowski; 1530–1584) – польский поэт эпохи Возрождения, сыгравший значительную роль в развитии польской поэзии.

Справедливость требует добавить, что во всех литературах и даже во все эпохи встречаются иногда проявления самого подлинного юмора, даже в самом узком смысле – так, в романских литературах никак нельзя отрицать его наличия ни у Сервантеса, ни у Камоэнса<sup>10</sup>.

*«Новое русское слово», Нью-Йорк, 8 июня 1959, № 16881, с. 3.*

---

<sup>10</sup> Луиш де Камоэнс (Luis Vaz de Camoes; 1524–1580) – португальский поэт, драматург, один из основоположников современного португальского языка. Автор эпической поэмы «Луизиада».

## Несправедливо забытые

В сборнике «И. С. Тургенев. Вопросы биографии и творчества» (Москва, 1990) привлекает внимание пространное эссе Э. Гайнцевой под заглавием «И. С. Тургенев и “Молодая Плеяда” “Русского Вестника” 1870 – начала 1880-х годов».

Автор ядовито атакует писателей, объединившихся вокруг издаваемого М. Катковым<sup>11</sup> журнала. Передадим ей слово: «С конца 1860-х годов в “Русском Вестнике” существенную роль начинает играть группа беллетристов, которую критика журнала претенциозно называла “молодой плеядой московских писателей”. Влияние этой группы, в ней числились – Б. Маркевич<sup>12</sup>, В. Авсеенко<sup>13</sup>, граф Е. Салиас<sup>14</sup>, Д. Аверкиев<sup>15</sup>, позднее – К. Головин-Орловский<sup>16</sup> и др., усиливаясь в течение 70-х годов резко возрастает к исходу десятилетия».

В чем же Э. Гайнцева упрекает данную группировку? А вот: «Она должна была стать ударной силой в борьбе с революционно-демократическими и либеральными тенденциями в литературе. Призванная воспитывать общество в духе уважительного отношения ко дворянско-монархическому жизнеустройству и ненависти к тем общественным силам, которые его отрицают... она навязывала читателю модель действительности и идеал личности, сформулированные в соответствии с охранительной программой Каткова».

Из статьи вытекает, что в «Русском Вестнике» тех времен систематически сотрудничали Достоевский и, некоторый срок по крайней мере, А. Писемский<sup>17</sup>, Н. Лесков и Л. Толстой. Как мы видим из приводимых здесь же цитат, «плеяду» и в частности Б. Маркевича весьма высоко ценил К. Леонтьев. В правительственных кругах она пользовалась поддержкой К. Победоносцева<sup>18</sup>, Д. Толстого<sup>19</sup> и И. Делянова<sup>20</sup>.

О взглядах «Плеяды» можно судить по следующему пассажиру из разбираемой нами работы: «У многочисленных публицистов и критиков журнала крестьяне-землепашцы как “коренная народность” (“народная целина”) и дворянство – руководящая сила нации – противопоставлялись так называемому “общественному захолустью”, не имеющему корней ни в собственно народной среде, ни в “культурном обществе”. Слой этот “как пена носится на поверхности народной жизни... представляя самую нездоровую и разлагающую среду” – писал Авсеенко, – “Определить точные границы этого летучего слоя чрезвычайно трудно.

<sup>11</sup> Михаил Никифорович Катков (1818–1887) – издатель, критик, публицист, тайный советник. Редактор газеты «Московские ведомости».

<sup>12</sup> Болеслав Михайлович Маркевич (1822–1884) – писатель, публицист, литературный критик. Наиболее известным его трудом является трилогия, объединяющая романы «Четверть века назад», «Перелом» и «Бездна».

<sup>13</sup> Василий Григорьевич Авсеенко (1842–1913) – писатель, критик и публицист, действительный статский советник. Служил чиновником особых поручений в Министерстве народного просвещения. Издатель «Санкт-Петербургских ведомостей». Публиковался в журналах «Заря», «Русский вестник», газете «Русский мир». Наиболее известны его романы «Из-за благ земных», «Млечный путь», «Скрежет зубовный».

<sup>14</sup> Евгений Андреевич Салиас-де-Турнемир (1840–1908) – писатель, автор популярных историко-приключенческих романов и повестей. Сын писательницы Евгении Тур.

<sup>15</sup> Дмитрий Васильевич Аверкиев (1836–1905) – писатель, драматург, критик консервативного направления, близкий по взглядам к славянофилам. Наиболее известны его пьесы «Фрол Скобеев» и «Каширская старина».

<sup>16</sup> Константин Федорович Головин (псевдоним Орловский; 1843–1913) – писатель, публицист, драматург, общественный деятель.

<sup>17</sup> Алексей Феофилактович Писемский (1821–1881) – писатель и драматург. Редактировал журнал «Библиотека для чтения». Автор популярных в свое время романов и драм, в том числе антинигилистического романа «Взбаламученное море».

<sup>18</sup> Константин Петрович Победоносцев (1827–1907) – государственный деятель консервативных взглядов, литератор, действительный тайный советник, обер-прокурор Святейшего Синода.

<sup>19</sup> Дмитрий Андреевич Толстой, граф (1823–1889) – государственный деятель, историк. Обер-прокурор Святейшего Синода. Министр народного просвещения, министр внутренних дел, организатор реформы среднего образования.

<sup>20</sup> Иван Давыдович Делянов (1818–1897) – государственный деятель, действительный статский советник. Директор Публичной библиотеки, министр народного просвещения.

В обширном смысле он заполняет собою все пространство между образованным, руководящимся известными принципами и преданиями, обществом, и настоящим народом. Сюда сошлись люди, не принадлежащие ни к культурной, ни к стихийной жизни, не стоящие ни на какой твердой почве и чуждые всяких преданий”.

В высказываниях “Плеяды” “Художественная школа” – Пушкин, Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский, Писемский, Мельников-Печерский и др. – противопоставлялись разночинно-демократической литературе 60–70-х годов, как подлинное искусство, сложившееся на основе европейских художественных завоеваний и глубокой, созданной усилиями дворянства, культурной традиции... В соответствии с этой классификацией за пределами магистрального направления русской литературы оказывались писатели натуральной школы, Чернышевский и Добролюбов, Некрасов и Салтыков-Щедрин, Глеб Успенский и вся народническая литература».

Обо всех основных участниках катковской группировки следует сказать, что они были безусловно талантливыми романистами, хотя и не первого все же разряда. Их непризнание и забвение в позднейшем литературоведении в немалой степени надо объяснить последующим торжеством в оном левых идей. Из тех же, кого Э. Гайнцева им здесь противопоставляет, разве что один Некрасов являлся бесспорной и значительной величиной (каковы бы ни были его политические воззрения).

Что же касается убеждений, анализа истории развития нашей национальной литературы и эволюции общественных движений в России, – как не признать, что сотрудники «Русского Вестника» обнаружили очень трезвый и глубокий здравый смысл? Не заслуживали ли бы они в наши дни известной реабилитации, в качестве весьма интересных и отнюдь не бездарных литераторов, лучше большинства своих современников, понимавших притом пользу своей родины и угадывавших те пути, которыми ей предпочтительно было бы идти (но от которых она, увы, отвернулась в погоне за гибельными миражами!)?

*«Наша страна», рубрика «Среди книг», Буэнос-Айрес, 1 июня 1991 г., № 2130, с. 2.*

## Кельтские мотивы в русской литературе

Ирландия, самая значительная из кельтских стран и единственная, пользующаяся в наши дни государственной независимостью, хотя и была издавна хорошо знакома русской публике по переводам (преимущественно с английского и французского), почти не нашла у нас отражения в художественной литературе. За одним, но зато блестящим исключением: подразумеваю пьесу Н.С. Гумилева «Гондла».

Да не заподозрит читатель, что я совершаю ту же ошибку, что и вызванный спиритами дух Гамбетты в романе Пьера Бенуа «Дорога великанов»<sup>21</sup>: смешиваю Ирландию с Исландией! Действие гумилевской драматической поэмы и впрямь разворачивается в Исландии, но главный герой, Гондла, и главная героиня, Лаик, – ирландцы, и в одной из центральных сцен фигурирует целый отряд ирландцев.

Гумилев имел привычку, – убийственную для его обычно малокультурных критиков! – говорить лишь о вещах, которые знал до глубины. Поэтому, находя у него отклонения от летописной точности, следует видеть в них не промахи, а сознательную адаптацию фактов в пользу поэтического вымысла.

Впрочем, отклонений у Гумилева мало. Наоборот, подобно Пушкину, он сумел в кратких эпизодах передать самую суть раннесредневековой Ирландии, коснуться двух ключевых проблем ее существования: ее христианской миссии и ее оборонительной борьбы со скандинавами.

При попытке соотнести хронологический сюжет «Гондлы» с реальными событиями, трудности возникают не столько с ирландской, сколько с исландской стороны: упоминаемые тут деяния Эрика Красного<sup>22</sup> и колонизация Гренландии относятся не к IX, а к X в. Что до Ирландии, то в ней IX столетие – «золотой век», а X – апогей войны с викингами, кончившейся полным их разгромом.

К 800 г. кельты (милезианская раса ирландских преданий), проникнув на Зеленый остров то ли из Испании, то ли с юга Франции, целиком ассимилировали местные племена (загадочный народ богини Даны, фирбольгов и фомориан), распространились на северную половину Шотландии, создали свою высокую культуру и, мирно приняв крещение из рук святого Патрика (390–461), сделали ревностными проповедниками истинной веры на европейском материке (в частности, на территории нынешних Германии, Австрии, Нидерландов и дальше). Они являлись носителями не только новой религии, но и латинского (отчасти и греческого) просвещения и имели полное право именовать свою родину страной святых и ученых: их познания намного превышали уровень остального Запада. Приспособив латинскую письменность и заменив ею свой прежний огамический алфавит, они развили также первую по времени в Европе литературу на народном языке (необычайно разнообразную и богатую).

Составляя культурное целое (как, скажем, и наша Святая Русь), Ирландия, на беду, не была политически единой, распадаясь на ряд королевств (семь больших и множество подчиненных им мелких). Правда, надо всем возвышались верховный король или император – Ард Ри, и национальный совет – риг даиль. К несчастью, власть всеирландского короля становилась реальной лишь в руках выдающихся людей.

Между тем на эту страну, где «зеленое лето никогда не сменяет зима», надвигались черные тучи, надолго ставшие кошмаром для ее жителей, исторгая из их уст молитву: «A furore

<sup>21</sup> Пьер Бенуа (Pierre Benoit; 1886–1962) – французский писатель, автор популярных приключенческих романов, некоторые из которых за искажение истории России подвергались критике литераторами-эмигрантами (напр. см. статью «Клюквенный квас» в книге А. Ренникова «Потому и сидим»; СПб.: Алетейя, 2018, с. 765–774). Роман «La Chaussée des géants» в русском издании вышел под названием «Битва гигантов».

<sup>22</sup> Эрик Рыжий (Торвальдсон; 950–1003) – скандинавский мореплаватель, первооткрыватель Гренландии.

Normannorum libera nos, Domine!»<sup>23</sup> С начала IX в. на берегах Ирландии стали высаживаться люди с железными руками и железными сердцами, чужеземцы двух сортов – светловолосые норвежцы и темноволосые датчане.

Вопреки разобшенности сил, ирландцы довольно быстро среагировали на навалившееся на них вавилонское пленение (приведшее к разрушению монастырей с их сокровищами культуры и к основанию на побережьях скандинавских городов): в 848 г. ард ри Малахия нанес пришельцам тяжкое поражение. Но только в 1014 г. верховный король Бриан Бору их окончательно разгромил при Клонтарфе, причем в этой битве погибли он сам, его сын и его внук. Любопытно, что от Бриана Бору происходил по материнской линии генерал де Голль, видимо, унаследовавший кое-какие свойства от своего далекого предка.

Показанная у Гумилева попытка старого конунга устроить союз волков с лебедями вполне понятна: в этот период возникало множество династических браков и временных государственных и военных объединений; население Гебридских и Оркнейских островов и посейчас остается плодом смешения кельто-скандинавской крови; даже в самой Исландии жило немало кельтов. Вот почему совершенно естественно, что в «Гондле» ирландцы свободно объясняются между собою.

Противопоставление двух народов в пьесе – ключ к подходу Гумилева (который его толкователи часто неспособны охватить): героизм для него есть подлинный героизм, если он служит делу добра, а добро для Гумилева воплощается в учении Христа.

Викинги смелы и могучи, но служат только своему эгоизму, признают единственно культ хищнической силы. Их закон есть волчий закон. В сравнении с ними ирландцы излучают свет одухотворенности и человечности, проявляющийся, например, у их вождя в таких словах (при виде преследуемого):

Братья, вступимся, он христианин  
И наверно из нашей страны.

И это после вполне реалистической картины бездушных хитростей и холодных жестокостей, царящих в Исландии.

Для ирландцев, всегда гордившихся, что их остров – земля святых, не удивителен вопрос Гондлы:

Что, скажите, в родимой стране  
Так же ль трубы архангелов шумны?

И когда он осведомляется о святых и райских духах, словно бы они обитали среди холмов и болот Гибернии, начальник ирландских воинов скромно и сочувственно сообщает:

Бедный ум, возалкавший о чуде,  
Все мы молимся этим святым  
Но, простые ирландские люди,  
Никогда не входили мы к ним.

По плану конунга, Гондла, несомненно, должен был сделаться в Эрине ард ри, а отнюдь не одним из областных королей, хотя бы и большой провинции, как Улидия, Коннахт или Ориэль. У Гумилева несколько раз подчеркнуто: «А Ирландии всей королю...»; «И корона Ирландии целой...» Причем, как выясняется, данная схема являлась вполне осуществимой (несмотря на

---

<sup>23</sup> «От ярости викингов избави нас, Господи!» (лат.)



вносимые обстоятельствами коррективы). Вождь ирландцев так описывает Гондле происшествия за время его отсутствия:

Наступили тяжелые годы,  
Как утратили мы короля,  
И за призраком легкой свободы  
Погналась неразумно земля.  
Мы наскучили шумом бесплодным,  
И был выбран тогда, наконец,  
Королем на собраньи народном  
Вольный скальд, твой великий отец.

Выражение скальд (вместо бард) свидетельствует, что ирландец держит речь по-древне-норвежски, чтобы она была понятна присутствующей толпе исландцев и их конунгу с ярлами. Выбор же на трон Ирландии барда не слишком необычен: каста филидов была там аристократической, включающей нередко потомков и боковых отпрысков младших линий царственных домов. Зеленый остров видел немало таких монархов, как Кормак Мак Кулленан, лингвист, богослов и юрист, король и епископ в Кашеле.

«Гондла» принадлежит к числу вещей, читающихся легко, но за каждой строкой целый арсенал исторических, мифологических и географических намеков. Нельзя, скажем, ни ждать, ни требовать от рядового читателя, чтобы он знал, что скрелинги – это эскимосы, но, не зная этого, он не уразумеет, что в соответствующем пассаже речь идет о Гренландии.

Поэтому издание пьесы с серьезными, толковыми комментариями было бы очень полезным. Позволим себе выразить некоторое сомнение по поводу нижеследующего примечания Г. П. Струве в опубликованном им издании Гумилева: «Кимрский (или кимрийский, как принято говорить сейчас) язык – то же, что язык валлийский».

Не знаем, кем и где принята форма кимрийский. Например, в книге Э. Агаяна «Введение в языкознание» (Ереван, 1959), в «Этимологическом словаре русского языка» М. Фасмера (Москва, 1964–1973) и в «Кратком этимологическом словаре русского языка» В. Шанского, В. Иванова и Т. Шанской (Москва, 1971) всюду стоит именно кимрский. Вряд ли стоит приветствовать внедрение сего наукообразного термина, вразумительного исключительно для узкого круга специалистов, вместо хорошо известного публике слова валлийский.

Уточним заодно, что термин кимры, как и название Уэльса Кембрией, возникли в VI в., обозначая соратников некоего завоевателя, принца Кюнеды; сумгу означает по-валлийски «спутники», «товарищи».

Не удивительно, что Гумилев в своей ссылке на статью Э. Ренана<sup>24</sup> с присущим ему без-ошибочно хорошим вкусом заменил слово кимрский словом кельтский.

Хронологические неувязки пьесы имеют, очевидно, следующие корни. Гумилеву представлялось недобросовестным приписать фантастическому, хотя и вполне правдоподобному на фоне эпохи, Гондле реального исторического отца среди подлинных верховных королей Ирландии; а если бы он уточнил год, то пришлось бы.

Заодно воспользуемся тут случаем разрешить сомнение Г. П. Струве, выраженное им в примечаниях к «Гондле»: «Откуда он (Гумилев) заимствовал имя героя, остается неизвестным».

На этот вопрос как раз нетрудно ответить. В древнеирландской повести «Причина битвы при Кнухе» фигурирует некто Кондла – слуга короля Конна О-Ста-Битвах, который сопровождает Мюрни, беременную Фингалом, в ее странствованиях по Ирландии после того, как ее

---

<sup>24</sup> Жозеф-Эрнест Ренан (Joseph Ernest Renan; 1823–1892) – французский писатель, историк религии.

муж Кумалл был убит в бою, а отец от нее отрекся. Этим именем, без сомнения, Гумилев и воспользовался, умышленно изменив первую букву.

Иною оказалась в русской литературе судьба Шотландии: этим мы обязаны Джеймсу Макферсону (1738–1796) и его «Песням Оссиана», которые ученые снобы любят называть подделкою. Определение это крайне относительно: Макферсон, для которого гаэльский язык был родным, опубликовал, начиная с 1760 г., ряд английских пересказов подлинных преданий, скомпоновав и обработав их с большой свободой. Специалистам по кельтскому фольклору нетрудно обнаружить у него неточности; для широкой, тем более иноземной публики, они были и остаются драгоценным введением в сокровищницу горношотландских эпоса и лирики. Заслуга Макферсона перед его родным народом безмерна.

У нас тема Оссиана появилась уже у Державина и почти сразу породила замечательное сценическое произведение, имевшее огромный, и заслуженный, успех: трагедию В. Озерова<sup>25</sup> «Фингал», рассматриваемую литературоведами как наиболее яркое выражение тенденций предромантизма в творчестве этого высокоталантливого и в высшей степени несправедливо недооцененного потомством драматурга. На свою беду, Озеров был младшим современником Державина и старшим – Пушкина. Он писал в эпоху сентиментализма, когда и язык, и вкусы претерпевали интенсивные и стремительные изменения, в силу коих его слог представляется нам теперь устарелым, а классическая условность его театра – натянутой. Участь его творчества можно сравнить с таковою Карамзина, чьи художественные вещи тоже вызывают у нас улыбку, и тем не менее, роль обоих писателей в развитии русской культуры была самой благотворной. Но пожинать славу довелось не им, а их преемникам...

«Фингал», откровенно заимствованный у Макферсона, насыщенный туманом кельтских сказаний, поражает параллелизмом своего сюжета с сюжетом «Гондлы» (хотя вряд ли Гумилев пользовался Озеровым как источником). Отнюдь не вымышленное Локлинское царство есть Лохлан. Страна Озер – кельтское название Норвегии (и иногда шире, Скандинавии). Этого странным образом не замечают советские озероведы (см., например, вводную статью И. Медведевой к собранию сочинений Озерова в «Библиотеке поэта», Л., 1960). Отсюда и культ Одина у жителей Локлинского царства, чуждый и противный каледонину Фингалу, прибывающему и уезжающему морем, на корабле. Да и имя местного владыки, Старн, – явно скандинавское. Коварный монарх заманивает к себе шотландца, предлагая ему руку своей дочери, на деле же с тайным умыслом его погубить; покушение не удастся, и разъяренный отец убивает девушку, перешедшую на сторону Фингала.

Драматическая история разворачивается отнюдь не на фоне междоусобной войны горных кланов, но отражает историческую борьбу между кельтами и скандинавами.

Озеров с большим мастерством рисует среду, нравы и характеры своих героев. Вот бард воспевает возглавителя своего клана:

Встает Морвена вождь Фингал;  
Оружье грозное приял;  
Стрела в колчане роковая;  
На груди рдяна сталь видна;  
Копье, как сосна вековая.  
И щит, как полная луна.

Вот девушка из свиты принцессы выражает ей свою преданность и желает счастья:

---

<sup>25</sup> Владислав (в крещении Василий) Александрович Озеров (1769– 1816) – драматург и поэт. Наиболее известны стихотворные трагедии «Фингал», «Дмитрий Донской» и «Поликсена».

Цвети, о красота Моины,  
Как в утро раннее весной  
Цветут прелестные долины  
Благоуханной красотой!

Сама Моина рассказывает о себе так:

В пустынной тишине, в лесах, среди свободы,  
Мы возрастаем здесь, как дочери природы,  
И столько ж искренни, сколь искренна она.

На что восхищенный Фингал ей отвечает:

Не столько звуки арф в вечерний час  
Приятны при заре, сколь твой приятен глас.

Герой трагедии Озерова, это – Фингал Мак Кумал или Финн Мак Кул, сказочный гаэльский воитель III в. и отец Оссиана.

Тот же Фингал упоминается в послании Гнедича к Батюшкову:

Иль посетим Морвен Фингалов,  
Ту Сельму, дом его отцов,  
Где на пирах сто арф звучало  
И пламенело сто дубов.

У каждого русского поэта оссиановские мотивы приобретают свою собственную окраску. «Кольна» молодого Пушкина полна радости жизни (в ней чудными стихами изложен эпизод из прозаического перевода Костровым «Песен Оссиана»). «Эолова арфа» Жуковского явно отражает его трагическую любовь к Машеньке Протасовой и разлуку с нею, надломившую всю его дальнейшую жизнь. Одна из сравнительно редких у Жуковского чисто оригинальных, а не переводных баллад, «Эолова арфа» переносит нас опять-таки в знакомую уже нам область горной Шотландии:

Владыка Морвены,  
Жил в дедовском замке могучий Ордал...

Но у Жуковского есть и переводная (с английского) баллада на горно-шотландские темы – «Уллин и его дочь», начинающая словами:

Был сильный вихорь, сильный дождь;  
Кипя, ярилася пучина;  
Ко берегу Рино, горный вождь  
Примчался с дочерью Уллина.

Это – переложение баллады Томаса Кэмпбелла (1777–1844) «Дочь лорда Уллина». Переводы Жуковского из Вальтер Скотта («Замок Смальгольм» и «Суд в подземелье») не относятся к нашей теме, так как в них действие локализовано в южной, некельтской Шотландии.

Особые отношения были с Шотландией у Лермонтова, видевшего в ней свою исконную и утерянную родину и ностальгически о ней вздыхавшего:

Стоит могила Оссиана  
В горах Шотландии моей.

Он даже высказывал, как свою заветную мечту:

На запад, на запад помчался бы я,  
Где цветут моих предков поля.

Но —

Меж мной и холмами отчизны моей  
Расстилаются волны морей.

Владимир Соловьев, большой философ и талантливый поэт, побывал в Шотландии в 1893 г. и под впечатлением путешествия написал «Песню горцев», представляющую собою перевод отрывка из вальтер-скоттовской «Девы Озера»:

Гордо наш пиброх звучал в Глен-Фруине,  
И Баннохар стоном ему отвечал.  
Глен-Люсс и Росс-Дху дымятся в долине,  
Пустыней весь берег Лох-Ломонда стал.

Транскрипцию гаэльских слов и названий оставляем на совести Соловьева. Заметим только, что пиброх – это шотландская волынка, но Баннохар – не название музыкального инструмента (как можно бы подумать), а имя местности.

Последним по времени из русских поэтов обратился к шотландской теме Георгий Иванов в стихотворении, которое начинается строфой:

Шотландия, туманный берег твой  
И пастбища с зеленою травой,  
Где тучные покоятся стада,  
Так горестно покинуть навсегда!

и завершается строчкой:

Храни, Господь, Шотландию мою!

Переходя к Бретани, мы должны вернуться к Гумилеву, к его коротенькой вещице «Дева-птица», где действие происходит «в тенистых долах Броселианы». Броселиана – огромный лесной массив, некогда существовавший в Бретани, последним остатком которого является Пемпонский лес, на территории теперешнего департамента Иль-э-Вилэн. Об этом лесе Виктор Гюго говорит в романе «93-й год», что он «весь полон ручьев и оврагов». В стихотворении не выдержаны специально ни местный, ни какой-либо исторический колорит. И все же там есть атмосфера бретонского фольклора (с ним Гумилев, бесспорно, был хорошо знаком по своей работе над переводом французских песен).

Нельзя обойти молчанием и «Сказания о замках Бретани» Балабановой<sup>26</sup>, собранные на месте, и частично с бретонского (о знании языка свидетельствуют приводимые ею цитаты).

Самое важное отражение Бретани в нашей литературе представляет, однако, пьеса А. Блока «Роза и крест». Чрезвычайно любопытна разница в приемах работы у двух поэтов! Гумилев, следуя пушкинской традиции, не дает никаких ссылок на авторитеты и источники (иное дело, когда он начинает рассуждать о теории поэтики!). Ведь, например, мы только по косвенным данным знаем, что в «Скупом рыцаре» изображена Бургундия. Наоборот, Блок с тяжелой профессорской педантичностью приводит обширный перечень использованных трудов, словно для защиты диссертации.

Но в пьесе Блока, в готовом виде, поражает именно отсутствие жизни вообще, в особенности же – духа Средневековья, столь ярко ощутимого и у Пушкина, и у Гумилева (и, конечно, в ином роде, у Жуковского, Лермонтова, А. К. Толстого). Вспоминается замечание Льва Толстого о замышлявшемся им, но не написанном романе из петровской эпохи: все герои, их одежды и позы им продуманы, но вот вдохнуть в них движение ему не удается.

Несмотря на изучение лирики трубадуров (которая, между прочим, немало на Блока повлияла, и, казалось бы, должна быть ему близка!), основные персонажи заимствованы, скорее, из фавлю, нежели из феодальной литературы более высокого класса: капризная и похотливая женщина, карьерист-паж, блудливый капеллан, тупой и жадный граф. А образ Бертрана явно скопирован с Дон Кихота; все же Сервантес, даже посмеиваясь над своим героем, не ставит его в столь глупые и унижительные положения, например, не заставляет дежурить под окном у любимой, когда с нею другой. Впрочем, данную ситуацию Блок позаимствовал, огрубив и утрировав, из «Сирано де Бержерака» Э. Ростана.

Относительно удачнее получилась фигура старого менестреля Гаэтана и сцены, разыгравшиеся не в Провансе, основном месте действия, а на побережье Арморики (бретонские пейзажи и природа были знакомы Блоку по кратковременным туда поездкам).

На первый взгляд можно подумать, что поэт просто не сумел понять душу Средних веков. Его интерпретация эпохи схожа со «Сценами из рыцарских времен» Проспера Мериме с их примитивными насмешками (с высоты тогдашнего прогресса! Мы-то, повидав позднейшие плоды просвещения в виде ГУЛАГов и газовых камер, не в состоянии разделить наивное самодовольство Мериме). Но ведь и Пушкин отталкивался от тех же «Сцен», тем не менее, под его пером все подлинно, переливается огнем!

От столь прямолинейного объяснения приходится отказаться перед лицом курьезного факта: у «Розы и креста» было несколько последовательных вариантов (советские издания добросовестно их воспроизводят). Первый вариант, в отличие от второго и, особенно, от третьего и окончательного, – гораздо ярче, и в нем много от настоящего Средневековья; там психология героев, включая Изору, – куда человечнее. От первоначального наброска Блок по причинам, о которых нам остается лишь гадать, повернул совсем не в ту сторону, и не улучшил, но сильно испортил свой замысел.

Куда красочнее и глубже выглядел в черновом тексте и бретонский местный колорит.

Изображенный Блоком период относится к первым годам правления Пьера де Дре по прозвищу Пьер Моклерк, французского принца и внука короля Людовика Толстого, получившего герцогский престол благодаря браку с Алисой, наследницей бретонской династии (она приходилась сестрой юному и блестящему Артуру Бретонскому, попавшему в плен к англичанам и убитому там, видимо, по приказу его дяди, Иоанна Безземельного). Это был чрезвычайно бурный период, отмеченный необычными для прежних бретонских властителей усилиями герцога сломить власть феодалов и духовенства. Все это, однако, в пьесе не нашло места:

---

<sup>26</sup> Правильно: «Легенды о старинных замках Бретани». Автор: Екатерина Вячеславовна Балобанова (1847–1927) – писательница, историк литературы, педагог, специалист по кельтскому языку.

ее историческая часть целиком концентрируется на событиях на юге Франции, связанных с крестовым походом против альбигойцев.

В высшей степени интересно исследовать тот основной источник, которым пользовался Блок, – книгу виконта Теодора Эрсара де Ла Вильмарке<sup>27</sup> «Барзас Брейз. Народные песни Бретани», впервые опубликованную в 1841 г., переизданную в 1867 и в 1964 г. Приложенный к сборнику параллельный французский текст сделал его доступным для Блока и других любителей. Ла Вильмарке (1815–1895), по-бретонски Керваркер, аристократ из семьи, отличавшейся симпатией к местным традициям, уроженец чисто кельтского района Арзано-Кемперле в Финистере, был в духовном отношении учеником и последователем Шатобриана<sup>28</sup> и Ле Гонидека<sup>29</sup> (составившего бретонские словарь и грамматику, сыгравшие важную роль) и сам – создателем бретонского романтизма.

Хотя в наши дни бретонская литература стала весьма богатой и разнообразной во всех жанрах, включая театр (Т. Мальманш<sup>30</sup>, Ж. Приэль<sup>31</sup>), роман различных типов, от бытового (Ю. Дрезен<sup>32</sup>) до детективного (Я. Керверхез<sup>33</sup>, Р. Эмон<sup>34</sup>) и, разумеется, поэзию (Я. Каллох<sup>35</sup>), «Барзас Брейз», пожалуй, – лучшее, что было ею создано. Не зря Жорж Санд сравнивала эту книгу с «Одиссеей».

Эти «народные песни», откликающиеся на все главные события многовекового бытия Бретани, носят явные следы пера большого мастера, хотя их мотивы всегда подлинные, и большинство из них имеет прототипы в реальном бретонском фольклоре. Представим себе русские песни, собранные Пушкиным или Лермонтовым, – вот что такое «Барзас Брейз».

Не удивительно, что Керваркеру предъявили обвинение в фальсификации, как и Макферсону (хотя и с меньшим основанием). Он не стал этого обвинения опровергать, но в последующих публикациях (менее значительных, чем первая) со скрупулезной точностью соблюдал нормы филологической техники.

Первым критиком Керваркера выступил его современник, поэт и фольклорист Франсуа Люзель<sup>36</sup>, или, по-бретонски, Франсе Ан Юэль. Он сам собрал и издал весьма ценные бретонские песни, мистерии и сказки, но в художественном отношении они не идут ни в какое сравнение с «Барзас Брейз». Самые сильные обвинения Люзеля относятся к наиболее архаичным (и наименее засвидетельствованным в устной традиции) песням, изданным Керваркером. «Гибель города Ис» («Ливаден Герис») входит идейно в данную категорию, хотя подлинность

<sup>27</sup> Теодор Клод Анри Эрсар, виконт де ла Вильмарке (Theodore Claude Henri Hersart, vicomte de la Villemarque; 1815–1895) – писатель, собиратель и издатель бретонского фольклора.

<sup>28</sup> Франсуа Рене де Шатобриан (Fracois-Rene, vicomte de Chateaubriand; 1768–1848) – французский писатель, политик и дипломат, виконт. Пэр Франции. Ультрароялист, консерватор. Один из первых представителей романтизма.

<sup>29</sup> Жан-Франсуа Ле Гонидек (Yann Fransez Vari ar Gonideg; 1775–1838) – французский лингвист, сыгравший важную роль в развитии бретонского языка.

<sup>30</sup> Танги Мальманш (Tanguy Malmanche; 1875–1953) – французский писатель и драматург. Представитель бретонской школы бардов «Горседд».

<sup>31</sup> Жарль Приэль (Jarl Priel; 1885–1965) – бретонский писатель и драматург, переводчик. Переводил произведения Н. В. Гоголя, В. В. Набокова.

<sup>32</sup> Юен ле Дрезен (Youenn le Drézen; 1899–1972) – бретонский писатель и журналист. Переводил на бретонский с греческого (Эсхила), испанского (Кальдерона), французского и немецкого. Писал романы и рассказы о жизни современных бретонцев.

<sup>33</sup> Ян-Вари Керверхез (Yann-Vari Kerwerchez; наст. имя Жан Эдмонд Констант Герше, Jean Edmond Constant Guerchet; 1910–1974) – бретонский писатель.

<sup>34</sup> Ропарс Эмон (Roparz Hemon; наст. имя Луи Поль Немо, Louis Paul Nemo; 1900–1978) – бретонский писатель, поэт, журналист. Один из основателей и издателей бретонского журнала «Gwalarn».

<sup>35</sup> Ян-Бер (Жан-Пьер Гиацинт) Каллох (Jean-Pierre Hyacinthe Calloch; 1888–1917) – бретонский поэт. Погиб во время Первой мировой войны.

<sup>36</sup> Франсуа-Мари Люзель (François-Marie Luzel; 1821–1895) – бретонский поэт, фольклорист.

легенд о затонувшем городе Ис (или Керис) никто не оспаривает, и даже его реальное существование все более начинают считать вероятным.

У Блока точнее всего передана вторая половина баллады «Ливаден Герис», тогда как первая, речь святого Геноле, предвещающая наводнение, пересказана крайне субъективно.

В подлиннике, после вступительного куплета: «Слыхал ли ты, слыхал ли ты, что сказал человек Божий королю Градлону в городе Ис?», следует примерно такая проповедь отшельника: «Не предавайтесь удовольствиям любви и развлечениям. За радостью следует страдание», то есть, приготовьтесь к наступающему бедствию, раскайтесь в своих грехах и ведите себя благоразумно. Блок же передает так;

Не верьте любви!  
Не верьте безумию!  
За радостью – страдание!

Тут он входит в прямое противоречие с философией подлинных бретонских песен, и в частности, одной из них, зафиксированной Балабановой: «высшее на земле счастье – любить и быть любимым».

С предельной краткостью и силой изложена суть легенды о городе Ис в прекрасном стихотворении О. Анстей<sup>37</sup> «Китеж», навеянном Блоком.

Неизвестно, сколько читателей прочло в России «Барзас Брейз». Благодаря приложенной к книге французской версии, она была доступна всем образованным людям. Но сохранилось одно довольно занятное свидетельство о ее внимательном прочтении – роман Сергея Мстиславского о революции 1905 г. «На крови», где автор цитирует – по-бретонски! – по крайней мере три из включенных в «Барзас Брейз» песен («Опора Бретани», «Иоанна Пламя» и «Горностаи»).

С. Мстиславский (1876–1943), автор ряда романов – «Без себя» (о гражданской войне в России), «Грач, птица весенняя» (о подпольщике Н. Баумане), «Крыша мира» (связанный по сюжету с «На крови») представлял собою тип русского аристократа и офицера, ставшего революционером. Зная его Н. Мандельштам подтверждает, что Мстиславский необычайно гордился тем, что он рюрикович. Но в связи со своими революционными взглядами, Мстиславский даже отрывкам из песен придал подчеркнуто антимонархическое звучание, какового нет в оригинале. Отрывки введены в текст весьма искусно (герой знакомится с девушкой, Магдой Бреверн, которая переводит «Барзас Брейз» на русский язык и обсуждает с ним детали перевода).

Независимо от Блока, к бретонской тематике обратился К. Бальмонт, в стихотворении «Бретань» так описывающий типичный армориканский ландшафт:

Как сонмы лиц, глядят толпы утесов,  
Седых, застывших в горечи тоски.  
Бесплодны бесконечные пески.

В другом стихотворении, «Сила Бретани», Бальмонт касается все того же предания о затонувшем городе:

В таинственной, как лунный свет, Бретани...

---

<sup>37</sup> Ольга Анстей (наст. имя Ольга Николаевна Штейнберг; 1912–1985) – поэтесса, литературный критик, переводчица. В эмиграции жила в Германии, затем в США. Писала на русском и украинском.



В те ночи, как колдует здесь луна,  
С Утеса Чаек видно глубь залива.  
В воде – дубравы, храмы, глыбы срыва.

Проходят привиденья, духи сна.  
Вся древность словно в зеркале видна,  
Пока ее не смоет мощь прилива.

Можно еще упомянуть стихи о Бретани крупного эмигрантского казачьего поэта Н. Туроверова<sup>38</sup>:

Приморские деревни  
Над камнем и водой...

Другой эмигрантский поэт, рано скончавшийся Владимир Диксон (1900–1929) сделал прозаические переложения нескольких бретонских легенд. Они вошли в его посмертный сборник «Стихи и проза» (Париж, 1930).

Иностранная фамилия писателя объясняется происхождением В. Диксона от шотландца, переселившегося в Ирландию в 1690 г. после трагической битвы на Бойне, где он сражался на стороне Вильгельма Оранского.

Меньше, чем Бретани, повезло у нас близкому к ней по языку Уэльсу. И, однако, как мы убедимся, о нем писали, по крайней мере три больших русских поэта.

Стихотворный отрывок Пушкина «Медок в Уаллах», к которому он сам сделал примечание, что вместо Уаллы надо читать Уэльс, имеет своим источником поэму Роберта Саути (1774–1843), английского романтика «Озерной школы», у которого Пушкин и Жуковский многое заимствовали. Согласно преданию, валлийский принц Медок в XII в. посетил Америку (в частности, Мексику). В десятитомном издании собрания сочинений Пушкина 1959 г. к стихотворению дается довольно нелепый комментарий: «Уэльс – графство в Великобритании». Следовало бы сказать «княжество» или «провинция», или как-либо еще иначе, ибо Уэльс включает в свой состав много различных графств (Кармартен, Пемброк, Гламорган, Энглеси и др.).

Вольным переложением баллады того же Саути «Лорд Вильям» является баллада Жуковского «Варвик». Действие ее происходит в пределах Уэльса, на его рубежах с Англией, в эпоху Средневековья. Название реки Северн заменено у Жуковского именем другой реки Авон, протекающей по соседству (авон по-валлийски значит просто «река»).

Наконец, уже в эмиграции, Владимир Смоленский<sup>39</sup> переложил на русский язык историю Тристана и Изольды, опираясь на французскую версию Бедье. Эта легенда восходит к циклу короля Артура, первоначально сложившемуся у кельтов; события локализованы в основном в Уэльсе и Корнуэльсе.

Изо всех населенных кельтами стран только самая маленькая, остров Мэн, не нашла, как будто, никакого отклика в русской литературе; во всяком случае, мне такового обнаружить не удалось.

*«Новый журнал», Нью-Йорк, сентябрь 1984, № 156, с. 125–140.*

---

<sup>38</sup> Николай Николаевич Туроверов (1899–1972) – поэт. Донской казак, участник Первой мировой, Гражданской и Второй мировой войн.

<sup>39</sup> Владимир Алексеевич Смоленский (1901–1961) – поэт. Донской казак. В 1919 воевал в Добровольческой армии, эвакуировался из Крыма. Жил в Тунисе, затем во Франции. Работал на металлургических и машиностроительных заводах, позднее служил бухгалтером. Редактировал литературный альманах «Орион».

## Малайцы у русских классиков

В. Перелешин<sup>40</sup> положил в свое время небезынтересный почин, собрав высказывания русских поэтов, относящиеся к Бразилии. Могло бы представлять ценность исследовать упоминания в русской литературе о различных других странах. Конечно, о таких, как Франция, Англия, Германия и даже Италия, они очень многочисленны, и их трудно подытожить. О некоторых иных краях Европы, – скажем, о Португалии или Албании, – их, наоборот, считанные примеры; если же взять различные республики Латинской Америки, то о них порою не найдешь и ни одного. Подобные же контрасты можно наблюдать и по поводу государств Азии и Африки; из этих последних наиболее богато под пером наших писателей отражена Абиссиния.

В данной статье мы попытаемся проанализировать упоминания у наших классиков о Малайском Архипелаге, в широком смысле слова.

На первом месте, по времени и таланту, стоит пугающий пушкинский «Анчар». Стихотворение многократно комментировалось в печати; краткое резюме выраженных о нем соображений мы находим в книге Д. Благого «Творческий путь Пушкина» (Москва, 1967). Мысли самого Благого, – об «Анчаре» и о Пушкине в целом (да и о русской литературе вообще) – представляют собой смесь основательных познаний, несомненных способностей и полной бессовестности, с которой маститый пушкинист подгоняет факты под требования советских властей предрекающих.

Правильно проследив происхождение стихотворения от статьи голландского врача Ф.П. Фурша, опубликованной в журнале «London Magazine» в 1783 г. и позже переведенной по-русски, с описанием реального дерева *Anti aris toxicaria* (но сильно преувеличенным), Благой занимается затем явно несостоятельными попытками найти тут аллессию якобы на самодержавие! Лучшее всего ответил на подобные домыслы, заранее, сам Пушкин, указав, что, если видеть в слове дерево намек на конституцию, а в слове стрела – на самодержавие, то можно до чего угодно договориться.

Пушкин таких применений и вообще не употреблял, а в поздние годы («Анчар» создан в 1828 г.) был и далек от тех политических взглядов, какие старается ему навязать исследователь.

Чрезвычайно противны смахивающие на донос выпады Благого против другого подсоветского пушкиниста, Н. Измайлова: что тот де искажает звучание пушкинского стихотворения, вносит в него всякие идеологические уклоны, вплоть до нищенства, и т.п. Тогда как на деле трактовка Измайлова куда правильнее, чем таковая самого Благого!

Никакой политической идеологии в стихотворении нет, кроме общей гуманности, безусловно всегда присущей Пушкину, проявленной, впрочем, с максимальной сдержанностью. Конечно, поэт сочувствует рабу, умирающему у ног своего владыки; но спекуляции Благого о том, был ли это князь или царь – надутая бессмыслица! Можно уточнить, что туземный монарх, о коем идет речь, носил, вероятно, или малайский титул раджа или яванский рату. Так же как то, что лыки, на которых раб умирает, это, очевидно, сплетенная из бамбука циновка.

Рассуждения Благого о том, что раб пошел на верную смерть, чего даже животные не делают, заведены гораздо дальше, чем у Пушкина сказано или подразумевается. Тот следовал за Фуршем, согласно которому на опасный сбор ядовитого сока посылают преступников, обещая им, в случае успеха, помилование.

В реальности, собиранье сока дерева, именуемого по-малайски упас, а по-явански анчар, отнюдь не столь рискованное предприятие (яд не действует через дыхание, а лишь попадая в

---

<sup>40</sup> Валерий Францевич Салатко-Петрище (псевд. Валерий Перелешин; 1913–1992) – поэт, переводчик. С 1920 жил в Китае, входил в литературное объединение «Чураевка». Работал в Русской духовной миссии, затем переводчиком в отделении ТАСС. В 1946 получил советское гражданство. В 1950 переехал в США, затем в Бразилию, где жил до конца жизни в Рио-де-Жанейро.

кровь); а рабу, вероятно, была обещана щедрая награда. Только ему выпала неудача, или он оказался неловок или неосторожен (может быть, например, порезал или поцарапал руку); как выразились бы французы, с ним произошел *accident de travail*<sup>41</sup>.

Что нисколько не умеряет нашей к нему жалости и глубины размышления:

Но человека человек  
Послал к анчару властным взглядом,

о котором Мериме справедливо отмечал, что оно просится на переложение по-латыни: *Sed vir virum misit ad arborem*<sup>42</sup>.

Общая картина жестоких нравов, тут обрисованных, больше подходила бы, по правде сказать, к Мадагаскару (или Африке), чем к Яве либо Суматре, где рабство обычно принимало сравнительно мягкие формы.

Следующее появление малайца в русской литературе, через 50 с лишним лет, связано с другим нашим великим классиком: И. С. Тургеневым. И оно снова довольно жуткое... В «Песни торжествующей любви» мы встречаем немого (ибо у него вырезан язык) малайца, слугу знатного феррарца Муция, возвращающегося, в середине XVI в. к себе домой после длительных странствий на Востоке.

С 1511 г. португалцы владели городом Малакка на полуострове того же имени. Проще всего предположить поэтому, что малаец был родом оттуда. Но, естественно, с одной стороны, итальянский путешественник мог заехать и куда дальше; с другой же, и малаец мог попасть в этот важный торговый центр практически с любого иного острова Архипелага.

Он в дальнейшем оказывается колдуном, настолько сильным, что способен оживить своего хозяина, убитого соперником. Магия его, в описании Тургенева, имеет индийский характер (с отдельными реминисценциями Ислама). Это вполне закономерно. О жителях Малакки, в частности рыбаках и мореплавателях, английский лингвист и этнограф Винстед рассказывает, что они, будучи формально мусульманами, молятся нормально арабскими стихами из Корана; но, если налицо серьезная опасность, начинают произносить индуистские заклинания на санскрите; если же дело еще хуже, то на чистом малайском языке призывают на помощь стихийных духов, как их предки – анимисты. В Юго-Восточной Азии наложены друг на друга три культуры, смешиваясь в разных пропорциях...

Колдовство широко распространено по всем островам Индонезии, представляя разнообразные формы. Колдун в прямом смысле именуется паванг; тогда как бомор и дукун соответствуют скорее понятию «знахарь». Самая мощная магия, основанная на книгах на древнеяванском языке кави, сохраняется на острове Бали, представляющем собою уголок, куда не достиг Ислам, и где уцелели причудливо между собою переплетенные индуизм и буддизм.

Не исключено, что и безымянный малаец Тургенева был балийцем. Во всяком случае, мы в его лице сталкиваемся с павангом, наделенным выдающимся могуществом.

Род чародейства, в котором малайцы вообще, и некоторые племена в особенности, специально изошрены, – умение превращаться в животных. Если у нас на севере известны по преимуществу волки-оборотни (а иногда и медведи), то самым частым под тропиками оказывается харимау белиан, тигр-оборотень.

Рассказ Тургенева принадлежит к области вымысла и фантазии; его современник и соперник, И.А. Гончаров, дает нам в своей книге «Фрегат Паллада» зарисовки с натуры, сделанные в кругосветном плавании в 1852–1854 г. Однако, хотя он и посетил Яву и Сингапур, о малайцах он сообщает мало, описывая лишь их внешность и общую манеру жизни. Как факт,

---

<sup>41</sup> Несчастный случай на производстве (*фр.*).

<sup>42</sup> Тем не менее, человек был послан к дереву (*лат.*).

куда подробнее и наблюдательнее он изображает китайцев, монополизировавших в этих странах торговлю и ремесла.

Намного интереснее его повествование о Филиппинских островах, населенных ближайшими родственниками малайцев, в первую очередь тагалами (и множеством других племен, как илоканцы, бонток-игороты, бисайя).

Еще до прибытия туда он восклицает: «Манила! Манила! Вот наша мечта, наша обетованная земля, куда стремятся напряженные наши желания. Это та же Испания, с монахами, синьорами, покрывалами, дуэньями, боем быков, да еще, вдобавок, Испания тропическая!»

В целом, Манила его и не разочаровала, в особенности испанская ее часть: «Испанский город – город большой, город сонный и город очень приятный. Едучи туда, я думал, правду сказать, что на меня повеет дух падшей, обедневшей державы, что я увижу запустение, отсутствие строгости, порядка, словом, поэзию разорения, но меня удивил вид благоустроенности, чистоты: везде видны следы заботливости, даже обилия».

Наружность филиппинцев ему не очень понравилась: «Тагалы нехороши собой: лица большей частью плоские, овальные, нос довольно широкий, глаза небольшие, цвет кожи не чисто смуглый. Они стригутся по-европейски, одеваются в бумажные панталоны, сверху выпущена бумажная же рубашка; у франтов кисейная, с вышитой на европейский фасон манишкой. В шляпах большое разнообразие: много соломенных, но еще больше европейских, шелковых, особенно серых. Метисы ходят в точно таком же или уже совершенно в европейском платье».

Зато сильное впечатление произвели на него женщины: «Женщины, то есть тагалки, гораздо лучше мужчин: лица у них правильнее, глаза смотрят живее, в глазах больше смысленности, лукавства, игры, как оно и должно быть. Они большие кокетки: это видно сейчас по взглядам, которыми они отвечают на взгляды любопытных, и по подавляемым улыбкам. Как хорош смуглый цвет при живых страстных глазах и густой черной косе... Вас поразила бы еще стройность этих женщин: они не высоки ростом, но сложены прекрасно... У многих, особенно у старух, на шее, на медной цепочке сверх платья, висят медные же или серебряные кресты, или медальоны, с изображениями святых. Нечего прибавлять, что все здешние индийцы – католики».

Индийцы передает испанское *indios*, как было принято тогда называть тагалов и вообще филиппинцев.

Вполне толково говорит он кое-что и о тагальском языке: «Вас, может быть, вводят в заблуждение звучные имена Манилы, Люсона; они напоминают Испанию. Разочаруйтесь: это имена не испанские, а индийские. Слово Манилла, или, правильнее, Манила, выработано из двух тагальских слов: *maun nila*, что слово в слово значит: там есть нила; а нилой называется какая-то трава, которая растет на берегу Пасига. Майрон-нила называется индийское местечко, бывшее на месте нынешней Манилы. Люсон взято из тагальского слова лосонг: так назывались ступки, в которых жители этого острова толкли рис, когда пришли туда первые испанцы, а эти последние и назвали остров Лосонг».

Все это совершенно верно: *maunon* составлено из слов *tau* «иметься» и *doon* «там», *nila* есть, в точности, манильское индиго, *Yhoga Manila*; *lusong* означает «ступка». Можно бы еще дополнить, что название реки Пасиг, о которой Гончаров замечает: «Река Пассиг – славная, быстрая река; на ней много джонок», – означает «песок». Наоборот, Гончаров не вполне правильно называет «ананасовые корни» (из которых приготавливались всяческие безделушки) пина; по-испански название ананаса звучит *пинья*.

Вообще, чрезвычайно жаль, что он не владел испанским языком, бывшим тогда главным культурным языком Филиппин (да остающимся и по сейчас, в значительной мере); это мешало ему в общении с жителями, из коих лишь немногие, наиболее образованные, говорили по-французски, и почти никто по-английски, Будь он в состоянии понимать язык населения, насколько бы интереснее явилось его свидетельство!

Перед тем, как перейти к иному, более отдаленному району, заселенному малайско-полинезийской расой, остановимся на одной работе, изданной сравнительно недавно, уже в советское время, в СССР. Книга М. Колесникова «Дипонегоро» (Москва, 1962), в серии «Жизнь замечательных людей», представляет собою лишь слегка беллетризованное жизнеописание яванского принца Онтовирьо (принявшего имя Дипонегоро в честь некоего предшествовавшего ему воителя). Она выделяется тем, что автор, видимо, хорошо владеет и малайским и яванским языками, к которым часто прибегает в тексте. По содержанию, неизбежным образом, туземные феодалы, сражавшиеся за национальное освобождение, представлены, более или менее, как идейные предшественники коммунизма; впрочем, без большого вреда для изложения исторических фактов.

Восстание на Яве разыгралось в 1825–1830 гг. (сосланный на Целебес Дипонегоро прожил там в заточении 25 лет). Невольно спрашиваешь себя, не могли ли эти события, привлекавшие внимание целого мира, стимулировать интерес Пушкина к голландской Ост-Индии, выразившийся в написании «Анчара»?

Особое место в нашей поэзии занимает Мадагаскар, которому посвятили строки два больших мастера.

«Мадагаскарская песня» Батюшкова удивительно ярко передает мотивы и тон мальгашского фольклора. Правда, он опирался в ней на французского поэта Эвариста Дезире Парни, креола с острова Бурбон (расположенного рядом с Мадагаскаром):

Вспойте песни мне девицы.  
Плетущей сети для кошниц,  
Или как, сидя у пшеницы,  
Она пугает хищных птиц...

Непосредственным наследником Батюшкова явился в дальнейшем Гумилев в своем «Мадагаскаре».

Его Мадагаскар – империя последней тамошней царицы (или королевы), Ранавалоны, накануне завоевания французами.

К ней, несомненно, относятся слова:

А в роскошной форме гусарской  
Благосклонно на них взирает  
Королевы мадагаскарской

Самый преданный генерал.

Они – жители Мадагаскара – представлены так:

В раззолоченных паланкинах,  
В дивно-вырезанных ладьях,  
На широких воловьих спинах  
И на звонко ржущих конях  
Там, где пели и трепетали  
Легких тысячи лебедей,  
Друг за другом вслед выступали  
Смуглолицых толпы людей.

Люди и их основное богатство:

Между ними быки Томатавы,  
Схожи с грудой темных камней,  
Пожирали жирные травы  
Благовонием полных полей.

Все стихотворение носит совершенно необычный в стихах Гумилева об Африке визионерский характер. Действие происходит во сне:

И мне снилось ночью: плыву я  
По какой-то большой реке.

Из недоумения автора выводит только необычное, чудесное происшествие:

Красный идол на белом камне  
Громко крикнул: – Мадагаскар! —

А в дальнейшем он лишь с трудом вырывается из обаяния грез:

И вздыхал я, зачем плыву я,  
Не останусь я здесь зачем;  
Неужель и здесь не спою я  
Самых лучших моих поэм?

Некоторые детали позволяют предположить, что большая река может быть скорее всего Бецибукой или ее притоком Икупой, служащими связью между столицей острова Тананаривой и западным его побережьем, выходящим на Мозамбикский Пролив Индийского Океана.

Дата написания стихотворения в точности неизвестна; но сон Гумилева явно приурочен ко времени независимости Мадагаскара, то есть до 1896 г.

Стихи о Полинезии русских эмигрантских поэтов часто носят не совсем приятный туристический налет.

Все же стоит отметить вещи Б. Нарциссова<sup>43</sup>, как «Мауна Кеа» и «Океания», и В. Анта<sup>44</sup>, как «Гавайские мелодии». Из этих последних выделим наиболее удачное стихотворение «Полинезийский центр», начинающееся строфой:

Мы знаем Джека Лондона рассказы  
О южных экзотических морях,  
О дивных островах и дикарях,  
Тайфунах и о случаях проказы.

Тогда как довольно поверхностная вещица «В темноте» неплохо передает впечатления путешественника от беглого взгляда на Гавайские острова, и чарующие:

---

<sup>43</sup> Борис Анатольевич Нарциссов (1906–1982) – поэт и переводчик. В молодости жил в Эстонии, входил в Юрьевский цех поэтов. Окончил Тартуский университет по специальности химия. Во время войны жил в Германии, затем в Австралии, откуда переселился в США, где жил в Вашингтоне. Выпустил несколько сборников стихов, занимался переводами Эдгара По, а также эстонских поэтов.

<sup>44</sup> Владимир Николаевич Трипольский (псевд. Владимир Ант; 1908–1980) – поэт, журналист, инженер-гидротехник по специальности. Жил и работал в Киеве. В 1943 уехал с беженцами в Германию. В 1951 переехал в США, в Нью-Йорк, затем в Сан-Франциско. Занимался литературной деятельностью, был одним из председателей кружка «Литературные встречи», сотрудничал в газете «Русская жизнь».

Ананасы, гуавы  
И цветов перевалы,  
И душистые травы,  
И шершавые скалы

и несколько страшноватые:

А во мраке провалов,  
Где пещеры – берлоги  
Между черных кораллов  
Залегли осьминоги.

Выпишем еще из цитированного уже «Полинезийского центра» меткую характеристику полинезийцев в целом:

Полинезиец, смелый мореход,  
Бродяга тихоокеанских вод,  
Единственный там древний обитатель,  
При примитивной технике своей  
Строитель первоклассных кораблей,  
Земель необитаемых искатель.

В согласии с его характером, у более выдающегося поэта, Бориса Нарциссова, пробивается в стихах мистическая жуть:

Белые волосы белая дева  
Разостлала по склону горы  
Волосы тают – из горного чрева  
Горячо выходят пары...

Вдруг по тропинке прорвется сверканье —  
Это значит – по камню скребя,  
Белая женщина в скрытом вулкане  
Вдруг учуяла мясо – тебя.

Или:

Вот посвежает, с бурунов задует...  
В зелени лунных ночей  
На берег страшные выйдут Ондуэ  
С дырами вместо очей.

Закончим наш очерк прекрасным стихотворением Бальмонта, написанным в 1912 г. (автор был первым русским поэтом, посетившим южные моря), с исключительной глубиной затрагивающим загадку происхождения народов Полинезии, да и Океании вообще:



## Тишь

Вот она – неоглядная тишь океана, который зовется Великим,  
И который Моаной зовут в Гавайики, в стране Маори.  
Человек островов, что вулканами встали, виденьем возник  
смуглоликим,  
И кораллы растут, и над синей волной – без числа острова-алтари.

*«Голос Зарубежья», Мюнхен, декабрь 1983, № 31, с. 29–33.*

## Индия духа

А. П. Керн, – та самая: «Я помню чудное мгновение», – запечатлела в мемуарах, как Дельвиг представил Пушкину маленького братишку, говоря, что он пишет стихи в романтическом жанре. Александр Сергеевич попросил мальчика прочесть свое сочинение, и тот, не робея, продекламировал:

Индиянди, Индиянди, Индия.

Пушкин в восторге расцеловал ребенка и воскликнул: «Он, точно, романтик!» Великий поэт и тут, как обычно, выразил мысль глубокую. Индия (и Испания; но в другом плане) навсегда стала спутницей русской романтики. Не зря Гумилев к любимой девушке обращался:

День, когда ты узнала впервые,  
Что есть Индия, чудо чудес,  
Что есть тигры и пальмы святы,  
Для меня этот день не исчез.

И в другом стихотворении (одном из лучших своих) упомянул про вокзал, на котором можно:

В Индию духа купить билет.

Впрочем, задолго до него Жуковский повествовал о себе:

Мнил я быть в обетованной  
Той земле, где вечный мир;  
Мнил я зреть благоуханный  
Безмятежный Кашемир.

Да и А. К. Толстой любил цыган за то, что:

Из Индии дальней  
На Русь прилетев,  
Со степью печальной  
Их свyksя напев.

И охотно переносился душой туда, где:

Магадев, Земли владыка,  
К нам в шестой нисходит раз...

Сколько паломников Русь высылала в загадочный, далекий южный край, от тверитянина Афанасия Никитина до Верещагина с его жуткими зарисовками усмирения англичанами сипайского восстания! Ах, зачем Павел Первый остановился в дерзком порыве и вернул уже маршировавших на восход солнца казаков! Ведь как нас там ждали... Все тут сходятся, и теософка Блаватская<sup>45</sup>, с искренней симпатией рассказавшая о страданиях угнетенного населе-

---

<sup>45</sup> Елена Петровна Блаватская (1831–1891) – литератор, публицист. Окультист и спиритуалист, одна из основателей Теософского общества.

ния, и заурядный офицер в деловой командировке Новицкий, тщетно объяснявший жадно расспрашивавшим его индусам, что Россия не собирается завоевывать их страну. Даже Хрущева простой народ приветствовал при приезде криками: «Да здравствует русский царь!» Увы, это уже была не та Россия...

Леденящий страх сдавливал горло англичанам, – включая лучших: много ли у них равных Киплингу! а перечитайте-ка «Ким»! – при мысли о грандиозной соседней Империи, на столь иных от их базиса основанной, где не существовало «ига белого человека» и не имелось грани между Востоком и Западом, где не знали разницы между европейцами и азиатами, белыми и цветными.

Отнюдь не напрасное опасение! Малайский султанат Аче, изнемогая в войне с голландцами, молил русского Императора о покровительстве; близкая по вере Эфиопия тянулась к нам, открывая дороги Африки; тропический Сиам отправлял своих принцев на обучение в Петербург, откуда они часто возвращались с русскими женами; великий путешественник Миклухо-Маклай уговаривал Александра Третьего принять в подданство Новую Гвинею. Мусульманская Азия с почтением шептала имя Белого Царя, Ак Падишаха; таинственные нити связывали нас с Тибетом.

К несчастью величина задач превосходила (или так казалось только?) наши силы:

Как солнышко на всех угреть не может,  
Так Государь на всех не в силах угадать...

На Дальнем Востоке ослепительные горизонты нам открывались; кабы мы следовали лишь мудрой политике графа Витте! На беду, скрежетавшие зубами враги сумели нас втравить в ошибки, затем ими воспользоваться... и что ж получили взамен? Что осталось от Великой Британии? Где колониальные владения Франции? Не поделена ли Германия напополам? А Америка, не обожглась ли преобольно об отравленный коммунизмом Индокитай?

Не рой другому ямы...

*«Наша страна», рубрика «Монархическая этнография», Буэнос-Айрес, 2 июля 1983 г., № 1719, с. 4.*

## Музыка великого времени

Надо быть музыкантом, чтобы судить об этой небольшой, – меньше 100 страниц, – но чрезвычайно содержательной книжке; однако любой интеллигентный человек может с интересом ее прочесть. И с немалой пользой для себя. Она повествует о жизни и творчестве русских композиторов, о «виртуозах и волшебниках мелодии» (как о них отзывается в предисловии В. Ганичев<sup>46</sup>) замечательной в русской истории эпохи, XVIII века.

Под заглавием «Орфеи реки Невы», Константин Ковалев сжато, но увлекательно рассказывает о жизни и творчестве М. Березовского<sup>47</sup>, Л. Бортнянского<sup>48</sup>, В. Пашкевича<sup>49</sup>, Н. Львова<sup>50</sup>. Отдельная глава посвящена музыкальным взглядам и мыслям Г. Державина.

Кроме истории отдельных музыкантов и истории развития музыки, мы найдем на страницах работы Ковалева (изданной в Москве в 1986 году) широкую панораму русского общества тех блистательных дней, встретим имена вельмож, имена писателей и поэтов, вписанные на скрижали нашей национальной славы.

*«Наша страна», Буэнос-Айрес, 16 апреля 2005 г., № 2769, с. 4.*

---

<sup>46</sup> Валерий Николаевич Ганичев (1933–2018) – писатель, журналист, общественный деятель. Директор издательства «Молодая Гвардия» (1968–1978), главный редактор газеты «Комсомольская правда» (1978– 1980) и журнала «Роман-газета» (1981–2001), председатель правления Союза писателей России (1994–2018).

<sup>47</sup> Максим Созонтович Березовский (1745–1777) – композитор, певец-бас.

<sup>48</sup> Дмитрий Степанович Бортнянский (1751–1825) – композитор, дирижер, певец, действительный статский советник. Директор Придворной певческой капеллы в Петербурге.

<sup>49</sup> Василий Алексеевич Пашкевич (1742–1797) – композитор, дирижер, скрипач, педагог. Один из создателей русской национальной оперы.

<sup>50</sup> Николай Александрович Львов (1753–1804) – архитектор, график, поэт, музыкант.

## Мудрость Жуковского и тупость декабристов

Наверное, в наши дни мало охотников читать или перечитывать многотомную «Историю русской литературы XIX века» под редакцией Д. Овсянико-Куликовского<sup>51</sup>, опубликованную в счастливые баснословные лета незадолго до Первой Мировой войны.

Сведения, ею даваемые, частью устарели, но, главное, – нестерпим в теперешнее время звучащий в ней самодовольный и самоуверенный тон, отражающий нерушимую веру ее составителей в прогресс и в тощие идеалы шестидесятников (отжившие уже и тогда и столь неумолимо опровергнутые потом жизнью).

Тем не менее, иные любопытные вещи в ней находишь; и часто особенно любопытно находить их в одной и той же книге, на протяжении нескольких всего порою страниц.

Вот, например, позволим себе сделать большую выписку из главы, написанной П. Сакулиным<sup>52</sup>, в которой речь идет о В.А. Жуковском:

«Революционные движения 1848 г. в особенности заставили его высказаться с достаточной полнотой и определенностью. Жизнь держится верой, и “дерзкое непризнание участия всевышней власти в делах человеческих” ведет к разложению государств. Западная Европа представляет поучительный пример. Как только реформация пошатнула авторитет церкви и значение религии, так неизбежно начался “мятеж против всякой власти, как божественной, так и человеческой”.

С одной стороны, развивается рационализм (отвержение божественности Христа), отсюда пантеизм (уничтожение личности Бога), в заключение атеизм (отвержение бытия Божия)”.

С другой стороны, разнузданная мысль порождает учение о договоре общественном; “из него – самодержавие народа, которого первая степень представительная монархия, вторая степень демократия, третья степень социализм с коммунизмом; может быть и четвертая, последняя степень: уничтожение семейства и вследствие того возвышение человечества, освобожденного от всякой обязанности, ограничивающей чем-либо его личную независимость, в достоинство совершенно свободного скотства”.

Спасение как Европы, так и России в религии и самодержавии. Венценосные помазанники – представители Бога на земле. Самодержавие, “опираясь на Божию правду”, вернее всяких конституций приведет к истинной свободе и даст счастье народу.

Наследнику русского престола Жуковский внушал уважать и любить свой народ, уважать закон и “общее мнение: оно часто бывает просветителем монарха”, любить “свободу, то есть правосудие”, и распространять просвещение. Беззаветно верующий человек и монархист, Жуковский держался тех взглядов, которые пользовались признанием в официальных сферах, которые исповедовали его консервативные друзья, но он излагал их с оттенком библейской патриархальности как своего рода догматы веры, и тем смягчал суровую жестокость своих политических суждений.

Идеи Жуковского в этой области вполне гармонируют с общим строем его религиозных и моральных представлений».

Жуковский был, безусловно, исключительно умный человек, – помимо того, что высокоталантливый поэт; и все же, – не поразительна ли точность его предсказаний?!

Взглянешь на творящееся в Европе, и еще более того в Северной Америке, – не встает ли перед нами четвертая степень падения, до уровня «совершенно свободного скотства»?

---

<sup>51</sup> Дмитрий Николаевич Овсянико-Куликовский (1853–1920) – литературовед, журналист, лингвист.

<sup>52</sup> Павел Никитич Сакулин (1868–1930) – литературовед. Приват-доцент и позднее профессор Московского университета, последний председатель Общества любителей российской словесности.

Прочитируем еще несколько строк: «Не дерзкая вулканическая деятельность нужна человеку, а работа над своим нравственным самоусовершенствованием. Если бы каждый на своем месте соблюдал Божию правду, то было бы на земле одно царство порядка».

Данная идея самоусовершенствования, неправильно понятая и сформулированная Толстым, – не она ли сейчас настойчиво предлагается нам Солженицыным? Хотя в какой мере как тот, так и другой, могли использовать подлинные мысли Жуковского, – остается неясным.

Перейдем теперь к другой главе в том же курсе русской литературы, «Эпоха Александра Первого», принадлежащей перу М. Довнар-Запольского<sup>53</sup>. Вот как автор резюмирует планы Пестеля:

«Новое государство должно быть сильным, могущественным, цельным и нераздельным; оно должно быть связано сильным патриотическим духом. Патриотизм будущего государства Пестель предполагает поднять некоторую реставрацией старины и установлением некоторых гражданских праздников, столица государства переносится в Нижний Новгород, именуемый Владимиром в честь Владимира Святого, и т. п. Чтобы сделать государство сильным, необходимо, чтобы все нерусские народности слились с основной народностью великорусскою: все они должны составить один народ и слиться в общую массу так, чтобы “обитатели целого пространства российского государства все были русские”; в государстве должен господствовать русский язык и, вообще, все народности должны потонуть в народности великорусской, все должны “совершенно обрусеть”. Исключение Пестель делает для одной Польши, которой предоставляет национальную самостоятельность».

Бросается в глаза радикальное отличие сей декабристской программы по национальному вопросу от программы имперской, которую наши цари официально и определенно не формулировали, но на деле соблюдали; они, наоборот, любили не без гордости подчеркивать многонациональный характер своей державы и были весьма умеренны с обрусительными мерами. Обрусение шло там, где шло мирно и самотеком.

Отдельные меры стеснения прав той или иной национальности носили, как правило, временный и случайный характер; обычно, в связи с чисто политическими проблемами. Развитию же местных языков, включая создание миссионерами алфавитов для бесписьменных народов, правительство никогда не мешало.

Немедленное и радикальное обрусение, какого желал Пестель, немыслимо себе представить без жестоких принудительных мер. Тем паче, что оно, очевидно, потребовало бы и религиозных гонений: нельзя превратить татар в русских, не заставив их изменить веру... или не уничтожив веру в Бога в целом, как сделали позже большевики!

Представители национальных меньшинств, которые идут сейчас на поводу у левых диссидентов, хулят императорскую Россию и хвалят всех ее врагов, должны бы себе отдавать отчет (а они не отдают!), в том, чтобы произошло, если бы декабристы победили и смогли осуществить свои расчеты. Можно не сомневаться, что помимо кровопролития и беспорядка в области социальной, они бы вызвали и гражданскую войну между русскими и инородцами. И в случае, что им бы удалось свои мечты полностью осуществить (правда, трудно себе подобное и вообразить!), сейчас бы в России все говорили только на одном русском языке и ничем бы между собою в культурном плане не различались. Конечно, это бы многое упростило, и ряд проблем упростило бы... Но Бог в своей мудрости того не допустил! И, я думаю, мы должны тому радоваться...

*«Русская жизнь», Сан-Франциско, [газетная вырезка без даты]*

---

<sup>53</sup> Митрофан Викторович Довнар-Запольский (1867–1934) – историк, этнограф, экономист. Сторонник экономического материализма.

## Иной Грибоедов

Недавно отмечали 130-летие со дня кончины Грибоедова, вспоминая при этом обстоятельства его гибели, его дипломатические заслуги перед Россией, невыясненную проблему его действительных отношений с декабристами и, конечно, прежде всего «Горе от ума». Никто не подумал обратить внимание на другую черту характера Грибоедова как человека и писателя, — черту и увлекательную, и курьезную.

Парадокс творчества Грибоедова состоит в том, что он вошел в русскую литературу, и даже занял в ней весьма почетное место, совсем не в том жанре, о котором он сам думал. Автор бытовой комедии, с которой одной для широкой читательской публики связано его имя, он забыт как поэт, и даже как автор других драматических произведений. Впрочем, из этих последних более начитанная часть интеллигенции иногда назовет «Молодые супруги», «Притворную неверность», или даже «Студента».

Мало кто знает, что Грибоедов мечтал всю жизнь написать что-нибудь грандиозное в пламенном романтическом духе. Именно на этом зиждились все его мечты о славе и известности. Современникам был хорошо знаком его характер, словно бы сложенный из двух различных кусков: страстной и бурной натуры и холодного, глубокого рассудка. Но сам он, как это видно из записок его друзей и его собственных высказываний, в области поэзии больше рассчитывал на первую половину своей природы и желал создать нечто, что бы ей в первую очередь отвечало.

Может быть, однако, он плохо понимал сам свой талант, и у него не было нужных задатков для вещи в этом роде? Едва ли. Единственное цельное, хотя и небольшое произведение Грибоедова, отмеченное этим духом, это — стихотворение «Хищники на Чегеме», поражающее своей дикой силой. И недаром оно связано с Кавказом, этой колыбелью русского романтизма, откуда Пушкин, Лермонтов, Марлинский, позже Полонский, черпали мотивы для страстных, ярких и меланхолических стихов и прозы, пронизанных тем отрицанием будничной жизни, той экзотикой, которая составляет самую эссенцию романтизма, и к которой близки позднейшие западноевропейские писатели колониальной школы, типа Киплинга, Клода Фаррера, Пьера Милля, Конрада<sup>54</sup>, отчасти Стивенсона и Джека Лондона.

Приведем несколько отрывков.

Окопайтесь рвами, рвами,  
Отразите смерть и плен —  
Блеском ружей, твержей стен!  
Как ни крепки вы стенами.  
Мы над вами, мы над вами.  
Будто быстрые орлы  
Над челом крутой скалы.

Так начинается эта картина горской вольности, перед которой автор, европейски воспитанный русский, замирает в непобедимом восхищении.

Мрак за нас ночей безлунных.  
Шум потока, выси гор.  
Дождь и мгла, и вихрей спор...

---

<sup>54</sup> Джозеф Конрад (Joseph Conrad; наст. имя Юзеф Теодор Конрад Коженевский; 1857–1924) — писатель, поляк по происхождению, получивший признание как классик английской литературы.

В третьей строфе, однако, лучше всего выражены главные элементы романтизма, присущие ему во всех странах: его любовь к прошлому и к природе.

Живы в нас отцов обряды,  
Крови их буйная жива.  
Та же в небе синева,  
Те же ледяные громады,  
Те же с ревом водопады,  
Та же дикость, красота  
По ущельям разлита!

Если бы это стихотворение было единственным у Грибоедова! Но мы знаем о том, как ему дорог был план трагедии «Грузинские ночи», – опять с местом действия на том же Кавказе, – от которой, к несчастью, сохранились лишь незначительные отрывки. Но они странным образом предвосхищают лермонтовского «Демона». Появление горных духов «Али», которых вызывает старуха-нянька, потому что князь, ее хозяин, продал ее сына, чтобы выкупить своего коня... а главное, диалог между нею и князем, доказывают, что эта вещь в целом могла бы совсем изменить нашу оценку Грибоедова, доведи он свое произведение до конца. Он несомненно сделал бы это, но помешала безвременная смерть. Вот отрывок из речи князя:

Я помню о людях, о Боге,  
И сына твоего не дал бы без нужды.  
Но честь моя была в залоге:  
Его ценой я выкупил коня,  
Который подо мной в боях меня прославил.  
Из жарких битв он выносил меня...  
Тот подл, кто бы его в чужих руках оставил.

Драма о войне 1812 года (до нас дошел только один отрывок и план), с появлением на сцене теней русских героев от Святослава и Владимира, была, как можно предположить, скорее в манере шекспировских хроник, а не тех французских образцов с тремя условными единствами, которым Грибоедов следовал в «Горе от ума» и других своих пьесах.

В отличие от не доведенных до конца «Грузинских ночей», многое заставляет думать, что грибоедовская пьеса из времен русско-половецких войн была написана полностью или по крайней мере в главных чертах – и как жалеешь о том, что рукопись пропала, когда читаешь единственно уцелевшую сцену, «Диалог половецких мужей»! Как мастерски выражен в нем душевный строй воинов-кочевников, с какой мощью передана тоска двух стариков по ушедшей юности, как дивно схвачена вся поэзия бесконечных южных степей!

Так человек рожден гонять врага,  
Настичь, убить иль запетлить арканом.  
Кто на путях не рыщет алчным враном,  
Кому уже конь прыткий не слуга,  
В осенней мгле с дрожаньем молодецким,  
Он, притаясь, добычи не блюдет, —  
Тот ляг в сыру землю: он не живет!  
Не называйся сыном половецким!



Вековая борьба наших предков с тюркскими племенами встает из строк Грибоедова, освещенная с иной, необычной стороны, с точки зрения противников, этих рыцарей-разбойников диких равнин:

О, плачься, Русь богатая! Бывало,  
Ее полки и в наших рубежах  
Корысть делят; теперь не то настало!  
Огни ночной порою в камышах  
Не так разлитым заревом пугают,  
Как пламя русских сел, – еще пылают!  
По берегам Трубежа и Десны...  
Там бранные пожары засвечают  
В честь нам, отцам, любезные сыны.

В русской литературе нет других строк, столь близких и по духу, и по силе к «Слову о полку Игореве». Сохранись она, эта пьеса – но мы даже не знаем ее названия! – могла бы не только заполнить пробел, но и создать новое течение...

Без преувеличения, если бы Грибоедов закончил «Грузинские ночи», написал бы «1812 год», если бы рукопись драмы о половцах не пропала бы... его фигура стояла бы перед нами теперь вовсе иной, и «Горе от ума» не удивляло бы нас как единственная гениальная вещь писателя, в остальном ничем не завоевавшего права на бессмертие.

*«Новое русское слово», рубрика «Литература и искусство», Нью-Йорк, 7 июня  
1959, № 16880, с. 4.*

## Певец империи. К 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина

С легкой руки Достоевского, немало говорилось о всечеловеческом характере творчества Пушкина.

Оно и справедливо. В его произведениях проходят перед нами четыре континента: Европа, Азия, Африка и Америка. Только об Австралии он как будто не упоминал; хотя и находился можно сказать на подступах к ней, на Малайском Архипелаге, в «Анчаре», пере-несясь туда на крыльях поэзии. Сузим свою задачу и коснемся только его высказываний о народах России, вернее Российской Империи в тех размерах, какие она в его время имела.

Жители Финляндии никак не могут пожаловаться на Александра Сергеевича: финном он сделал могучего и благодетельного волшебника в «Руслане и Людмиле».

А об их соотечественницах не менее лестно отзывался, в ином, игривом ключе, по поводу поэмы Баратынского «Эда»:

Твоя чухоночка, ей-ей,  
Гречанок Байрона милей.

Позволим себе одно замечание по поводу иного персонажа первой поэмы нашего великого поэта, сперва гордой и неприступной красавицы, а потом злой и хитрой колдуньи.

Ее имя, Наина, по-фински означает просто «женщина»: nainen.

Как ни странно, а это наблюдение вроде бы ускользнуло до сих пор от внимания пушкинистов; по крайней мере, я нигде его не встречал.

Литва представлена в стихотворении «Будрыс и его сыновья» и в переводе начала «Конрада Валленрода», Польша отражена в «Воеводе» и в «Борисе Годунове», Молдавия в «Черной шали» и в «Цыганах».

О Кавказе что и толковать!

Черкесы, чеченцы, грузины и осетины возникают перед нашими глазами не только в стихах, в «Кавказском пленнике», «Галубе» (которого советские специалисты переименовали в «Гасуба», справедливо или нет), но и в прозе в великолепном «Путешествии в Арзрум».

Даже весьма актуальные в наши дни курды появляются под пером поэта; в частности, существующая у них загадочная секта сатанопоклонников езидов, появляющаяся в том же «Путешествии».

Иной Восток, крымское ханство, описан в «Бахчисарайском фонтане» и в небольшом, подающем повод к ожесточенным спорам стихотворении «В прохладе брызжущих фонтанов».

Считать ли или нет украинцев за отдельный от русских народ, — а никак нельзя отрицать, что картины природы и истории Украины, данные в «Полтаве», отмечаются исключительной глубиной и верностью.

Особые отношения были у Пушкина с калмыками.

Калмыченек, прислуживавший за столом в семье Всеволожских (о котором, видимо, не даром сказано «отличавшийся удивительной сметливостью») «откликнулся на пошлые остроты словами “Здравия желаю!”», но ни разу не обратился с ними к Александру Сергеевичу, который на это реагировал фразой: “Азия протезирует Африку”».

При поездке же на Кавказ, поэт был видимо всерьез очарован пленительной юной калмычкой, которая угостила его чаем, заправленным бараньим жиром, и стукнула балалайкой по голове за попытку слишком назойливого ухаживания; он не только рассказал о ней в своих записках, но и посвятил ей отдельное стихотворение.

А если мы не находим у него данных, – кроме кратких и отрывочных, – о племенах Сибири и Севера, то тут Пушкина винить не приходится: не просился ли он в экспедицию, направлявшуюся в Китай, вместе со своими друзьями о. Иакинфом Бичуриным<sup>55</sup> и бароном П. Л. Шиллингом фон Канштадтом<sup>56</sup>, на что не получил от правительства позволения? В таких-то странствиях он бы, без сомнения, на обитателей зауральских пространств нагляделся бы вдоволь, – и, вероятно, оставил бы нам свои о них впечатления.

*«Наша страна», Буэнос-Айрес, 12 июня 1999 г., № 2547–2548, с. 1.*

---

<sup>55</sup> Никита Яковлевич (Иакинф) Бичурин – путешественник и востоковед, монах. Один из основоположников русского китаеведения.

<sup>56</sup> Павел Львович Шиллинг фон Канштадт (1786–1837) – дипломат, историк-востоковед, изобретатель-электротехник. Балтийский немец по происхождению. Участник Отечественной войны 1812 г. Член-корреспондент Петербургской академии наук.

## Не тот Пушкин

Можно бы, казалось бы, порадоваться изданию в Москве книги «Последний год жизни Пушкина. Переписка. Воспоминания. Дневники», составленной В. Куниным и датирующейся 1989 годом. В ней мы, в частности, находим письма к Пушкину и письма к другим о Пушкине его современников. Письма-то самого Пушкина обычно прилагаются к собраниям его сочинений и публике хорошо известны. Оговоримся, однако, что ценность таких материалов сильно снижается фактом, что письма, часто написанные по-французски, даны все в русском переводе, без приложения оригиналов. Между тем, перевод этот иногда вовсе не адекватен. Например, выражение *homme d'honneur* и *honnête homme* единообразно передаются через «честный человек». На деле, первое означает «человек чести», а второе «порядочный человек». Оба эти нюанса весьма существенны.

Да это бы, и другие мелочи – полбеда. Хуже то, что вся компиляция и особенно комментарии являют (и очень ярко!) собою пушкинистику вчерашнего дня, большевицкую пушкинистику, подчиненную цели представить великого поэта таким, какой был нужен коммунистическому строю: ненавистником царей и монархии, убежденным атеистом, преданным до конца дней идеям декабризма, поклонником Радищева – и тому подобное.

Когда тексты пушкинских стихов и прозы явно говорят о совсем другом, Кунин старательно объясняет, что это мол делалось для обмана правительства и представляет собою хитрое зашифрованное иносказание.

Он не задумывается над тем, что превращает Пушкина в лицемера и его произведения в какую-то тарабарщину, предназначенную якобы для узкого круга сообщников, в обман читателям. Молитвы, это мол – использование стереотипов для изложения политических идей; прямые похвалы царям – хитрость, с целью провести за нос власти.

Кунин считает, что он (и стоящий за ним советский режим) лучше понимает Александра Сергеевича, чем понимали его лучшие друзья, духовно к нему близкие и сердечно к нему привязанные как Вяземский и Жуковский.

То, что они о нем говорили, – заметим, уже после его смерти, – есть будто бы ложь, приспособляющая его к воззрениям царя Николая Павловича и его министров. Но зачем же бы было лгать? Самому их покойному другу никакая правда повредить уже не могла, его семье – навряд ли (поскольку царь обещал ее обеспечить, что скрупулезно и выполнил).

А что они говорили? Прочтем (благо сам Кунин воспроизводит!).

Вяземский: «Да Пушкин никоим образом и не был ни либералом, ни сторонником оппозиции, в том смысле, какой обыкновенно придается этим словам. Он был глубоко, искренно предан государю, он любил его всем сердцем, осмелюсь сказать, он чувствовал симпатию, настоящее расположение к нему... Его талант, его ум созрели с годами, его последние и, следовательно, лучшие произведения: “Борис Годунов”, “Полтава”, “История Пугачевского бунта” – монархические».

Жуковский: «Я уже не один раз слышал и ото многих, что Пушкин в государе любил одного Николая, а не русского императора, и что ему для России надобно было совсем иное. Уверяю вас напротив, что Пушкин (здесь говорится о том, что он был в последние свои годы) решительно был утвержден в необходимости для России чистого, неограниченного самодержавия, и это не по одной любви к нынешнему государю, а по своему внутреннему убеждению, основанному на фактах исторических (этому теперь есть и письменное свидетельство в его собственноручном письме к Чаадаеву)».

Предполагать, что Вяземский и Жуковский притворялись, что они чего-то боялись или кому-то угождали, есть полная нелепость, зная их смелость и независимость в суждениях. Жуковский, в частности, не поколебался ведь обратиться с жестокими упреками по адресу

самого Бенкендорфа<sup>57</sup>, – а уж кого иного нужно бы было ему бояться! Не царя, конечно, который его любил почти как члена своего семейства...

Текст Кунина, когда он говорит о себе, испещрен грубыми оскорблениями не только в отношении Николая Первого, но и Александра Первого, а при случае и других императоров. Доходя до полного абсурда, он провозглашает даже, что эпоха Николая Павловича было более жестокой, чем петровская!

Не в укор будь сказано великому преобразователю, в царствование Николая массовых казней, как стрелецкие, не бывало, на кол не сажали, на допросах не пытали. А если казнили декабристов, – то в любой стране сделали бы то же самое, и еще суровее.

Относительно Радищева – довольно прочесть то, что Пушкин в действительности о нем писал, чтобы видеть фальшивость рассуждений Кунина. А о декабристах, – то, что Пушкин сказал в разъяснениях по делу о стихотворении «Андрей Шенье».

Компилятор оказывает очень плохую услугу Белинскому (предмету своего горячего почитания), перепечатывая его высказывания о сказках Пушкина, которые тот считал очень слабыми и свидетельствующими об упадке таланта поэта в его последние годы.

Такая точка зрения давно отвергнута, и никто в наши дни с нею не согласится. Отдадим должное Белинскому: он многое о Пушкине писал гораздо более верного и умного.

Хочется надеяться, что теперь (несмотря на мрачные тучи, вновь собирающиеся над Россией) такие лживые построения как данная работа отойдут в область прошлого, и изучение встанет на иные пути.

*«Наша страна», рубрика «Миражи современности», Буэнос-Айрес, 16 марта 1996 г., № 2379–2380, с. 2.*

---

<sup>57</sup> Александр Христофорович Бенкендорф (1782–1844) – военачальник, государственный деятель, генерал. Шеф жандармов, главный начальник III отделения Собственной Е. И. В. канцелярии.

## Фурий и Аврелий

Кому не случалось, читая переводы наших классиков из Шенье<sup>58</sup>, жалеть, что они не собраны в одном томе, где бы их можно было зараз окинуть взором? Данный пробел отчасти восполняется изданной сейчас, в 1989 году, в Москве, под редакцией В. Вацура, книгой «Французские элегии XVIII—XIX веков в переводах поэтов пушкинской поры». Причем не только относительно Шенье, но и Парни<sup>59</sup>, а также сравнительно реже переводившихся Жильбера<sup>60</sup>, Арно<sup>61</sup>, Мильвуа<sup>62</sup> и Ламартина<sup>63</sup>. Более того, мы находим здесь иногда различные варианты тех же стихотворений в переложениях нескольких разных поэтов, а равно и параллельный французский их подлинный текст.

Только не напрасно ли составители ограничили себя уж очень тесными рамками пушкинской эпохи? Это не позволило им включить чудесные переводы из Шенье А.К. Толстого (например, «Ко мне, младой Хромид!», который выше по качеству приведенных тут иных переложений той же вещи) и А. Майкова (например, «Я был еще дитя – она уже прекрасна»). Одобрим мысль присоединить к переводам оригинальные стихи, посвященные памяти Шенье, пушкинские и лермонтовские; но, опять же, хотелось бы видеть, заодно с ними, и стихотворение Цветаевой «Андрей Шенье взошел на эшафот». Среди переводчиков, понятно, затмевают всех остальных Пушкин, Батюшков и Жуковский; хотя здесь рядом с ними фигурируют мастера не столь уж далеко им уступающие в силе, как Баратынский, Тютчев, Козлов<sup>64</sup>, Вяземский<sup>65</sup>, Дмитриев<sup>66</sup> и Полежаев<sup>67</sup>. Другие появляющиеся здесь же поэты менее известны, а некоторые – и совсем неизвестные.

Многие детали будут новинкою для иного читателя. Оказывается, «Мадагаскарские песни» Парни, написанные в оригинале ритмической прозой, удостоились переводов не одного Батюшкова («Как сладко спать в отрадной сени»), но и целого ряда его современников (Ознобишина<sup>68</sup>, Илличевского<sup>69</sup>, Дмитриева, Редкина<sup>70</sup>). Прозой же написан у Парни и «Le torrent», превратившийся под пером Батюшкова в замечательный «Источник». Остановимся, однако, на одном стихотворении.

---

<sup>58</sup> Андре Мари де Шенье (Andre Marie de Chenier; 1762–1794) – французский поэт, журналист и политический деятель. В разгар революционного террора обвинен в сотрудничестве с роялистами и казнен на гильотине.

<sup>59</sup> Эварист Дезире де Форж Парни (Evariste Désire de Forges; 1753–1814) – французский поэт, виконт.

<sup>60</sup> Николя-Жозеф-Лоран Жильбер (Nicolas Joseph Laurent Gilbert; 1751–1780) – французский поэт. Наиболее известны его сатирические произведения и оды.

<sup>61</sup> Антуан-Венсан Арно (Antoine Vincent Arnault; 1766–1834) – французский драматург, поэт-баснописец, государственный деятель.

<sup>62</sup> Шарль Юбер Мильвуа (Charles Hubert Millevoe; 1782–1816) – французский поэт.

<sup>63</sup> Альфонс де Ламартин (Alphonse Marie Louis de Prat de Lamartine; 1790–1869) – французский писатель и поэт романтического направления, политический деятель.

<sup>64</sup> Иван Иванович Козлов (1779–1840) – поэт и переводчик. Его вольный авторский перевод стихотворения английского поэта-романтика Томаса Мура (Thomas Moore, «Those evening bells») послужил текстом популярной песни «Вечерний звон».

<sup>65</sup> Петр Андреевич Вяземский, князь (1792–1878) – поэт, переводчик, литературный критик, публицист, государственный деятель.

<sup>66</sup> Иван Иванович Дмитриев (1760–1837) – поэт, баснописец, государственный деятель. В 1810–1814 занимал пост министра юстиции. Наиболее известны его стихотворные сказки, басни и песни.

<sup>67</sup> Александр Александрович Полежаев (1804–1838) – поэт и переводчик.

<sup>68</sup> Дмитрий Петрович Ознобишин (1804–1877) – поэт, писатель, переводчик, этнограф. Автор баллады «Чудная банда» (сюжет которой навеян шведской народной балладой), послужившей основой казачьей песни «По Дону гуляет казак молодой».

<sup>69</sup> Алексей Демьянович Илличевский (1798–1837) – поэт. Один из воспитанников пушкинского выпуска Царскосельского лицея, статский советник.

<sup>70</sup> Аполлон Михайлович Редкин (1807–1867) – государственный деятель, поэт, переводчик.

Составители сборника считают, что пушкинский элегический отрывок «Поедем, я готов» представляет собою вольный пересказ элегии Шенье, начинающейся строкою:

Partons, la voile est prête, et Byzance m'appelle<sup>71</sup>.

В свое время в «Новом Журнале» № 115 я высказал предположение, что Пушкин исходил из стихотворения Катулла (которое, в переводе А. Пиотровского<sup>72</sup> в выпущенной в 1929 г. в издательстве «Academia» «Книге лирики», получило заглавие «Последние слова»). Конечно, я бы охотно готов признать свою ошибку, но... внимательное рассмотрение заставляет меня, наоборот, укрепиться во мнении, что именно римский, а не французский поэт вдохновил русского на его краткий, но весьма интересный во многих отношениях фрагмент. Сами по себе та и другая версия возможны. Пушкин знал и любил поэзию Шенье; однако, и поэзию Катулла тоже. Если он часто переводил Шенье или ему подражал, то и из Катулла он перевел стихотворение «Minister vetuli puer Falerni» («Пьяной горечью Фалерна чашу мне наполни, мальчик»). Заметим еще, что и сама-то элегия Шенье навеяна, по всей вероятности, тем же Катуллом. Но сходство между Пушкиным и Катуллом куда разительнее, чем между ними обоими, с одной стороны, и Шенье, с другой!

Латинский лирик начинает свои излияния обращением к своим двум друзьям:

Фурий и Аврелий, спутники Катулла  
(Furi et Aureli, comites Catulli)

и излагает затем план совместного с ними путешествия в далекие страны.  
Александр Сергеевич весьма точно передает ту же ситуацию:

Поедем, я готов; куда бы вы, друзья,  
Куда б ни вздумали, готов за вами я  
Повсюду следовать...

Правда, в приведенных строках не указано, к скольким друзьям поэт обращается; но, как мы увидим далее, есть возможность с точностью фиксировать их число как двойственное и даже назвать их подлинные имена.

Иное вовсе дело у Шенье. Самая форма partons является, скорее всего, авторским я; а если он и имеет в виду попутчиков, то мы о них из его рассказа ничего не узнаем.

Кроме того, античный предшественник романтиков решительно подчеркивает, что речь для него идет о поездке на край света, в удаленные и таинственные пределы земли, восточные либо западные, в бегстве от возлюбленной, против власти которой он взбунтовался (этот последний мотив сохранен у Пушкина; как, впрочем, и у Шенье). И здесь перед нами по-русски рисуется примерно такой же план. Описываются не те же области земного шара; но они окрашены сходными чувствами:

К подножию ль стены далекого Китая,  
В кипящий ли Париж, туда ли, наконец,  
Где Тассо не поет уже ночной гребец,  
Где древних городов под пеплом дремлют мощи,

---

<sup>71</sup> «Поедем, паруса готовы, и Византия зовет меня» (фр.).

<sup>72</sup> Адриан Иванович Пиотровский (1898–1937) – переводчик, филолог, театальный критик. Автор либретто балета «Светлый ручей» Д. Д. Шостаковича. В 1928–1937 художественный руководитель Ленинградской фабрики «Совкино» (позднее киностудия «Ленфильм»). В 1937 арестован по обвинению в шпионаже и диверсии и расстрелян.

Где кипарисные благоухают рощи.

Катулл, соответственно, говорит об Индии, Аравии, стране парфян, о загадочной Британии, только что тогда завоеванной Цезарем. Легко заметить параллельный ход мыслей у него и у Пушкина. Напротив, Шенье собирается в Византию, то есть в Константинополь, город не слишком отдаленный и притом для него лично родной (он там появился на свет).

Главное же, и что нам кажется наиболее убедительным, у Шенье намечается морское плавание. И трудно себе представить, чтобы, переводя его или хотя бы думая о нем, Пушкин не упомянул бы парус, волны или порт (понятия, столь многократно возникающие в его собственном творчестве). Иначе у Катулла: у того все время стоят перед глазами странствия по суше:

Sive in extremos penetrabit Indos...  
Sive in Hyrcanos Arabasve molles...

(кроме, впрочем, эпизодического упоминания о Британских островах). Любопытно, что и у Пушкина, и у Шенье (если последний тоже опирался на Катулла) опущена последняя (и весьма важная!) часть трагического монолога Катулла: его резкие упреки обманувшей его женщине. У них положение совсем иное; они жалуются, но не обвиняют и не осуждают. Пушкин рвется вдаль:

надменной убегая...

И горько вздыхает:

Забуду ль гордую мучительную деву?

Шенье меланхолически констатирует:

Je suis vaincu; je suis au joug d'une cruelle<sup>73</sup>.

Мы обещали уточнить (для тех из читателей, кто без нас не знает) имена двух приятелей, которым Пушкин адресовал свои стихи. Вот они: выдающийся востоковед и синолог отец Иакинф, в миру Никита Яковлевич Бичурин (1777–1853) и барон Петр Львович Шиллинг фон Канштадт (1787–1837), дипломат, изобретатель, член-корреспондент Академии Наук по разряду литературы и древностей Востока. Надо признать, что Пушкин друзей умел выбирать в разных кругах и, в данном случае, людей интересных и значительных! Во всяком случае, будь его разобранный выше отрывок создан под влиянием византийского француза (как тот сам любил себя называть) Андре-Мари де Шенье или веронца Гая Валерия Катулла, бесспорно, он отражает биографию и интимные переживания своего автора. Набросанный на бумагу в 1829 г., он относится к периоду, когда поэт, казалось, безнадежно отвергнутый любимой девушкой, Натальей Гончаровой, ставшей впоследствии его женой, замыслил принять участие в готовившейся экспедиции в Китай в компании с Бичуриным и Шиллингом; его намерение не осуществилось только в силу отказа правительства дать ему разрешение. Мечтал он в эти дни и об отъезде в Италию или во Францию (откуда слова о Париже и о родине Тассо<sup>74</sup>).

Нам остается еще сделать следующие замечания. Что касается отношений Катулла с Фурием и Аврелием, их дружба, очевидно, перемежалась ссорами, увековеченными в его сти-

---

<sup>73</sup> «Я побежден, я попал под жестокое иго» (фр.).

<sup>74</sup> Торквато Тассо (1544–1595) – итальянский поэт. Наиболее известна его поэма «Освобожденный Иерусалим».



хах. Пиотровский, несмотря на то, что переводит более сдержанные выражения подлинника строками:

Фурий ласковый и Аврелий верный!  
Вы – друзья Катуллу,

отзывается о них довольно пренебрежительно, как о «молодых прожигателях жизни». Французский литературовед Жорж Лафей, в комментариях к изданию стихов латинского поэта (Catulle, «Poésies», Paris, 1949), еще более решительно характеризует их как «Objet des sarcasmes violents de Catulle». Ничего подобного не было налицо в сношениях нашего великого поэта с его Фурием и Аврелием. Александр Сергеевич отличался завидным постоянством в дружбе. С Бичуриным и Шиллингом он познакомился поздно; но все его с ними контакты отмечены искренним доброжелательством и симпатией – видимо, взаимной.

*«Голос зарубежья», Мюнхен, март 1990, № 56, с. 9–11.*

## Мир во зле лежит

У замечательного русского поэта Я. П. Полонского<sup>75</sup> есть сравнительно мало известная и редко упоминаемая поэма «У Сатаны», содержащая исключительно глубокие и в высшем смысле слова пророческие мысли. Конечно, автор основывается-то на опыте великой французской революции; но легко убедиться, насколько суждения его применимы и к нашему сегодняшнему дню. Хотелось бы процитировать его произведение целиком; но, как оно невозможно, ограничусь отрывками и – поневоле! – дам их сплошными строками на манер прозы.

Нам представлена беседа верховного Духа Зла с его подручным, Асмодеем, которого он вопрошает:

Так отвечай же,  
Что сделал ты для того,  
Чтоб извратить Божье дело,  
Чтоб извести душу мира  
И умертвить его тело?

И вот отчет Асмодея:

Было великое время:  
Из скептицизма  
И злого сомнения,  
Выросло семя  
Уразумения.  
Разум всем громко подсказывать стал:  
«Равенство», «братство», «свобода».  
Тут не один идеал, —  
Три идеала!  
Но у меня  
Вышло из них три уroda,  
Три безобразия.  
Взвесив невежество масс,  
Я заключил, что в Европе у нас  
Массы людей – та же Азия:  
Тот же мифический мрак  
Царствует в недрах народа,  
И воплотилась в богиню свобода,  
И нарядилась в красный колпак;  
Я преподнес ей в таверне  
Чашу вина  
И захмелела она;  
Эту блудницу, как идола черни,  
Я препоясал мечом,  
Ей подчинил эшафоты,  
Рядом поставил ее с палачом,

---

<sup>75</sup> Яков Петрович Полонский (1819–1898) – поэт, писатель, журналист. Автор популярных песен и романсов (напр., «Мой костер в тумане светит»).

И не одни идиоты  
Верят с тех пор,  
Что тирания народа,  
Есть молодая свобода,  
Что ее символ – топор.

На реплику заинтересованного хозяина: «Дальше!», Асмодей продолжает:

Из равенства тоже  
Вышло Прокрустово ложе  
Кровь полилась;  
Вместо креста, поднялась  
Над головами  
Та гильотина «святая»,  
Что, понижая  
Уровень мыслей во имя страстей,  
Стала орудием власти моей.  
Люди били людей бессознательно,  
Гибель равняла людей,  
И так успешно равняла,  
Что окончательно  
Равенство пало:  
Цезарь восстал,  
Грозный и стопобедный.  
И покорились ему как судьбе,  
И поклонились  
Даже фигуре его темно-медной  
На темно-медном столбе!  
Братство – великое слово —  
Было не так уж ново,  
Пастыри стада Христова  
В мире его разнесли,  
И говорят, что кого-то спасли...  
Но это братство по-своему поняли,  
Те, кого речи мои сильно проняли.

И довольный еще успехом, Асмодей рассказывает:

Новые фразы  
Стал я ковать,

в таком стиле:

Слава есть дочь легковерия;  
Нравственность – мать лицемерия;  
Прелесть искусства – разврат;  
Кто терпелив, тот не стоит свободы;  
Где постепенность – там зло...  
Крови своей не жалеете, народы!

Все начинай с ничего!..

А в результате:

И услышал, наконец,  
Как откликается злоба,  
Как заправлять человечеством  
Лезет последний глупец.  
Чтоб окончательно спутать идеи  
Партии стал я плодить  
Непримиримые,  
Неукротимые,  
И в наши дни  
Тем велика их заслуга,  
Что без пощады друг друга  
Резать готовы они...

Так, Сатана,  
С ярыми криками:  
«Мир и свобода!»  
Буду на сцену  
Я выводить  
То тиранию народа,  
То деспотизм одного  
Вот мои планы...

Буду менять декорации,  
И, может быть,  
До нищеты и бесславия  
Мной доведенные нации  
Будут читать  
Только одни прокламации  
И проклинять, проклинять, проклинять!..

Кроме того, ловкий бес применил технический прогресс к военным целям:

И города превращаю в развалины,  
Так сотни тысяч людей  
Разорены по команде моей  
И миллионы людей опечалены.

С торжеством исполнительный черт заключает хвастливо свой рапорт:

От произвола, клевет, нищеты и разврата  
Полмира гниет.

Но этого, оказывается, мало:

Только-то?! А!..

Только одна половина!

воскликает Сатана,

Значит, другая в цвету обретается?

и отправляет своего клеветы обратно на Землю, довершить начатое.

Что же, дело идет. Взгляните вокруг себя, читатели! Однако, будем надеяться, что за правду сражается сам Бог; о Нем же Пушкин сказал:

Но пала разом мощь порока  
При слове гнева Твоего.

Авось дождемся и мы такого слова, и рухнут от него все хитросплетения диавольские!

*«Наша страна», рубрика «Среди книг», Буэнос-Айрес, 12 ноября 1987 г., № 1950, с. 4.*

## Ангел, а не демон

Весь Лермонтов заключен в раннем стихотворении «Ангел». Душа его слышала на миг каким-то чудом ангельское пение,

И звуков небес заменить не могли  
Ей скучные песни земли.

Случилось ли это через романсы, напеваемые матерью в его детские годы, – можно лишь гадать.

Отголосков этой райской гармонии поэт искал, – всю жизнь, – везде. В музыке:

Что за звуки! жадно  
Сердце ловит их...  
Она поет и звуки тают...

В беседах с людьми:

Есть речи – значенье  
Темно иль ничтожно,  
Но им без волненья  
Внимать невозможно.

Он, однако, не встречал ответа «Средь шума мирского». Но мы-то божественную, ни с чем не сравнимую мелодию улавливаем через его стихи, которым в нашей литературе нет подобных.

Воспринимал он и иные голоса, в том числе в шумах природы:

Брат, слушай песню непогоды:  
Она дика, как песнь свободы.

Но те с основным мотивом, заложенным в его сердце, не сливались.

Их-то отражение, однако и дало почву для домыслов о демонизме поэта, возникших еще до революции и, – как ни странно, – бытующих до сей поры, даже и в среде эмиграции.

Что до большевиков, то они (легко понять!) изображают Лермонтова убежденным атеистом и пламенным богоборцем.

Но посмотрим, что говорит он сам, в своих лирических стихах, где, как известно, автор лгать не может.

В минуту жизни трудную  
Теснится ль в сердце грусть;  
Одну молитву чудную  
Твержу я наизусть.

Довольно странное занятие для атеиста и богоборца! И тем более продолжение:

Есть сила благодатная  
В созвучье слов живых.

Еще полнее выразил он свои чувства в стихотворении, явно идущем из самой глубины сознания: «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою», содержащем обращение к: «Теплой Заступнице мира холодного».

Или надо понимать так, что в Бога он не верил, а в Богородицу верил?

Допустим, строки из «Казачьей колыбельной песни» можно списать на местный колорит (хотя уж очень искренне они звучат), а все же их приписать атеисту трудно:

Дам тебе я на дорогу  
Образок святой;  
Ты его, моляся Богу,  
Ставь перед собой.

Какие удивительные советы со стороны богоборца!

У которого, притом, с Творцом особые, близкие отношения: «И в небесах я вижу Бога».

И, наконец, процитируем одно из самых любимых советскими лермонтоведами стихотворений: «Но есть и Божий суд, наперсники разврата».

Если бунтовать против Бога – не абсурдно ли заранее признавать, что Его суд справедлив? Положим, по коммунистическому канону, здесь речь идет про грядущий, народный, пролетарский суд. Ну, насколько праведен сей последний бывал, мы кое-что знаем... Коли же речь о небесном суде, – то как мыслимо восставать против тут же утверждаемой справедливости?

В свете приведенных выше образцов, приходится вроде бы считать Михаила Юрьевича одним из самых благочестивых и глубоко верующих поэтов России (а верующими они были почти все). И верно увидел именно такие свойства его сочинений историк Ключевский, разгадавший их христианскую сущность.

Вовсе уж несообразны потуги советских литературоведов изгнать из творчества Лермонтова какую бы то ни было «метафизику». Курьезно поистине такое утверждение о поэте, у которого все время действуют персонажи, именуемые «Ангел», «Азраил», «Ангел Смерти» и «Демон». А слово ангел вообще у него одно из наиболее часто употребляемых.

Цветаева о себе говорила, что ей бы легче было жить в мире ангелов, чем в земном. Возможно. Но в ее произведениях это не отражено.

Тогда как Лермонтов всегда этим и дышит. Даже и в минуты горьких сомнений, когда произносит:

Нам небесное счастье темно.

Не только в стихах.

Природа Печорина есть то, что он – падший ангел. Отнюдь не демон, – он не ставит себе целью творить зло (хотя его поступки часто ведут ко злу для окружающих).

Но вот потому, по причине происхождения, он и ощущает в себе «силы необъятные», которые тратит на бессмысленные действия, – борьбу с ничтожными людьми, обольщение женщин без серьезной к ним любви.

И вот абсолютная разница между героем и его создателем. Лермонтов свои поистине необъятные силы частично реализовал своим грандиозным вкладом в поэзию и прозу (отчасти и живописи), – а мог бы осуществить бесконечно больше.

Но... он сам просил скорой смерти. Она ему и была дарована.

Не раз отмечалось, что он дерзостно говорит нередко с самим Господом Богом. Но кто больше на то имеет права, чем поэт, наделенный непосредственно от Вседержителя даром «чудных песен?»

Загадочная фигура его выглядит не падшим ангелом, а скорее небожителем, посланным в низший мир, кто знает? на испытание или для свершения порученной ему (но не открытой ему) задачи.

Крайне несостоятельны попытки исполнителей красного социального заказа доказать, будто Лермонтов был не романтик, а реалист (мол, начал-то как романтик, но потом сделался реалистом). На деле, его самые последние – дивные – стихи полны подлинно неистового романтизма: «Любовь мертвеца», «Свидание»; как и писавшийся им в течение всей его, – увы, короткой, – литературной деятельности «Демон».

О реализме, в применении к такому поэту мыслимо говорить разве только, если подразумевать высший реализм, рассказывающий о потусторонних, небесных и адских, надмирных и космических силах.

На предмет превращения великого поэта в реалиста (хорошо, что хоть не в «социалистического»!) приводятся вполне идиотские доводы вроде того, что де в «Герое нашего времени» подробно и точно описан быт Пятигорска тех лет.

Так разве Вальтер Скотт в «Антикварии» или Виктор Гюго в «Отверженных» не дают весьма обстоятельного изображения нравов и обстановки современных им Шотландии и Франции? А уж их права на звание «романтиков», сколько нам известно, никто не оспаривает!

Впрочем, по окаменелым схемам большевицкого литературоведения русские романтики чуть ли не сводятся все к Марлинскому и Жуковскому... А то, что им был, о чем сам громко заявлял, Пушкин, равно в «Кавказском пленнике» и «Бахчисарайском фонтане», как и в «Полтаве» и «Египетских ночах», что им же бесспорно был Гоголь в «Страшной мести», «Портрете» и «Тарасе Бульбе», это старательно игнорируется.

Реализм же у Лермонтова можно обнаружить разве что в «Сашке» (да в гусарских поэмах, которых бы лучше ему было не писать), а у Пушкина, допустим, в «Домике в Коломне» и с грехом пополам в «Графе Нулине».

Касательно упомянутого нами выше пресловутого демонизма, – демонические образы, конечно, налицо, в частности в «кавказских» поэмах, навеянные в немалой степени Байроном, но отчасти и самым характером горских нравов. Но можно ли отождествлять, будь то лишь на мгновение, личность Лермонтова с такими его персонажами как мрачные убийцы Хаджи Абрек или Каллы? Мало у него общего и с борцом за чеченскую независимость Измаил-беем.

Это вообще порочный метод смешивать писателя с выведенными им на сцену персонажами. Особенно яркое выражение он нашел в книге Анри Труайя<sup>76</sup> «L'étrange destin de Lermontof<sup>77</sup>», где автор выписывает целые страницы из «Дневника Печорина», относя их целиком к самому Лермонтову.

Нет уж совсем никаких оснований, как делают это советские борзописцы, приписывать Лермонтову близость и симпатии к декабристам. Напротив, известно, что при встречах с ними он у них оставлял о себе крайне неприятное впечатление (без сомнения, взаимное), как в случае с Лорером. Дружба же с А. Одоевским носила чисто личный характер, не имея ничего общего с политикой.

Отношение свое к французской революции поэт ясно выразил в поэме «Сашка», с неприимимым осуждением отзываясь о ней, и специально о казни короля и королевы.

Отметим, что в погоне за потребными им химерическими толкованиями большевики прибегали часто к вовсе уж недопустимым шарлатанским приемам.

---

<sup>76</sup> Анри Труайя (Henri Troyat; наст. имя. Лев Асланович Тарасов; 1911–2007) – французский писатель армянского происхождения. Автор многих биографий известных русских и французов.

<sup>77</sup> «Странная судьба Лермонтова» (фр.).



Возьмем предназначенное для широкой публики издание Лермонтова, в Москве в 1970 году (издательство «Художественная Литература»). В стихотворении «Опять, народные витии» после 4-ой строфы, вслед за словами

Безумцы мелкие, вы правы.  
Мы чужды ложного стыда!

идет провал, в форме многоточий, вплоть до начала 5-ой строфы: «Но честь России невреждена».

В действительности, тут должны стоять слова:

Так нераздельны в деле славы  
Народ и царь его всегда.  
Веленьем власти благотворной  
Мы повинемся покорно  
И верим нашему царю!  
И будем все стоять упорно  
За честь его как за свою.

Политическая цензура, – похуже всех дореволюционных времен! – по отношению к одному из величайших классиков нашей поэзии! Довольно тщетная, поскольку продолжали ведь существовать старые издания его произведений.

Но вернемся к вопросу о демонизме. Справедливость требует признать, что поэма о демоне кончается не торжеством, а поражением «мрачного духа сомнения», если и нельзя отрицать некоторого сочувствия к его грандиозной фигуре со стороны поэта. Смешивать их, создание и создателя, было бы передержкой; минимум, – крайним упрощением вещей.

Скажем в заключение, что самому Михаилу Юрьевичу Лермонтову можно бы с основанием применить его характеристику Тамары (хотя он, безусловно, о таком сравнении не думал!):

Творец из лучшего эфира  
Соткал живые струны их,  
Они не созданы для мира,  
И мир был создан не для них!

*«Наша страна», рубрика «Мысли о литературе», Буэнос-Айрес, 13 мая 2000 г., № 2595–2596, с. 5.*

## Забытая годовщина

19-го июля исполнилось сто лет со дня смерти Константина Николаевича Батюшкова. Эмигрантская печать почти не упоминает об этой годовщине. Это не особенно удивительно, если взвесить, насколько мало публика знает этого замечательного поэта, и как мало внимания уделяли ему всегда историки русской литературы.

Вполне культурный русский человек может, как правило, вспомнить слова о нем Пушкина: «Звуки итальянские! Что за чудотворец этот Батюшков» (написано на полях стихотворения Батюшкова «К другу», против строки:

Любви и очи и ланиты.

Эта фраза непременно приводится во всех учебниках, статьях и предисловиях, когда речь идет о Батюшкове. Обидно делается, до чего затасканы, конечно, верные и меткие, слова Пушкина. Они сотню лет создавали у читателя мнение будто Батюшков только и значителен мелодичностью стиха, представляя его каким-то предшественником Бальмонта. К этому надо еще прибавить, неизбежно повторяющиеся в большевистских курсах литературы, обвинения его в изнеженности стиля и в аристократическом, – по гнусному советскому выражению «барском» – характере его поэзии.

Чтобы понять нелепость таких суждений есть одно верное средство: прочитать в подлиннике стихотворения Батюшкова, составляющие, к сожалению всех понимающих поэзию, один небольшой томик. Впрочем, спорить с «пролетарскими» – искренне или невольно – критиками было бы вполне бессмысленно. Несомненно, Батюшков принадлежит к той ослепительно яркой плеяде поэтов начала XIX века, – кульминационным пунктом которой явился Пушкин, – поражающей высотой и разносторонностью своего образования, и только и возможной в русском дворянском обществе той эпохи. И в этой плеяде его место – в непосредственном соседстве с Пушкиным.

Тот факт, что Батюшков был по своим взглядам человек правый, хотя никоим образом не обскурант и не реакционер, что он с любовью и восхищением говорил об императоре Александре II, о его военной славе, о прогрессивности его правления, может быть, немало содействовал неблагоприятному отношению к нему позднейших литературоведов. Он, в самом деле, не постеснялся сказать о царе: «Каждый труд, каждый полезный подвиг щедро им награждается... Нет сомнения, что все благородные сердца, все патриоты с признательностью благословляют руку, которая столь щедро награждает полезные труды». Совсем не то, что полагалось говорить по левому канону, ставшему в последующие годы обязательным!

Но вот насчет сладости и изнеженности, как типичных черт Батюшковской музыки, мы позволим себе усомниться. Возьмем его «Песнь Гаральда Смелого»:

С сынами Дронтейма вы помните сечу?  
Как вихорь пред вами я мчался навстречу  
Под камни и тучи свистящие стрел.  
Напрасно сдвигались народы; мечами  
Напрасно о наши стучали щиты:  
Как бледные класы под ливнем упали  
И всадник, и пеший; владыка, и ты!..

В русской поэзии не так уже много таких насыщенных неукротимой энергией строк, и такой экстаз битвы, такой апофеоз войны нам скорее напомнят Гумилева, чем Бальмонта. Другие, рядом стоящие строки:

Нас было лишь трое на легком челне:  
А море вздымалось, я помню, горами;  
Ночь черная в полдень нависла с громами,  
И Гела зияла в соленой волне

не вызывают ли мысль о Тютчеве, с его мотивами борьбы с непреклонным роком и гордости смертного перед губящей его стихией?

Но вот опять курьезное предвосхищение Гумилева – «Мадагаскарская песня»:

Как сладко спать в прохладной тени...

Кроме них двоих, кажется, в русской поэзии никто не писал о Мадагаскаре. И интересно отметить, что Батюшков, подражавший своему любимому поэту Парни, креолу с соседнего с Мадагаскаром острова Бурбон, сумел великолепно передать здесь стиль и дух малгашской поэзии, вплоть до столь типичного для Имерины культа царской власти:

Протяжно, тихими словами  
Царя возвеселите слух!

и обычных мотивов местного фольклора:

Воспойте песни мне девицы,  
Плетущей сети для кошниц...

Самое устремление к далеким, экзотическим странам, впрочем, не особенно редкое явление на русском Парнасе – и у Пушкина есть «Анчар», но Батюшков заплатил дань и всем другим увлечениям века.

Львиная доля его стихов, в самом разном жанре, касается Греции и Рима. Но важно то, что в некоторых из них он побил рекорд проникновения в дух древнего мира. И это особенно поразительно, когда мы учтем царивший тогда условный стиль. Это верно и в применении к величаво спокойной «греческой антологии». Но более всего, поразительна, недаром вызвавшая восхищение Белинского, «Вакханка», исполненная исступлением тех мистерий, в которых прорывалась темная и бурная глубина души, внешне столь гармоничной, Эллады. Опыленный, стремительный ритм этого короткого стихотворения вызывает мысль о совсем в другом размере и в другом, более жутком тоне написанном катулловском «Аттисе»:

Все на праздник Эригоны  
Жрицы Вакховы текли;  
Ветры с шумом разнесли  
Громкий вой их, плеск и стоны.

И еще более того неистовый ритм строк:

Я за ней... она бежала  
Легче серны молодой.

Я настиг – она упала!  
И тимпан над головой!

Белинский писал, что это «Апофеоза чувственной страсти, доходящей в неукротимом стремлении вожделения до бешеного, и, в то же время, в высшей степени поэтического и грациозного безумия».

Древность, впрочем, у Батюшкова представлена не только греко-латинская, но и библейская. Тому пример его горько меланхолический «Мельхиседек».

Ты знаешь, что изрек,  
Прощаясь с жизнью, седой Мельхиседек?

Наконец, если искать разнообразия, Батюшков был наделен остроумием и чувством юмора в более чем достаточной мере. Его «Видение на берегах Леты» с убийственно меткими характеристиками современных ему поэтов недаром вошло в хрестоматию.

Чувств и образов в поэзии Батюшкова заключено так много, что исследователь, который займется им всерьез, найдет довольно труда, впрочем, очень благодарного, чтобы в них разобратся. И если исключительная красота его стиха может кинуться, прежде всего, в глаза читателю, не видеть за ней содержания, это хуже, чем за деревьями не видеть леса.

Мы перечислили выше основные типы стихотворений Батюшкова, достаточно, полагаем, чтобы можно было судить о широте их охвата. Следовало бы прибавить все навеянное Италией, как «Смерть Тасса» и множество подражаний и переводов, – знание и любовь итальянской литературы были существенной чертой в жизни Батюшкова. Впрочем, из каких только стран и литератур он ни черпал вдохновения! Найдутся у него и арабские ноты:

Ты видишь – розы покраснели  
В долине Йемена от песней соловья...

Но говорить о слащавости или изнеженности... лишь немногие вещи Батюшкова позволяют это по своему сюжету, и еще такое суждение почти всегда было бы несправедливо. Критиковать ли грациозно условный романс:

Гусар, на саблю опираясь,  
В глубокой горести стоял...

Его популярность – лучшее ему оправдание... Или меланхолическое «Выздоровление»:

Как ландыш под серпом убийственным жнеца  
Склоняет голову и вянет...

Но его всегда причисляли к лучшему из того, что Батюшков вообще написал.

Или одну из дивно-живописных картин, отголосков с разных концов света, из Швеции и Италии:

Сквозь тонки утренни туманы  
На зеркальных водах пустынной Троллетаны...

Или:

Ты пробуждаешься, о Байя, из гробницы  
При появлении Аврориных лучей.

Еще труднее поверить, что кому-нибудь приторными могли показаться стихи из любовной лирики Батюшкова, такие, как, например, «Источник», которые по грации, простоте и эмоциональной силе нам хочется отнести к числу самых лучших в русской поэзии.

Дебри ты, Зафна, собой озарила!  
Сладко с тобою в пустынных краях!  
Песни любви ты мне повторила,  
Ветер унес их на тихих крылах!..

Голос твой, Зафна, в душе отозвался;  
Вижу улыбку и радость в очах!..  
Дева любви! – я к тебе прикасался.  
С медом пил розы на влажных устах!

Единственное объяснение, какое нам приходит в голову, относительно несправедливого забвения и пренебрежения, которые окутывают имя большого поэта, каким Россия имеет все основания гордиться, это установившаяся рутина: во всех курсах литературы повторяются короткие стандартные фразы, не вызывающие у публики интереса, почти никто не читает книжку, которую вдобавок и достать нелегко; а многие, если бы прочли, испытали бы подлинное и высокое наслаждение, охватывающее душу при встрече с настоящей поэзией.

Тем более жаль, что о столетии со дня кончины Батюшкова забыли; думаем, что мы выполняем свой долг, о нем напоминая.

*«Возрождение», рубрика «Среди книг и журналов», Париж, ноябрь 1955 года,  
№ 47, с. 138–141.*

## **А. Муравьев. «Путешествие по святым местам русским» (Москва, 1990)**

Можно приветствовать переиздание в Москве книги Андрея Николаевича Муравьева (1806–1874), современника и доброго знакомого Пушкина и Лермонтова, написанной превосходным языком наших классиков, какого, увы, теперь не видишь больше в печати, ни в России, ни за рубежом.

Описание московских, киевских и новгородских монастырей и церквей, которые он посетил, ярко напоминает нам лишний раз о том, насколько православная вера тесно связана с русской историей.

Приятно читать его рассказ, проникнутый теплым благочестием и искренним монархическим чувством.

Жаль только, что он, говоря о живых еще архиереях, священниках, иногда и сановниках, укрывает их имена за инициалами, теперь для нас не поддающимися разгадке.

Другое, о чем остро жалеешь, пробегая его строки, это – участь всех упоминаемых им святынь в страшное советское время; вещь, о которой – и думать не хочется!

Муравьев, глазами своей эпохи, беспокоится порою, что-то или иное древнее здание разрушается и недостаточно тщательно сохраняется. Но тогда-то врагом было только движение неумолимого времени, а не руки людей (если большевиков можно все же именовать людьми...)

Отдыхаешь, однако, душою, погружаясь в картины нашего прекрасного прошлого, периода еще далекого от надвигавшихся на нашу родину ужасных испытаний.

Собранные в этом солидном томике в 800 почти страниц фактические данные драгоценны даже с чисто научной точки зрения; не говоря об умирительных переживаниях, какие внушат, без сомнения, верующим.

*«Наша страна», рубрика «Библиография», Буэнос-Айрес, 11 июня 1994 г., № 2287, с. 2.*

## Миф о Белинском

Советская схема литературоведения гласит, – и без сомнения, многие в Эрефии в нее и доныне верят, – следующее: «Белинский был пламенный революционер. Известно, что Пушкин хотел его привлечь в свой журнал; ergo<sup>78</sup> Пушкин был тоже революционером».

Подлог состоит в смещении во времени. Белинский стал (подлинно обезумев!) революционером под конец жизни.

А вот, что он прежде думал о французской революции (заимствуем сведения из книги И. Золотусского «Гоголь», изданной в Москве в 2005 году): «Явилось множество маленьких великих людей и со школьными тетрадками в руках стало около машины, названной ими la sainte guillotine<sup>79</sup>, и начало всех переделывать в римлян».

Тут его взгляды вполне сходились с взглядами Пушкина, автора, как известно, стихотворения «Андрей Шенье». Так что препятствий к сотрудничеству между ними не имелось.

А предвидеть дальнейшую бурную эволюцию выдающегося критика поэт не мог никак...

Это, начиная с 1840 года, когда в его мыслях произошел радикальный переворот, Белинский приходит к мысли, будто: «Тысячелетнее Царство Божие на земле утвердится не сладенькими и восторженными фразами идеальной и прекраснодушной Жиронды, а террористами – обоюдоострым мечом слова и дела Робеспьеров и Сен-Жюстов».

Ну, какое оно бывает Царство Божие, устанавливаемое путем террора, – мы повидали. Оно отнюдь не Божие, оно – сатанинское.

*«Наша страна», рубрика «Миражи современности», Буэнос-Айрес, 11 июня 2005 г., № 2773, с. 1.*

---

<sup>78</sup> Следовательно (лат.).

<sup>79</sup> Святая гильотина (фр.).

## **А. Ишимова. «История России в рассказах для детей» (Москва, 2004)**

Александра Осиповна Ишимова (1804–1881) вошла в историю литературы тем, что ей было адресовано последнее в жизни письмо Пушкина, отправленное за несколько часов перед роковой дуэлью.

А писал он ей следующее: «Сегодня я нечаянно открыл Вашу “Историю в рассказах” и поневоле зачитался. Вот как надобно писать!»

В самом деле, «История» эта (815 страниц) изложена прекрасным русским языком и с немалым литературным талантом: например, ясно и четко описаны запутанные события времен удельной Руси.

Предназначение книги для детей объясняет смягчение многих деталей (в том числе живописных повествований древних летописцев о мести Ольги древлянам за убийство мужа). Современным детям, привыкшим смотреть по телевизору самые ужасные вещи, вероятно, можно бы не стесняясь говорить и об этом, и о других жутких происшествиях нашего прошлого.

Подчиняясь, очевидно, цензуре (но, может быть, и с полным одобрением), в книге не сообщается о реальных причинах смерти императоров Петра Третьего и Павла Первого; просто указывается дата их кончины.

В остальном сжата, но точная картина всего происходившего в России со времен призвания варягов и по конец царствования императора Александра Первого может быть полезна не только детям, но и взрослым.

Тем более в нынешней России, где хороших книг по истории нет, и где историю все время пытаются написать по-новому, безбожно ее искажая.

Она может с успехом заменить многотомные работы Карамзина, Ключевского или Соловьева.

С идеологической точки зрения Ишимова выступает как убежденная русская патриотка (без какого-либо квасного патриотизма или ксенофобии) и монархистка.

Даже нашим противникам порекомендуем с ее произведением познакомиться, чтобы по крайней мере понимать систему взглядов, построенную на любви к родине и на вере в тот строй, который многие веки (и с каким успехом!) ею руководил.

Тем более горячо советуем данное сочинение нашим единомышленникам. С должными оговорками, его с пользой можно применить к воспитанию детей и молодежи, – которым ведь принадлежит наше будущее как нации.

*«Наша страна», рубрика «Библиография», Буэнос-Айрес, 18 сентября 2004 г., № 2754, с. 2.*



## Благочестивая Россия

Писатель В. Крестовский<sup>80</sup>, совершивший в 1880 году кругосветное путешествие на русском корабле, так рассказывает о плавании по Эгейскому морю: «Палуба нашего парохода представляет довольно интересное зрелище. Теперь все ее пассажиры, принятые на борт в Константинополе, уже успели разместиться, “умяться”, приладиться, и вполне свыклись со временным своим жильем на палубе, применяясь к обиходу пароходной жизни. Вся средняя и носовая части палубы покрыты этими пассажирами, которые, хотя и разбились на более тесные группы по национальностям, но все же относятся одни к другим довольно общительно и дружелюбно. Все они, соседства ради, по необходимости трутся между собою бок о бок и, не понимая язык, все же оказывают иногда друг другу взаимные маленькие услуги, угощают одни других, и в особенности детей бубликами, чайком, арбузами, дынями, папироской, словом, как говорится, живут хотя и в тесноте, но не в обиде. Большинство из них все паломники, направляющиеся ко Святым Местам: одни на поклонение Гробу Господню, другие – Каабе, третьи – обетованной земле Израиля. Тут были греки, итальянцы, армяне, болгары, сербы, румыны, евреи, турки, но большинство состояло из наших русских странников и странниц, и вообще русско-подданных, между которыми были и жида из Западного Края, и нахичеванские армяне, и кавказские горцы, и казанские татары, и несколько сартов из Ташкента и других мест Средней Азии, и все эти “восточные народы”, сверх моего ожидания, относились к своим “поработителям” русским очень дружелюбно, на что “поработители”, конечно, отвечали взаимностью. Тут же следовала в Смирну целая партия турецких солдат, отбывших сроки своей службы и теперь возвращавшихся на родину. Между ними нашлось несколько человек, бывших в плену в России. Двое из них научились кое-как говорить по-русски и не без удовольствия сами объявили мне о своем временном пребывании в России. Хвалят Россию, “хорошо у вас!” говорят: “9 месяцев ели, пили и хорошо жили за здоровье императора Александра! И сапоги он нам давал, хорошие сапоги! И жалованье давал полтора рубля в месяц на человека, и народ у вас хороший, не обижал нас! Только и есть два хорошие народа на свете, урус и османлы”».

Вот какова была старая Россия: мирная и единая внутри, хотя и полная разнообразия и местного своеобразия; грозная для врагов, но великодушная к побежденным. И все ее народы признавали Божий закон и стремились выполнять. Вспоминаются слова, сказанные неким крестьянином общественной деятельности и писательнице А. Тырковой: «Какая была держава, и что вы с нею сделали!»

*«Наша страна», рубрика «Среди книг», Буэнос-Айрес, 10 сентября 1988 г., № 1988, с. 4.*

---

<sup>80</sup> Владимир Владимирович Крестовский (1839–1895) – писатель, поэт, литературный критик. Наиболее известны его городские романсы, роман «Петербургские трущобы». Автор либретто оперы Н. А. Римского-Корсакова «Псковитянка».

## Забывтый эпизод истории

В уже поминавшейся нами книге В. Крестовского «В дальних водах и странах» есть следующий пассаж, вносящийся к 1880 году: «Проходя мимо Суматры, не излишне будет сообщить моим соотечественникам, что могущество русской державы в среде местного населения этого острова, по-видимому пользуется большим обаянием. Не далее, как год тому назад Россия легко могла бы, если бы только захотела, сделать себе роскошный подарок в экваториальных странах по южную сторону Индии, так как населения Суматры просили особою петицией принять их в русское подданство. В конце ноября и в декабре 1878 года, клипер “Всадник”, под командой капитана 1-го ранга А. П. Новосильского<sup>81</sup> находился в Пенанге...»

Затем описано появление малайской делегации, объявившей, «что они уполномоченные султана ачинского... что народ ачинский и соседние с ним племена доведены до отчаянного положения, но что, истощаясь в военной борьбе с голландцами, они ни под каким видом не хотят подчиниться их тяжкому и суровому владычеству. А потому, пользуясь пребыванием в Пенанге русского военного судна, их султан и соседние с ним владетельные князья решили ходатайствовать перед престолом великого Белого Царя о принятии их под непосредственное покровительство всемогущей русской державы... при этом, вслед за Ачином вся Суматра с радостью отдастся под сень его высокой руки».

А. П. Новосильский почувствовал себя «в большом затруднении», изумляясь, «что подданство целого султаната с трехмиллионным населением и с перспективой присоединения затем огромного острова с 19 миллионами населения предлагалось подобным путем». Он спросил делегатов, почему они не обратятся за помощью к англичанам, на что те ответили: «Англичане будут такие же, как и голландцы, если не хуже. Ни к кому и ни под кого, только под руку русского императора!»

Тогда Новосильский переслал их петицию в Петербург, но: «По прошествии нескольких времени ему было отвечено, что прошение султана Ачинского и других не может быть принято во внимание, так как Россия находится с Голландией в дружественных отношениях».

Навряд ли такая политика была разумной. Голландия не имела права нам запрещать сношения с суверенным туземным государством, и вряд ли бы решилась нам объявить войну, да и страшна ли бы она нам была? А при нашей поддержке, даже не официальной, а хотя бы доставкой необходимого им оружия, ачинцы сумели бы свою свободу отстоять.

Даже учитывая все международные трудности, – какие возможности открывались перед нами на Дальнем Востоке! Спустя 20 лет, если бы мы и вступили все же в войну с Японией, – располагая базой на Суматре, мы вряд ли бы потерпели поражение. Очевидно, правительство думало, что Россия способна расширяться лишь за счет непосредственно к ней прилегающих территорий, где, однако, часто приходилось вести завоевание огнем и мечем. А тут мы имели шанс приобрести около 20 миллионов добровольных и преданных подданных! И богатейшую по ресурсам страну... Жаль, что наша империя была в тот момент проникнута робостью, из-за которой также не прислушалась позже к предложениям Н. Миклухи-Маклая о приобретении Новой Гвинеи. Прояви мы подобающую смелость, история пошла бы иною дорогой и, кто знает, не было бы революции 1905 года, ни тем более таковой 1917-го.

*«Наша страна», рубрика «Среди книг», Буэнос-Айрес, 15 октября 1988 г., № 1993 года, с. 2.*

---

<sup>81</sup> Андрей Павлович Новосильский (1837–1881) – офицер Российского Императорского флота, капитан 1-го ранга. Исследователь Охотского и Чукотского морей.

## Черное добро

О книге И. Федорова<sup>82</sup>, писавшего под псевдонимом Омудевский, изданной в 1871 году, в предисловии к ее переизданию в 1923 году говорится, что она «принадлежит к числу тех многочисленных у нас в 60-е и 70-е годы программных романов, дело которых не столько изобразить верно окружающую действительность, сколько показать образцы, как надо жить и действовать в этой обстановке новым людям, сознательным борцам за лучшее будущее. По степени влияния, которое он оказал на молодежь 60-х-70-х годов роман Омудевского уступает только знаменитому роману Чернышевского “Что делать?”, а по степени художественности должен быть поставлен выше» (ну, сей последний комплимент, хотя и заслуженный, не очень-то много весит: у Николая-то Гавриловича, по части художественности, мы ведь знаем, медведь на ухо наступил!).

Содержание такое: герой Светлов, окончив университет в Петербурге, возвращается домой к родителям в некий город в Сибири (описание быта семьи провинциального чиновничьего круга представляет собою наиболее удачные страницы повествования). Здесь он, собрав кружок единомышленников, занимается вроде бы полезными делами: дает уроки, позже организует бесплатную школу для детей и взрослых, тогда как его приятель Ельников лечит даром неимущих больных, и т. п. Но работа их подчинена целиком почти нескрываемой иной цели: ведению разрушительной антиправительственной пропаганды; которая и завершается бунтом на фабрике, едва не завершившимся убийством директора. Между делом, главный персонаж успевает сделать ребенка эмансипированной дочери польского ссыльного и, развалив семью, где состоял учителем при детях, сманить их мать к себе в любовницы. Его, правда, сажают-таки в острог, но быстро и выпускают. История кончается его отбытием вновь в столицу в компании захваченной им чужой жены.

Заметим, что Светлов, в реальной жизни, был бы нестерпимым для всех вокруг педантом и резонером: его рассуждения в стиле формальной (но не безупречной!) логики лишь потому всегда завершаются победой, что автор делает его собеседников идиотами, неспособными найти на его разглагольствования подходящий ответ.

В общем, перед нами портрет и впрямь построенный на идеях Чернышевского, – одного из тех «сеятелей разумного, доброго, вечного», жуткие плоды работы коих мы (и даже весь земной шар) пожинаем и по сегодня, не в силах от них освободиться.

Страшные семена бросили в почву эти безумные люди! Сколько крови, слез, невыносимых страданий всходы разбрасываемых ими зерен принесли, на их несчастной родине и далеко за ее пределами! Спрашиваешь себя, не содрогнулись бы они сами, если бы их ткнуть носом в предстоящие результаты их активности! Кто знает; может быть и нет. Сим фанатикам важно было перестроить мир на свой лад, разрушить жизнь, как они ее видели; а о добре и зле у них были свои представления «абсурдные и непреложные».

*«Наша страна», рубрика «Среди книг», Буэнос-Айрес, 23 января 1993 г., № 2216, с. 2.*

---

<sup>82</sup> Иннокентий Васильевич Федоров (псевд. Омудевский; 1836–1884) – писатель и поэт.

## **М. Волконский. «Темные силы» (Москва, 2008)**

Согласно анонсу, князь Михаил Николаевич Волконский<sup>83</sup> (1860–1917) был «одним из самых известных беллетристов в начале XX века».

Признаемся, мы о нем никогда, однако, не слыхали.

Два связанные по сюжету романа, «Темные силы» и «Жанна де Ламот» напоминают по манере Дюма, а больше – Эжена Сю.

Демонические тайные общества... переодевания... запутанные наследства... похищения документов... убийства.

Все это хорошим русским языком, от которого мы теперь отвыкли, и, нельзя не признать, в увлекательной форме.

А издано элегантно, в томике в 500 страниц.

Неизбежным образом, психология персонажей очерчена поверхностно; но, опять-таки, у каждого есть свой четко выраженный характер.

Хотя окончание почему-то чересчур свернуто и сокращено.

Любопытно, что один из главных героев, симпатичный алкоголик Орест Беспалов, напоминает *mutatis mutandum*<sup>84</sup> Степку из «Двух сил» И. Солоневича, с которым наши читатели хорошо знакомы.

*«Наша страна», рубрика «Библиография», Буэнос-Айрес, 18 апреля 2009 г., № 2865, с. 3.*

---

<sup>83</sup> Михаил Николаевич Волконский (1860–1917) – писатель и драматург. Автор исторических романов. Один из руководителей «Союза русского народа».

<sup>84</sup> С учетом соответствующих различий (*лат.*).

## **М. Волконский. «Мальтийская цепь» (Москва, 2007)**

Мы уже разбирали книгу Волконского «Темные силы».

В отличие от нее «Мальтийская цепь» и содержащееся в том же томе в 575 страниц «Кольцо императрицы» представляют собою не авантюрные, а исторические романы, близкие по стилю к произведениям Всеволода Соловьева<sup>85</sup> и графа Салиаса<sup>86</sup>. Первый из них даже перекликается с сочинением Салиаса «Служитель Божий» наличием в том и в другом в качестве отрицательного персонажа патера Иосифа Грубера, иезуитского деятеля, погибшего в Петербурге во время пожара.

«Мальтийская цепь» есть романсированная история подлинного лица, итальянца графа Помпея Литты, рыцаря Мальтийского ордена, начавшего свою карьеру корсаром на Средиземном море и завершившего ее блистательным образом, при российском дворе в эпоху императоров Екатерины Второй и Павла Первого.

Правда, события его жизни сами по себе составляют увлекательный и даже на первый взгляд неправдоподобный приключенческий роман! Отметим верное изображение в книге петербургской жизни того времени.

В отличие от многих писателей, включая даже столь блестящих как Алданов<sup>87</sup> и Акунин, автор отдает должное «великой жене» (как именовал ее Пушкин) принадлежащей к числу лучших монархов на русском троне, того и другого пола.

Передадим ему слово.

Отметив бодрый вид царицы в ее последние годы, он продолжает: «Благодаря ли этому или вообще вследствие долгой привычки к управлению мудрой государыни, счастье и ум которой покрыли невиданным дотоле блеском Россию – все думали, что так будет вечно, что Екатерина еще долгие годы будет царствовать на славу».

И вот, картина ее похорон:

«Трогательные, за душу хватающие сцены происходили на улицах Петербурга, точно каждый терял более, чем императрицу – любящую мать. Люди всех сословий, пешком, в санях и каретах, встречая своих знакомых, со слезами на глазах, выражали сокрушение о случившемся».

Тогда как при ее жизни:

«Двор Екатерины был самым блестящим двором Европы. Нигде не соблюдался этикет строже, чем при ее дворе, и нигде не было выходов и приемов более торжественных и величественных, но вместе с тем нигде так не веселились, и нигде не было такой искренней непринужденности, разумеется, в строгих границах».

Второй роман, «Кольцо императрицы», рисующий быт и нравы эпохи конца брауншвейгской династии и первых лет царствования Елизаветы Петровны, несколько слабее и сюжет не всегда убедителен.

Отметим, однако, в нем слова канцлера Бестужева, сохраняющие свою актуальность вплоть до наших дней:

«Нам до развития дел Европы нет никакого отношения; мы должны знать родное, русское и оберегать честь России. Вот это – наше дело, а до прочего мы не касаемся».

---

<sup>85</sup> Всеволод Сергеевич Соловьев (1849–1903) – писатель, поэт и журналист. Старший сын историка С.М. Соловьева. Наибольшую известность получили исторические романы и повести, а также «Хроника четырех поколений», семейная эпопея из пяти романов о судьбах дворян Горбатовых.

<sup>86</sup> См о нем сноску 1 на с. 22.

<sup>87</sup> Марк Алданов (наст. имя Марк Александрович Ландау; 1886–1957) – русский писатель, публицист, химик. С 1919 в эмиграции. Жил во Франции, в 1940 переехал в США, после войны вернулся во Францию. Наиболее известны его исторические романы.

*«Наша страна», рубрика «Библиография», Буэнос-Айрес, 20 июня 2009 г., № 2870, с. 3.*

## Монархия и республика

В весьма любопытном романе С. Фонвизина<sup>88</sup> «В смутные дни», изданном в Петербурге в 1917 году, главный герой, Артемий Хорват, развивает следующие идеи:

«Я не понимаю, почему, когда мне запрещают кричать “долой самодержавие”, я должен лезть на стену и вопить о насилии, когда же мне запретят кричать “долой республику», я найду это вполне естественным, должен относиться к этому совершенно спокойно. Теперь у нас вешают за попытки к ниспровержению самодержавного строя, тогда будут вешать за такие же попытки по отношению к строю республиканскому. Plus cela change, plus c'est la meme chose...<sup>89</sup> С этой стороны глядя, революция – пошлая комедия, которая должна была бы возбуждать один лишь смех, не сопровождайся она потоками крови, превращающими ее в такую же бессмысленную, но кровавую трагедию. Если же господа революционеры стремятся к большему, к социальному перевороту, то есть к изменению существующего вполне естественного и – я на этом не настаиваю – вполне справедливого мирового порядка, по которому все умное, сильное, энергичное, способное, талантливое находится наверху, а все противоположное барахтается на дне, то хорошо понимая стремление “дна” поменяться местами, я, как принадлежащий к “верхам”, относиться сочувственно к этой перемене не могу. Поэтому я и прощаю правительству его злоупотребления насилием, сознавая, что таковые вытекают главным образом из боязни все возрастающего могущества “чумазах”. Я готов терпеть какой угодно гнет правительства, – для порядочного человека, впрочем, мало ощутимый, – лишь бы избавиться от гнета, ожидающего меня в будущем царстве свободы (?), в царстве “пролетариев всех стран... соединяйтесь”».

Нельзя отказать автору, – писателю мало известному и, вроде бы, ни в одном курсе литературы не упоминающемуся, – в даре провидения. Как в воду глядел!

*«Наша страна», рубрика «Среди книг», Буэнос-Айрес, 27 июля 1991 г., № 2138, с. 2.*

---

<sup>88</sup> Сергей Иванович Фонвизин (1860–1936) – писатель, государственный деятель, коллежский советник.

<sup>89</sup> Меняй не меняй – результат один (*фр.*).

## Столкновение героев

Роман «Рыцари гор», изданный в Петербурге в 1911 году, принадлежит к числу лучших вещей В. Немировича-Данченко<sup>90</sup> (а он писал много, и на разном уровне), как и некоторые другие о Кавказе, который он любил и хорошо знал. Действие происходит в годы завоевания, и выдержано целиком в традициях Лермонтова и Марлинского: уважения и сочувствия к обеим сторонам. Как мы от того далеки ныне! Теперь даже европейские державы воюют друг с другом в духе тотальной ненависти, а уж об идеологических и гражданских войнах что и говорить!

В те же времена умели сражаться по-рыцарски. Вот сцена допроса пленного черкеса русским полковником: «Ты понимаешь по-русски?» – «Да, господин». – «Как тебя звать?» – «Асланбек». – «Из Канбулатова аула» – приподнялся Вадковский – «Вы в прошлом году напали на Анат Пу?» – «Да, господин». – «Васька! Поддай стул... Очень жалею, что при таких печальных обстоятельствах вы являетесь моим гостем». – «Судьба изменчива. Сегодня я, завтра, может быть, вы будете у нас»... – «Не прикажете ли чаю? Капитан, угощайте же своего пленника». Тот же Аслан-бек так формулирует потом свой взгляд: «Да... Каждый из нас служил и служит своему народу. А Бог один знает, где правда».

Автор ничуть не затушевывает ужасы и жестокости борьбы. Мы видим, как черкесы истребляют поголовно захваченный врасплох русский отряд (правда, те отказались сдаться); как позже карательная экспедиция берет штурмом и разрушает горский аул (боеспособные жители запираются в наилучшем укрепленном доме и сжигаются заживо, с тем, чтобы и противники похуже пострадали).

Но у бойцов того и другого лагеря наравне царит культ чести и долга. И в этом залог их будущего союза в рамках единой империи, и их совместной работы на общее благо.

Те люди знали, что их судит Бог, и что надо вести себя по совести, согласно унаследованным традициям. А мы живем в мире, утратившем веру, потерявшем нравственность, не имеющем иного закона, кроме угождения грязным, разнузданным страстям и служения зыбким, многообразным теориям. Ни к чему иному, помимо гибели, на таком пути не придешь. Пора бы обернуться на тени великих предков и у них поучиться!

*«Наша страна», рубрика «Среди книг», Буэнос-Айрес, 22 ноября 1986 г., № 1895, с. 4.*

---

<sup>90</sup> Василий Иванович Немирович-Данченко (1845–1936) – писатель, поэт и журналист. Старший брат известного театрального деятеля Владимира Ивановича Немировича-Данченко. Военный корреспондент во время Русско-турецкой войны 1877–1878, Русско-японской войны (1904–1905). С 1921 в эмиграции, сначала в Германии, затем в Чехословакии.



## Ключи несчастья

Нельзя не поражаться либеральности цензуры царской России, читая роман А. Вербицкой<sup>91</sup> «Дух времени», написанный в 1907 году и тогда же изданный, с пометкой: «Продается во всех книжных магазинах Москвы и Петербурга»!

Не только главный герой, богатый купеческий сынок Андрей Тобольцев, но и все положительные персонажи сочувствуют революции 1905 года и даже активно в ней участвуют; один из них, Потапов, даже прямо говорит о себе, что он большевик. Хуже того: с живой симпатией описано, как этот Потапов убивает следившего за ним сыщика... Все эти лица во время войны с Японией желают победы врагу и смеются над защитниками Порт-Артура, над морским поражением при Цусиме... Те, кто не приемлет подобных взглядов, учительница музыки Екатерина Федоровна (на которой женится Тобольцев) или купец Капитон (брат Тобольцева), представлены как люди ограниченные и отсталые.

Прогрессивность в политике увязывается и со свободой от буржуазной морали. Тобольцев, доживи он до нынешней сексуальной революции, чувствовал бы себя, верно, как рыба в воде. В ходе действия он соблазняет свояченицу (младшую сестру жены) и жену родного брата, Николая.

Вербицкая известна некоторым эротическим уклоном, включая и в своем самом популярном романе «Ключи счастья». Здесь, как видим, она и в политическом отношении не отстает от века...

Какая судьба была уготовлена героям (и автору), если оные дождались революции? Вряд ли им могло понравиться царство большевизма: оно утонченных и аморальных эстетов не слишком баловало.

А уж народу, который они претендовали спасти и освободить, – мы знаем, что ему принесли их старания! Для него прежняя жизнь быстро стала утраченным раем, золотым веком изобилия и благоденствия...

*«Наша страна», рубрика «Среди книг», Буэнос-Айрес, 28 апреля 1990 г., № 2073, с. 2.*

---

<sup>91</sup> Анастасия Алексеевна Вербицкая (1861–1928) – писательница и журналист. Сама издавала свои многочисленные романы и содействовала публикации других феминистских произведений.

## Тайны блока

Некоторые присяжные поклонники Блока время от времени печатно протестуют: всякие, мол, нехорошие «правые» ругают поэта, в творчестве которого они по своей дремучей глупости и полной некультурности ничего не понимают, за то, что он написал «Двенадцать».

Критика, конечно, бывает разная, в отдельных случаях может быть и несправедливая. Но доводы защитников, всегда одни и те же, свидетельствуют как раз о том, что они-то сами не слишком понимают, о чем говорят.

У них все время в дело идет, как решающий довод, ссылка на то, что де Блок сочинял вообще в состоянии наития, как бы в трансе, слышал некую музыку сфер и только ее воспроизводил на бумаге; а потому он и не может нести никакой ответственности за политическое или моральное значение своих стихов.

То, что поэты, да и художники в других областях искусства, творят вроде бы и не сами, а повинаясь непостижимым высшим силам, это, само по себе, весьма возможно и верно. По крайней мере, эта мысль уже неоднократно высказывалась еще до Блока.

Вот, например, А. К. Толстой очень ясно сформулировал именно такую концепцию в стихотворении «Тщетно художник, ты мнишь, что творений твоих ты создатель...»

Но вопрос-то в том, что поэт все же не мертвый инструмент, а живая, и даже, как выражались встарь, мыслящая личность. Если благочестивому человеку откуда-то извне, из пространства, загадочный голос станет диктовать богохульные строфы, то он, вероятно, их не запишет, или, допустим и записав, не опубликует. Или уж, наконец, опубликует, вставив в уста отрицательному персонажу и в какой-либо форме снабдив от себя решительной отповедью.

Блок же никаких оговорок не сделал, ни к «Двенадцати», ни к «Скифам», ни, хуже того, к кощунственным «Итальянским стихам». А значит и отвечает за них вполне.

Что же до политической левизны Блока, не в том дело, чтобы его осуждать за настроения и ошибки, которые он разделял со многими своими современниками. Но правда, что мало кто так зло и скверно отзывался о царской России, и что эти его выпады особенно нелепо звучат в нашу эпоху, когда мы-то видим падение мира в мрак жестокости и произвола по ту сторону Железного занавеса и в безудержный разврат по эту.

Опять-таки, относительно потусторонних влияний в области искусства, эту проблему, пожалуй, что небезынтересно разобрать с двух различных точек зрения, материалистической и мистической. Тут самое любопытное то, что обоими путями можно прийти к сходным выводам.

Не будет ложью сказать, что поэту кажется, мнится, будто он слышит обращенные к нему речи неземных существ, тогда как на самом деле, в нем действует его собственное сознание, питающееся его опытом и образованием, а часто в значительной степени, и литературными влияниями.

Вот почему, между прочим, Гумилев отнюдь не был неправ, – даже принимая как абсолютную истину, рассказ Блока о воспринятых им якобы «голосах и звуках, ветре, доносящихся из миров иных», – предположив, что «Двенадцать» были созданы как претворение чисто литературных мотивов. Одно другому не мешает; одно не исключает другого.

Это – объяснение психологического порядка. Однако, можно то же явление истолковать и иначе. В зависимости от поведения человека и от его внутренних устремлений, он приходит в контакт с разными силами духовного мира, добрыми или злыми, светлыми или темными.

К сожалению, анализ стихов Блока, хотя бы и самый сочувственный, лишь бы он был честный, неизбежно показывает, что силы, с которыми он общался, были мрачного, жуткого свойства. Вот их-то стихия и выразилась в ледяющей буре, в волчьем вое, в хулиганском уха-

ные «Двенадцати». Да ведь и не только в них... Те же звуки прорываются и в «Скифах», и в «Снежной маске», да и много еще где.

И впечатлительный человек от таких строк невольно вздрагивает, чувствуя, что стоит на пороге чего-то страшного...

Невольно задаешь себе вопрос: какими путями дошел Блок до подобных соприкосновений?

В памяти встают слова из письма к нему Любы Менделеевой, будущей его жены, а тогда еще и не его невесты, а только предмета его ухаживаний: «Вы от жизни тянули меня на какие-то высоты, где мне холодно, страшно и... скучно».

На эти вершины ей пришлось потом взойти на свою беду. Скверно, в сущности, сложилась ее жизнь с Блоком, который ведь – и об этом не принято было говорить, но теперь все равно В. Вейдле<sup>92</sup> громогласно и откровенно, вплоть до пикантных подробностей, все рассказал в своей брошюре «После “Двенадцати”» (Париж, 1973) никогда так и не стал на деле ее мужем...

Как об этом более деликатно выражается советский литературовед [Б. Соловьев. – *ред.*] в монументальном труде о творчестве Блока, «Поэт и его подвиг» (Москва, 1971): «Блок принес свою семейную жизнь в жертву древним мифам».

Перед ледяными тайнами этого недоброго и несправедливого, нечистого аскетизма, не на нормальной человеческой морали основанного, перо останавливается...

Правильно сказал апостол Павел, что есть вещи, о которых и знать не следует доброму христианину...

*«Русская жизнь», Сан-Франциско, 13 июня 1974 г., № 7990, с. 3.*

---

<sup>92</sup> Владимир Васильевич Вейдле (1895–1979) – литературовед, поэт. С 1924 в эмиграции. Преподавал историю и христианское искусство в Свято-Сергиевском Богословском институте в Париже.

## Пара слов в защиту Гумилева

Под занавес, перед крахом нашей культуры, Бог послал России великого поэта, одного и лучших, каких она когда-либо видела: Николая Степановича Гумилева. И одарил его, со всей щедростью, не только талантом, но и мужеством, и высоким благородством; так что был он, перефразируя слова его ученицы Ирины Одоевцевой<sup>93</sup>, «и герой и поэт». Печать избрания явственно сказалась в тех откровениях иной жизни, какие на каждом шагу вырывались из-под его пера. Как это было с другим гениальным поэтом, его предшественником, душа его помнила музыку рая, откуда вышла, и нет-нет да вырывался у него вздох про

То время, когда мы любили,  
Когда мы умели летать

или предчувствие, что, когда придет час, ее

Белоснежные кони ринут  
В ослепительную высоту.

Недаром Гумилев сказал однажды:

И ныне есть еще пророки,  
Хотя упали алтари.

Пророк, он и встретил судьбу пророка в своем отечестве. Эпоха и общество, где он жил, далеко предпочитали Блока, бывшего ему прямым антиподом.

Очень непохожи эти два поэта, однако, современники и люди в точности той же самой среды: высшей интеллигенции, уходящей корнями в дворянство. С одной стороны – гениальная простота и ясность Гумилева: есть ли у него хоть одна непонятная строчка? С другой – завораживающее косноязычие Блока, почти никогда не выражающегося вразумительно. С одной – рассказы о рае, как бы по личному опыту; с другой – взгляд, обращенный во мрак и в пугающую бездну, даже когда глаза и подняты ввысь. Гумилев, подлинно православный по своим устремлениям, хорошо чувствовал темный, леденящий элемент у Блока. Отсюда, сперва, его сдержанные замечания о блоковском «сомнительном царстве», где живут болотный попик и карлик, убивающий детей, и где правит «Истерия, с ее слугой Алкоголем», а потом, много позже, горькая фраза о том, что Блок, своими «Двенадцатью», заново распял Христа и расстрелял Государя.

Умный и трезвый консерватор Гумилев органически противостоял бездумному и запутанному Блоку; оба были, бесспорным образом, вдохновлены, но – двумя разными стихиями: один – светлой и солнечной, другой – черной как ночь.

Из них двоих, Блоку вполне идет название декадента; но в применении к Гумилеву, а его к нему нередко прилепляют, – это слово звучит вовсе бессмысленно. Как же мыслимо называть «упадочником» человека, провозглашающего, равно в творчестве и в жизни, идеалы смелости и стойкости, служения долгу и веры в Бога, иначе говоря, воплощающего в себе законы рыцарства, в самом истинном значении этого термина?

---

<sup>93</sup> Ирина Владимировна Одоевцева (1895–1990) – поэт, писатель. В 1922 эмигрировала, жила преимущественно в Париже. Автор известных мемуаров «На берегах Невы» и «На берегах Сены». В 1987 вернулась в СССР.

Весть, с которой пришел к нам Гумилев, завет любви к родине и верности Божьей правде, осталась непонятой. Хотя, впрочем, его личный успех и был отнюдь не мал, особенно среди молодежи. Хотя созданная им школа явила себя куда более благотворной, чем влияние Блока, и произвела много талантливых стихотворцев, а подражатели ему появляются и сейчас, по ту и по эту сторону советских рубежей. Стоило бы еще и отметить ту высокую оценку, какую давали ему поэты столь от него отличные, но по-своему замечательные, как Цветаева и Есенин. Но поняты оказались только формальные приемы, а не суть того, что он имел сказать. Гумилев свою миссию запечатлел тогда кровью: более сильного аргумента не бывает.

Нетрудно угадать, кого из двоих признал бы своим преемником Пушкин, столь высоко ценивший точность описания и прозрачность мысли, или Лермонтов, с кем Гумилева, несомненно, соединяло особое родство духовного строя. В наши дни, мы, русские анти-большевики в СССР и в эмиграции, мало найдем опоры у Блока, – в жизни, впрочем, признавшего большевиков... которые затем ему заплатили, как всегда платит дьявол, разбитыми черепками; умерший в борьбе с коммунизмом, оставил нам самый действенный и яркий призыв к борьбе:

Сердце будет пламенем палимо  
Вплоть до дня, когда взойдут, ясны,  
Стены Нового Иерусалима  
На полях моей родной страны.

Продолжение прежней несправедливости: в России сейчас Гумилев под запретом, а Блок заслужил себе почетное место в советском пантеоне. В эмиграции культ Блока благоговейно поддерживается, – хотя, как факт, в хвалебные ему песни здесь врываются нередко диссонансом крики протеста.

О Гумилеве же упорно продолжают молоть чепуху – и какую чепуху!

Болтают, будто он был малообразован. Тогда как вот что о нем сказал беспристрастный современник и знакомый, знаток французской литературы А. Я. Левинсон: «Я смог оценить ... обширность знаний Гумилева в области европейской литературы». (Однако тот же Левинсон грубо ошибается, говоря, что Гумилеву не хватало чувства юмора: и забавные эпиграммы на разные случаи, как «Полковнику Белавенцу», и стихотворения, как «Либерия», явно свидетельствуют об обратном).

Этим знаниям, действительно, можно только изумляться. Ведь за строками Гумилева для того, кто способен их понимать, встают целые горы ссылок и намеков на французскую, старую и новую, и английскую литературу, на провансальских трубадуров, на античность, на кельтский и скандинавский эпос... Тут с ним может сравниться лишь Пушкин. Да еще надо прибавить обширные сведения Гумилева в сфере восточных литератур, – арабской, китайской, индийской, – в особенности же во всем, что касается Африки вообще и Абиссинии в частности: здесь он был одним из редких в России специалистов.

Но врут (иного слова не найдешь!) не только об его знаниях, а даже об его наружности, рисуя его чуть ли не уродом. Хотя – сохранились ведь портреты, а главное фотографии, как-то лгать не умеют, и по ним видно, что Гумилев вовсе не был особенно нехорош собою. Впрочем, вот как его описывает его невестка, понятно, близко его знавшая, каким он был в 1900 году:

«Вошел, ко мне молодой человек 22 лет, высокий, худощавый, очень гибкий, приветливый, с крупными чертами лица, с большими светло-синими, немного косившими глазами, с продолговатым овалом лица, с красивыми шатеновыми, гладко причесанными волосами, с чуть-чуть иронической улыбкой, с необыкновенно тонкими, красивыми белыми руками. Походка у него была мягкая, и корпус он держал чуть согнувши вперед. Одет он был элегантно».

Что сказать о безобразных карикатурах Гончаровой и Ларионова, которые Г. П. Струве<sup>94</sup> приложил к своему изданию Гумилева? Может быть, они были набросаны в порядке дружеского шаржа, но, как источник информации, принимают чуть ли не характер клеветы. Гумилеву на них, между прочим, можно дать лет 70... Тогда как рядом – фотография этого самого времени, в военной форме, где мы видим мужественное, симпатичное лицо, которое трудно не назвать красивым...

О жизни Гумилева толкуют вкривь и вкось, но ничего, достойного осуждения, в ней не найти и в лупу: он вел себя всегда и везде безукоризненным джентльменом.

Стоит ли обсуждать советские и прочие обвинения его в империализме, колонизаторстве, чуть ли не жестокости? Это годится для тех, кто его не читал. Потому что это как раз одна из поражающих в нем вещей: христианская и человеческая жалость к врагу на войне, и умение видеть в любых дикарях, хотя бы в пигмеях и каннибалах Африки, во всем нам равных и близких людей.

Отметим, в заключение нашей статьи, что изо всех благоглупостей о Гумилеве, какие нам довелось читать, самую потрясающую и возмутительную сформулировала некая эмигрантская поэтесса Татьяна Гнедич<sup>95</sup>, заявившая, что «народный разум» де-мол Гумилеву «простил... мятежа бравурную затею!» Глазам трудно поверить... Смеем заверить эту, в остальном нам вовсе неизвестную даму, что нашему народу нечего прощать герою и мученику, погибшему за его честь и свободу, которому когда-нибудь, несомненно, немало памятников воздвигнется на необозримой Руси. Ну, а если верить в существование какого-то особого «советского» народа, неуклонно верного обожаемой компартии, то они как раз Гумилеву не простили и не простят. Для большевиков Гумилев был и остается грозным врагом, тем более страшным, что хотя они его и убили, а он, наперекор им, живет и будет жить.

*«Русская жизнь», Сан-Франциско, 5 января 1974 г., № 7882, с. 3.*

---

<sup>94</sup> Глеб Петрович Струве (1898–1985) – литературный критик, переводчик, поэт. Преподавал историю русской литературы в Лондонском университете, а также в университетах Канады и США.

<sup>95</sup> Татьяна Григорьевна Гнедич (1907–1976) – переводчица и поэтесса. В 1944 арестована, приговорена к 10 годам лагерей, в 1956 реабилитирована. Много лет преподавала художественный перевод. Самая известная работа – перевод поэмы Дж. Байрона «Дон Жуан».

## Драматургия Гумилева

Изданная в Ленинграде в 1990 году книга «Н. С. Гумилев. Драматические произведения. Переводы. Статьи» заполнила некоторый пробел. До сих пор пьесы Гумилева можно было найти (да и то не все) в полных собраниях его сочинений, вместе с его стихами и прозой, или, некоторые, отпечатанные отдельно. Здесь они собраны в один том в 400 страниц.

Среди театральных произведений этого выдающегося поэта выделяются три шедевра: «Гондла», «Дитя Аллаха» и «Отравленная туника». Из них трудно отдать предпочтение какому-либо одному; все замечательно. Мы бы, пожалуй, выбрали «Гондлу»; но это уж вопрос вкуса.

К блестящей тройке можно бы еще присоединить «Актеона», пьесу вполне законченную и отдельную, но уж очень миниатюрную.

Все остальное в данном сборнике стоит гораздо ниже по уровню. О «Дон Жуане в Египте» сам автор отзывался скептически. «Игра» вообще – одна сцена, а не драма или трагедия. Другие же представленные здесь вещи суть или шутки, или отрывки, не представляющие собою большой ценности.

Сюда же включены два больших перевода пера Гумилева: «Пиппа проходит» Р. Броунинга<sup>96</sup> и «Полифем» А. Самена<sup>97</sup>. Выполнены они с большим мастерством, но не очень характерны в том смысле, чтобы были созвучны духу нашего поэта. Хотя у Броунинга есть вещи, гораздо более близкие к гумилевскому складу души, как, скажем, «Граф Гизмонд».

Из второстепенных вещей, предназначенных для театра, можно, однако извлечь кое-какие наблюдения, существенные для характера музыки «поэта дальних странствий».

Например, в прологе к «Дереву превращений» мы читаем:

Что много чудных стран на свете,  
Но Индия чудесней всех,

– любопытное свидетельство горячего интереса, питавшегося Николаем Степановичем к юго-восточному региону, где ему, однако, никогда не довелось побывать.

Тут звучит эхо его обращения к Синей Звезде:

День, когда ты узнала впервые,  
Что есть Индия, чудо чудес...

и упоминания в «Заблудившемся трамвае» о «вокзале, на котором можно в Индию Духа купить билет» (некоторые исследователи думают, что речь идет о Царскосельском вокзале, хорошо мне знакомом; но полагаю, что тут много чести для этой станции в бывшей императорской резиденции).

С другой стороны, «Красота Морни», от коей сохранился, фактически, только конспект, подтверждает увлечение Гумилева Ирландией, выразившееся уже прежде в «Гондле».

Относительно примечаний, сопровождающих в разбираемом сборнике произведения Гумилева, скажем, что они, в известной степени, повторяют ошибки, сделанные в американском издании Струве.

---

<sup>96</sup> Роберт Браунинг (Robert Browning; 1812–1889) – английский поэт и драматург.

<sup>97</sup> Альбер Самен (Albert Samain; 1858–1900) – французский поэт, издатель.

Вместо того чтобы учесть весьма обширные познания поэта в области истории и литературы, комментаторы пытаются свести все к каким-то более или менее случайно прочитанным им статьям или брошюрам. Это – совершенно ложный путь.

Однако, поразительно не то, что Гумилев превосходно знал судьбы и нравы средневековых Ирландии, Персии или Византии. Поразительно то, что он, вслед за Пушкиным, умеет стать то ирландцем, то персом, то византийцем, полностью входя в психологию и чувства своих персонажей.

Искреннее благочестие византийцев, причудливо соединявшееся с вероломством и жестокостью; христианские, миссионерские устремления, переплетенные с поэтической и героической атмосферой древнего Эрина; живописные эстетизм и эротика персидской старины выступают у него с такою яркостью, словно бы он сам являлся уроженцем этих далеких краев.

Не станем разбирать подробно предисловие к «Драматическим произведениям Гумилева», составленное Д. Золотницким. Его рассуждения об акмеизме принимают порою форму сомнительных мудрствований, а его попытки социального анализа «Гондлы» и других пьес, выдержанные в марксоидном духе, просто смешны.

В своем роде трогательно, что он (оно и понятно с точки зрения времени) старается оправдать Гумилева от сочувствия христианству и монархизму! Увы, усилия его тщетны: сии предосудительные взгляды настойчиво прут из каждой строки защищаемого им писателя...

Не свободны составители и от мелких ошибок. Например, поэтическая форма газелла не то же самое, что животное газель. Не следовало бы их смешивать.

*«Наша страна», рубрика «Среди книг», Буэнос-Айрес, 12 июня 1999 г., № 2547–2548, с. 5.*



## Советская литература

### «Подсоветский»

Авторы книги «Язык Русского Зарубежья» (Москва, 2001), Е. Земская и М. Гловинская, думают, что это слово имеет пейоративный, уничижительный смысл.

В этом они ошибаются.

В нашем, эмигрантском языке советский применяется или к людям пропитанным большевизмским духом, или к официальным представителям коммунистических властей.

Тогда как подсоветский обозначает человека, волей-неволей живущего в СССР, но – предположительно или определенно – установленному там строю не сочувствующего, активно с ним не связанного.

Естественно, по отношению к первым мы не испытывали никакой симпатии, тогда как вторым сочувствовали.

В известной мере, данные понятия не потеряли значения и сейчас: есть на территории «бывшего СССР» особы, продолжающие культ большевизма (хотя бы и в несколько модифицированной форме, как национал-большевики) и есть те, кто советскую систему решительно отвергает.

*«Наша страна», рубрика «Языковые уродства», Буэнос-Айрес, 30 ноября 2002 г., № 2725–2726, с. 5.*

## Авгиевы конюшни

Несмотря на приход к власти большевиков, 20-е годы в России характеризуются, в сфере печати и литературы, большим разнообразием. Выходило множество журналов, еженедельных и ежемесячных, различного типа. Трудно было бы их и перечислить...

В числе приключенческих были два «Вокруг Света», московское и ленинградское, «Всемирный Следопыт», более серьезный «Мир Приключений» и целый ряд других с литературным, политическим, иногда более или менее бульварным уклоном: «30 Дней», «Экран», «Прожектор»; имелись и юмористические, помимо наиболее прочного и пережившего прочих «Крокодила».

Переводились, переиздавались и издавались иностранные авторы – Вальтер Скотт, Жюль Верн, Герберт Уэллс, Джозеф Конрад, Фенимор Купер, Роберт Льюис Стивенсон, Джек Лондон, Артур Конан Дойл, Райдер Хаггард<sup>98</sup>; притом в хороших переводах, – над которыми работала старая интеллигенция, «бывшие люди», не находившие себе часто иного применения.

Не будем тут заниматься высокой литературой; в ней, в частности в сфере поэзии, шла ожесточенная борьба новых, советизированных, группировок; а подлинные большие поэты истреблялись и сходили со сцены: Гумилев был расстрелян, Блок умер с голоду, Есенин покончил с собой... Впрочем, насчет кровавой ликвидации крестьянских поэтов, включая и стопроцентно красных, – отсылаем к исследованиям Куняева в «Нашем Современнике»: там можно найти десятки, если не сотни, имен стихотворцев из народа с трагической судьбой.

Такое положение длилось до примерно 29-го года. Потом, и с наступлением зловещих 30-х все изменилось.

Журналы позакрывались, переводы больше не публиковались (кроме целиком созвучных коммунизму западных писателей, с ними, положим, нередко возникали неожиданные и неприятные неувязки; но сейчас в это вдаваться не станем).

Удобнее всего проследить перемену тона на творчестве относительно второстепенных подсоветских авторов, как В. Инбер<sup>99</sup>, М. Шагинян<sup>100</sup>, Л. Никулин<sup>101</sup>, людей вполне культурных, знавших жизнь за границей, – если до того они писали, возможно и не искренне, но живо и ярко, – потом начинает литься из-под их перьев серая жвачка.

Воцаряется деревянный язык, суть которого в повторении последних высказываний Сталина (или меньших вождей; но это уж было рискованно, и порою кончалось плохо). Все то, что отражало какую-то другую идеологию (не дай Бог, скажем, религиозную или патриотическую!) ставилось неизменно в кавычки (этот прием, правда, был не нов, и уже в 20-е годы широко представлен).

Вот когда пал на русскую литературу истинный железный занавес! Вот когда она стала, перефразируя название «Империи Зла», литературой лжи! Солженицын правильно резюмировал рождавшийся тогда соцреализм как принесение пишущими клятвы об отречении от истины.

Читать все это, эту, как выразился кто-то из диссидентов, «отъеготину» было нестерпимо... Хотелось сказать: «пропагандируйте ваши идеи, раз иначе не можете; но – сколько-то интересно, сколько-то правдоподобно или художественно». Так нет! Изображались сплошные марионетки: злодеи-вредители, насквозь преступные заграничные капиталисты, на 100 % вер-

---

<sup>98</sup> Генри Райдер Хаггард (Sir Henry Rider Haggard; 1856–1925) – английский писатель, юрист. Автор популярных приключенческих романов.

<sup>99</sup> Вера Михайловна Инбер (1890–1972) – поэтесса, переводчица, журналистка.

<sup>100</sup> Мариэтта Сергеевна Шагинян (1888–1982) – писательница, поэтесса, журналист.

<sup>101</sup> Лев Вениаминович Олькеницкий (псевд. Никулин; 1891–1967) – писатель, поэт и драматург, журналист.

ные режиму советские граждане. И этой вот макулатуры, включая все отрасли науки, захлапленные той же идеологией и теми же приемами, накопились несметные горы. Позже возникали просветы, «оттепели» – и снова тонуло все в прежнем болоте. Десятилетия и десятилетия, равно и честные и бессовестные литераторы занимались, – иногда с немалым мастерством! – делом обмана и подлога.

Что делать с их произведениями? Как исправлять содеянное ими зло? Пусть читатели ответят: я не умею!

*«Наша страна», рубрика «Миражи современности», Буэнос-Айрес, 11 сентября 1999 г., № 2559–2560, с. 1.*

## Что с нею делать

Имею в виду советскую литературу сталинского периода, насквозь проникнутую социалистическим реализмом и культом личности.

А соцреализм, как правильно подметил Солженицын, означал отречение от истины.

В защиту печатавшегося в СССР в 20-е годы можно многое сказать. С одной стороны, переводилось много иностранных книг, ничем не связанных с марксизмом и коммунизмом. С другой, и в продукции русских авторов была некоторая свобода, а оттого в них пробивался порою и талант.

А, кроме того, даже безусловно глупое и вредное представляло собою, в некоторой части, искреннее выражение чувств сочинителей.

Нет основания сомневаться в подлинности воззрений и настроений Блока, – который за них дорого и расплатился. Тем более всерьез могли верить в коммунизм люди нового тогда поколения, комсомольская молодежь. Но все это к наступлению 30-х годов угасло и испарилось. Стала царствовать прямая ложь, определявшаяся карьеризмом.

С тех пор, и до времен перестройки, когда стали появляться ростки правды, – основная масса подсоветской литературы состояла из серой халтуры и порою ловкой, даже талантливой лжи.

Исключения, как Солоухин, были редкими. Можно было, – с трудом, – уйти от вранья, если писать только о природе, как Пришвин; можно было вставлять кусочки правды в романы на требуемую тему, как Панова в «Спутниках» (и многих других своих вещах), можно было кое-что правдиво рассказать о войне. И только.

Спрашиваешь себя: а ведь все это фальшивое чтиво наверно занимает основное место в провинциальных, тем более деревенских библиотеках? И в какой-то степени продолжает отравлять и деформировать души наивных потребителей, включая детей и подростков.

Вот потому я и думаю о том: что же с этим добром надо сделать?

*«Наша страна», рубрика «Миражи современности», Буэнос-Айрес, 24 мая 1997 г., № 2441–2442, с. 1.*

## Правые и левые в литературе

В разных странах в разные эпохи, в том числе и в России, успех левых группировок нередко определялся тем, что к ним примыкали талантливые деятели культуры, в первую очередь литературы.

Раскладка сил в данный момент им в этой области не благоприятствует.

Окидывая взором теперешнюю подсоветскую (или как прикажете ее называть? бывшую подсоветскую?) литературу, мы видим, что все даровитое сконцентрировалось там в правом стане: Солоухин, Распутин, Астафьев, Белов, Можаяев, словом, так называемые «деревенщики».

Не будем говорить о поэтах, – их уж очень сейчас много; но и с ними, в целом, картина примерно та же.

А налево остаются фигуры «другой прозы», вроде Т. Толстой и Л. Петрушевской. Больше-то, вроде, похвалиться нечем.

А из этих дам сделать больших писателей, – никак не выходит (и не выйдет!). Типичные модные пустышки!

Иное бы дело А. Рыбаков, автор «Детей Арбата». Но его, похоже, как раз левые не принимают и жестоко критикуют. Да и за дело, – с их точки зрения, – выводы из его трилогии (еще не законченной) тянут определенно направо (каковы бы ни были его личные убеждения, о которых здесь судить не беремся).

Конечные выводы сделает история. Но факты-то налицо; и трудно было бы отрицать их значительность.

*«Наша страна», рубрика «Миражи современности», Буэнос-Айрес, 18 декабря 1993 г., № 2263, с. 2.*

## Скат в бездну

Человек несовершенен. Но в нем живет стремление к совершенству, к чему-то лучшему. Это и есть то, что в старые годы называли «искрой Божией».

Но быть, сделаться лучше – всегда трудно. А в земной природе человека заключены темные страсти, искушения греха. Поэтому многие сворачивают с верного пути вверх на другой, куда более легкий, но в конечном счете всегда гибельный – вниз.

Большинство религий, даже примитивных, учили всегда добру и предостерегали ото зла. Тому же учили прежние мудрецы и философы.

Но все это переменялось в наше страшное время, – с недавних сравнительно пор. Теперь стало модным и все больше становится обязательным сводить людскую природу к набору животных инстинктов, а порывы к бескорыстию, благородству, милосердию, объяснять иллюзиями или подспудно теми же инстинктами, – если уж нельзя какими-либо корыстными расчетами.

Нынешние литература и еще хуже радио, телевидение, пресса направлены именно в такую сторону. Философы и мыслители услужливо доказывают, что все дозволено, что все относительно и условно, что, на самом деле, нету разницы между грехом и праведностью, пороком и добродетелью.

Противиться этим внушениям становится все тяжелее для обычного человека. Хорошо если у него от природы развито чувство справедливости, если он наделен чуткой и строгой совестью! Тогда он улавливает ложь, произвольно осуждает и отталкивает жестокость, чувствует отвращение перед лицом извращения. Однако такую борьбу вести нелегко, и не каждому дано в ней побеждать.

А религии, и христианство в особенности, все дальше отступают под напором современных средств внушения, – диктуемых кем?!

Можно понять выгоду и отсюда соблазн, лежащие в основе деятельности журналистов, актеров, предпринимателей всякого рода. А только спрашиваешь себя: кто за ними стоит? Какая сила ими управляет и их толкает творить страшное, непоправимое дело разложения человеческого сознания?

В России наблюдаются теперь патологическое, ненормальное и болезненное увлечение сквернословием; издаются специальные словари неприличных слов, о них пишут статьи и исследования; их употребление в литературе стало считаться не только допустимым, но даже необходимым.

Это вот есть проклятое наследие большевизма, породившего оскотинение русского народа и других народов бывшей Российской Империи. Это есть позор и мерзость! И если мы не сумеем их искоренить, – никогда мы не исцелимся от язв, завещанных нам преступным режимом, царствовавшим почти сто лет на просторах нашей несчастной родины.

Отражением упомянутых выше процессов является статья Д. Ткачева «Бесценная лексика» в «Московском Комсомольце» (ну и названьице!) от 30 мая сего года; а еще больше – напечатанное там же интервью с писателем В. Сорокиным под заглавием, которое мне стыдно цитировать: «Литератор без мата как пианист с девятью пальцами».

Выскажу прямо свое мнение: человек, употребляющий безобразные похабные выражения, не достоин имени русского интеллигента; недостоин и названия джентльмена, в том смысле, в каком оно издавна существовало в русском языке.

Я это говорю о мужчинах. А уж женщина, способная пользоваться подобной лексикой, не заслуживает вообще и имени человеческой особи; она есть грязное животное, к которому порядочным людям не надлежит прикасаться.

Осквернение же русской литературы, – в прежние, царские времена справедливо расценивавшейся как глубоко целомудренная, – есть черное злодеяние, за которое совершающие его должны бы быть строго наказаны.

А уж мириться с этим, подражать этому, – мы, кому выпало на долю счастье или несчастье пребывать за границей и не быть втянутым в происходящее в Империи Зла, не имеем морального права и не смеем ни при каких обстоятельствах.

Таким смрадным гадостям мы обязаны сказать самое решительное «Нет!» На сегодня, и еще больше – на будущее.

*«Наша страна», рубрика «Миражи современности», Буэнос-Айрес, 15 сентября 2001 г., № 2665–2666, с. 1.*

## Спрос и потребление

Эрефийские газеты и особенно журналы переполнены сильно уже набившими нам оскомину хихиканиями о том, что, мол, глупая читательская публика предпочитает детективные и приключенческие книги, а серьезной литературой больше не интересуется.

В царские, скажем, времена все культурные люди читали тогдашних солидных писателей, таких как Достоевский, Тургенев или Лев Толстой. Да их и не только в России читали: в переводах они покорили западную интеллигенцию тоже.

И та же русская публика читала западных писателей, – Джека Лондона, Райдера Хаггарда, Конан Дойля, Мориса Леблана<sup>102</sup>, Луи Жаколио<sup>103</sup>; которые были ей доступны в хороших переводах (а не в скверных нынешних) и в подлиннике – поскольку тогдашний интеллигент, скорее как правило, чем как исключение, владел двумя-тремя (нередко и больше) иностранными языками.

Теперешняя литература, претендующая на роль прежней классической, на две третьих состоит из порнографии типа всяческих Лимоновых и Медведевых.

Другие (а иногда те же самые) авторы занимаются постмодернистскими (как они полагают) опытами, превращающими их сочинения в бред (иногда больной и почти всегда отталкивающий).

Талантливых прозаиков можно перечесть по пальцам (а поэтов – менее чем по пяти пальцам; да и то – при большом снисхождении). Притом, с большой грустью отметим, что многие из самых лучших писателей сошли за последнее время в могилу.

Почему же удивляться, что публика предпочитает то, что называется легкой литературой (или, в глазах снобов, чтивом или прочими уничижительными терминами)? Тем более что – и этому можно только порадоваться – в этой области появилась целая плеяда одаренных, иногда блестящих писателей.

Вообще же, поскольку в Эрефии теперь царит капитализм, посоветуем литераторам, – и особенно критикам, – примириться с законом конкуренции: читается (и покупается) то, что больше нравится.

*«Наша страна», рубрика «Миражи современности», Буэнос-Айрес, 2 ноября 2002 г., № 2721–2722, с. 1.*

---

<sup>102</sup> Морис Леблан (Maurice-Marie-Emile Leblanc; 1864–1941) – французский писатель. Автор романов о сыщике Арсене Люпене.

<sup>103</sup> Луи Жаколио (Louis Jacolliot; 1837–1890) – французский писатель. Много путешествовал и жил в Океании, Индии, Индокитае. Автор многочисленных приключенческих и научно-популярных книг.



## Тяга к пустоте

Каким, в представлении постсоветских критиков и литераторов, должен быть серьезный, полноценный роман?

Он ни в коем случае не должен быть интересным. Нежелательно, чтобы он имел сюжет, фабулу. Не нужно, чтобы в нем появлялись сильные, оригинальные характеры. И уж во всяком случае недопустимы в нем какие-либо моральные идеи и положительные образы!

А чем же заполнять место? Универсальное средство – порнуха. Она всегда кстати; а вот без нее, вроде бы, обходиться даже и нельзя. Как бы даже и неприлично. Только вот беда: ведь получается нечто однообразное и монотонное.

Все, что в области похаби можно сказать, уже сказано, а нового ничего не придумаешь (или, по крайней мере, не удастся придумать).

Так ничего! Есть и другой еще путь. Изображать физические страдания, мучительные и унижительные, с избытком физиологических подробностей, в том числе старческие недуги, телесные и психические деградации.

Притом – не обязательно человеческие. Годятся и животные. В первую очередь почему-то собаки; но по крайности хотя бы и кошки, да и все разновидности четвероногих.

На кого сии тошнотворные описания рассчитаны? Очевидно, на людей с сильно развитым чувством садизма.

Но ведь не из них состоит большинство читающей публики.

Чем и объясняется небывалый взлет в Эрефии детективного и так называемого готического жанра. А это вызывает у официальных критиков ярость. Особенно жестокую против подлинно талантливых писателей. Куда бы еще Маринина, но скажем Акунина или Лукьяненко, – их бездарными никак не назовешь.

И от их успеха серьезные литераторы громко скрежещут зубами. Ибо в них говорит извечное и одно из сильнейших в человеческой натуре, – и, между прочим, в области литературы, – чувство: зависть.

А чем их утешить? Не видим. Да и стоит ли пытаться?

*«Наша страна», рубрика «Мысли о литературе», Буэнос-Айрес, 13 января 2007 г., № 2811, с. 4.*

## Кризис литературы

Из бывшего СССР несутся жалобы, которым иногда вторит и эмиграция, на то, что там публика увлекается детективной литературой, вместо, мол, того, чтобы читать более серьезную, и что, мол, это расшатывает у потребителей моральные основы.

Вопли эти чрезмерны и не очень справедливы.

Причину происходящего понять легко. Во времена твердокаменного большевизма подобная беллетристика находилась под запретом, а запретный плод сладок.

Кроме того, именно этот сорт книг помогает забывать о заботах и неприятностях повседневной жизни, – а тех и других у обитателей России сегодня хватает.

Но главное, против какой разновидности литературы направлен протест сих ревнителей нравственности?

Настоящая, так сказать, классическая детективная литература, под пером Конан Дойля, Честертона и даже гораздо менее глубокой Агаты Кристи, всегда проводила мысль, что преступление есть зло, притом обычно роковое и для самих преступников и призывала к борьбе против нарушителей закона. С тою, однако, оговоркой, что, если закон слишком жесток или несправедлив, можно его и обойти.

Такая литература никак нравственности подорвать не может. Скорее наоборот.

Отметим еще, что перечисленные выше авторы, и многие их последователи, писали отличным английским языком, часто с проницательным психологическим анализом и, в целом, на уровне хорошего вкуса.

Если теперь переводят и распространяют, под общим именем детективной литературы, американскую халтуру с мордобоем, совокуплениями и убийствами на каждой странице, и притом в скверных, часто безграмотных переводах, это уже совсем иной вопрос.

Этого типа произведения, конечно, пользы не приносят.

Но, опять же, какие книги может им теперешняя постсоветская продукция противопоставить?

Сочинения школы «другой прозы» в стиле Л. Петрушевской и иже с нею, несомненно, куда еще вреднее для впечатлительного читателя!

Литература, как, впрочем, и кино, и театр наших дней в России (да и в копируемых ею Соединенных Штатах), которые критики метко называют чернухой и порнухой, безусловно, не лучше никак.

А романов или рассказов, несущих в себе положительный заряд, в море нынешней российской книгопродукции почти что не видно!

В общем, чем обрушиваться на читателей, выбирающих де не то, что нужно, следовало бы обращать упреки к писателям, не умеющим пока что преодолеть общий кризис культуры, обрушившийся на нашу родину после ликвидации большевизма, произведенной не совсем так, как бы нужно, и потому приведшей к неожиданным ни для кого результатам.

*«Наша страна», Буэнос-Айрес, 11 октября 1997 г., № 2461–2462, с. 3.*

## Художественная литература

### **Ч. Де Габриак «Исповедь» (Москва, 1999). Л. Агеева «Неразгаданная Черубина» (Москва, 2006)**

Если кого из наших читателей интересует жизнь и творчество Е. Дмитриевой, он может найти в этих двух книгах, изданных в Москве, подробные о ней сведения.

Напомним: она, приняв имя Черубина де Габриак, якобы франко-испанской аристократки, мистифицировала в 1909 году редакцию петербургского журнала «Аполлон», посылая туда стихи в романтико-мистическом роде, имитируя католическую религиозность.

Обман был раскрыт, но привел к дуэли между Гумилевым и Волошиным, по счастью не принесшей вреда ни тому, ни другому.

В первой из двух рецензируемых тут книг приводятся полностью ее стихи, кажущиеся теперь бледными и фальшивыми, поскольку с них сдернут ореол таинственности.

Удивляет деланность и неубедительность псевдоиспанской их атмосферы, поскольку Дмитриева вроде бы была по образованию испанисткой; даже имя Черубина звучит неестественно.

Из ее сообщаемой нам во второй книге Агеевой биографии, Елизавета Ивановна Дмитриева, позже по мужу Васильева, встает в мало привлекательном свете. Изломанная и неуравновешенная женщина со склонностями к мифомании.

То, что из-за нее рисковали жизнью два поэта – один гениальный, Гумилев, второй талантливый, Волошин, нельзя не считать за серьезный грех.

Трудно не удивляться, что Гумилев был в нее сильно влюблен и даже делал ей предложение (хотя еще до поединка в ней полностью разочаровался).

Она же тем временем держала про запас жениха, за которого потом и вышла замуж, инженера-гидролога Всеволода Васильева.

После разоблачения, перестав быть Черубиной, она уехала с супругом в Среднюю Азию, баловалась теософией, при советской власти писала стихи в китайском жанре и издала биографию Миклухи-Маклая (не то, чтобы дурную, но в целом посредственную) «Человек с Луны».

Можно отметить еще, что она, в сотрудничестве с Маршаком, сочиняла одно время пьесы для детского театра.

Смерть застала ее в Ташкенте в 1928 году.

С немалым удивлением узнаю, из «Исповеди» и из «Неразгаданной Черубины», что к числу близких друзей и участников антропософского кружка в последние годы ее жизни принадлежал профессор Александр Александрович Смирнов<sup>104</sup>, кельтолог и медиевист, под руководством которого я собирался когда-то, окончив ЛГУ, писать работу о Кальдероне!

*«Наша страна», рубрика «Библиография», Буэнос-Айрес, 23 мая 2009 г., № 2868, с. 4.*

---

<sup>104</sup> Александр Александрович Смирнов (1883–1962) – литературовед, литературный критик, театровед, переводчик. Основоположник советской кельтологии.

## М. Петровых. «Прикосновение ветра» (Москва, 2000)

Оформление сборника подсоветской поэтессы, о которой мы знаем, что она была в близкой дружбе с Мандельштамом и с Ахматовой, оставляет у нас сильное чувство неудовлетворения.

Его бы следовало снабдить обстоятельными примечаниями; а вместо того, нам даются, в предисловии А. Гелескула, только самые общие и краткие сведения об ее биографии. Указана, например, дата ее рождения, – 1908, – но не дата ее смерти (1979). И ничего не сообщается об ее жизни!

А это именно в данном случае неприятно: ее лирика – интимная, личная; явно связанная с событиями ее существования. Нам же даже не говорится, была ли она замужем и за кем? Во всяком случае, у нее была дочь (о которой она сама в стихах и в письмах упоминает). И была какая-то тяжелая трагедия в области любви, без понимания коей читаешь ее стихи как бы вслепую.

Хорошо, когда она сама посвящает стихи М. Ц. (т. е. Марине Цветаевой) или прямо Ахматовой, или, когда назван Волошин. А вот любопытно бы узнать, к кому конкретно обращены ее разоблачительные, убийственные стихотворения, со словами, скажем:

Он хвастун и жалкий враль.  
Примиряться с ним – позор.

Ты затаился, ты не сказался,  
К запретным темам не прикасался...

И неизбежно придет возмездье —  
Исчезнет слава с тобою вместе.

В целом, мы ясно чувствуем, что поэтесса была жертвой своего времени, не менее страдальческой, чем погибшие в лагере или у стенки. В страшные годы ей пришлось жить! Только и можно было писать для себя, – или, как она, делать переводы чужих произведений. Потому она почти и не издавалась (вышла, пока она еще жила, лишь одна книга).

Зато словно сегодня к нам обращены ее леденящие строки:

А нас еще ведь спросят – как могли вы  
Терпеть такое, как молчать могли?

Или ее завет поэтам:

О нет, покуда живы,  
Запечатлеть должны вы...

Невиданной эпохи  
Невиданный размах,  
Ее ночные вздохи  
И застарелый страх.

Зато о себе она имела полное право воскликнуть:

О Господи мой Боже, не напрасно  
Правдивой создал ты меня и ясной.

И:

Да, я горжусь, что могла ни на волос  
Не покривить ни единой строкой.

Значительная часть книги отведена переписке Петровых с болгарским поэтом А. Далчевым<sup>105</sup> (но почему только с ним, а не с кем другим?) и переводы из его творчества (опять же: почему нет образцов ее переводов из других поэтов? Она переводила, видимо, главным образом славянских и армянских).

В воспроизведенных здесь письмах много ее интересных суждений о поэтах и писателях. Прочитируем некоторые; по поводу эссе Т. Манна о Чехове, она говорит: «Его мысль, что Чехова ставят ниже Толстого и Достоевского только потому, что Чехов писал маленькие рассказы, слишком уж наивна. Конечно, не потому. А потому, что масштабы нравственных размышлений неизмеримы. Чехов жил вне Бога, а Толстой и Достоевский вне Бога не жили. Так или иначе, но понятие о высшем начале всегда присутствует в их творениях». Или, о нем же, в другом месте: «Вот что я думаю о Чехове: он был велик, когда писал о первозданном: о природе; о простонародье (мужики и бабы); о детях; о животных. Когда же Чехов писал об интеллигенции, полуинтеллигенции, мещанстве – он был зол, жесток необъяснимо. А ведь и в этих сословиях – люди же, и много прекрасных».

Здесь позволим себе одну оговорку, в защиту Антона Павловича: в рассказе «Поленька» он вот и дал пример истинного благородства, воплощенного в полуинтеллигенте, – продавце в галантерейном магазине. Но верно, что это у него скорее исключение, и даже из редких.

Еще из ее мыслей о Чехове: «Разумеется, он не был антиклерикалом. И все же, по-моему, он жил вне Бога. А Иван Карамазов с его бунтом – Бога признавал, ведь нельзя бунтовать против того, чего нет».

И вот о других писателях: «По-моему, без Пушкина жить невозможно. И на душе всегда легче, когда он рядом. А гениально у него все». – «Что же касается размышлений о жизни, пронизательности, всегда поражает: насколько Пушкин и Достоевский были пронизательнее Льва Николаевича Толстого». – «Бесконечно жаль, что Лермонтов погиб таким молодым, погиб так бессмысленно и случайно. Баратынского я очень люблю, но еще больше люблю любовь к нему Пушкина».

«Да, Пушкин – сама гармония. И подражать ему – невозможно. Блок, при всем своем уме сделал большую глупость – попробовал подражать Пушкину в поэме “Возмездие” и – провалился, я считаю эту вещь исключительно слабой... Да, при всей несхожести (и схожести, ибо для каждого, для обоих вопрос нравственного становления человека был главнейшим), Достоевский и Толстой любили и ценили Пушкина превыше всего, и он был для них самым главным и самым нужным». – «Многие люди говорят “люблю Пушкина” автоматически. А, по-моему, любить – это значит постоянно читать, не расставаться».

«Вот Вы написали о Гоголе всего несколько слов, но, пожалуй, самых главных, самых верных – “необыкновенный и страшный писатель”. Да, именно так. Невероятный. Мне иногда кажется, что он самого себя боялся. И вы совершенно правы, что реалистические произведения Гоголя не менее фантастичны и страшны, чем такие, как “Вий”. Да и был ли Гоголь когда-нибудь тем, что называется “реалистический писатель”».

---

<sup>105</sup> Атанас Христов Далчев (1904–1978) – болгарский поэт, переводчик.

Возвращаясь к стихам, закончим отрывком из стихотворения «Плачь китежанки», где Петровых любопытным образом сближается с Есениным:

Боже правый, ты видишь  
Эту злую невзгоду.  
Ненаглядный мой Китеж  
Погружается в воду.

Ах, как хорошо это чувство знакомо нам всем, кому довелось доподлинно быть «детьми страшных лет России»!

Подлинно страшных, а не тех, которые все называл так Блок...

*«Наша страна», рубрика «Библиография», Буэнос-Айрес, 23 июня 2001 г., № 2653–2654, с. 3.*

## Певец фантастического города

Когда занимаешься Серебряным веком, – эпохой Гумилева, Волошина, Цветаевой и Черубины де Габриак, – постоянно всплывает имя Сергея Ауслендера. О котором, однако, обычно сообщается очень мало: что он был племянником М. Кузмина, сотрудником журнала «Аполлон»... Еще меньше упоминаются его произведения.

Из них мне до недавнего времени были известны отдельные рассказы, в частности «Пастораль» и «Наташа», и, курьезным образом, его послереволюционный роман «Рабы Конго». С большим интересом читаю теперь, боле или менее «полное собрание» его сочинений под заглавием «Петербургские апокрифы» (СПб., 2005) содержащие краткие о нем биографические сведения и не всегда убедительные комментарии.

Из них узнаю, что он «трагически погиб в сталинских застенках» в 1937 году. Гибель не удивляет, когда видишь сообщение, что он сотрудничал с колчаковцами. Вот не совсем ясным остается, почему он остался в советской России? Не удалось эмигрировать? Скорее всего, так... Или не захотел? Менее вероятно, но и это возможно.

Рассматриваемое собрание сочинение состоит из романа «Последний спутник» и трех сборников рассказов (обычно коротких, а иногда и сверхкоротких): «Золотые яблоки», «Петербургские апокрифы» и «Сердце воина».

Отчетливо чувствуется время написания: эпоха декаданса и, с другой стороны, наличие оригинального и достаточно яркого таланта. Составители книги правы, говоря об Ауслендере: «одно из несправедливо забытых имен Серебряного века».

Даты его жизни: 1886–1937.

Роман «Последний спутник» рассказывает о связи и разрыве автора с Ниной Петровской, любовницей Брюсова, в обстановке их совместного путешествия вдвоем по Европе.

Невольно напрашивается сравнение, с одной стороны, с отношениями между Достоевским и Аполлинарией Суловой и, с другой, между Альфредом де Мюссе и Жорж Занд.

Петровская, видимо, во многом и походила на Сулову.

Вероятно, ее образ отражен в ряде демонических женщин, фигурирующих в рассказах. Может быть ярче всего в «Наташе» и одноименной повести.

В рассказах в целом мы часто сталкиваемся с темами самоубийства и безумия («Ставка князя Матвея», «Веселые святки»), а иногда и убийства: «У фабрики».

В серии новелл «Золотые яблоки» главным образом проходит мысль, что важные политические события проходят незамеченными для многих их современников, занятых личными делами и чувствами. Эта идея близка Анатолю Франсу: недаром она и выражается, в числе прочего, в картинах французской революции.

Другие новеллы переносят нас в античность; из них «Флейты Вафила» о смертоносной любви ко статуе, явно навеяна «Венерой Илльской» Мериме.

Сборник «Петербургские апокрифы» построен на фразе одного из персонажей (Дернова в «Наташе»): «Ведь недаром же это самый фантастический город на земном шаре».

Город, где живут не только капризные и жестокие женщины, но и мужчины с натурой злобного демона, как князь Андрей Поварил из «Ставки князя Матвея» или Дмитрий Лазутин из «Наташи».

Нельзя, во всяком случае, не признать, что ситуации у Ауслендера почти всегда острые, и скуки при чтении не испытываешь никак!

Остается поблагодарить издателей за то, что они, по их выражению, «возвращают Сергея Ауслендера к читателям». Вопреки взгляду его родных, которые «память о нем, конечно, сохраняли, но не думали, что о нем снова вспомнят».

*«Наша страна», Буэнос-Айрес, 6 июня 2009 г., № 2869, с. 7.*



## Тоска по Богу

Сборник ранних рассказов Вячеслава Шишкова, ставшего потом видным подсоветским писателем, «Колдовской цветок» (Москва-Ленинград, 1926), рисует главным образом фигуры сибиряков, – крестьян, каторжников, золотоискателей, купцов и странников. Они набросаны, явно, еще неопытной рукой, хотя и с проблесками таланта.

Любопытно другое. Вряд ли не рупором автора является дед Григорий из рассказа «Ванька Хлюст», развивающий такую философию: «А я тебе, сударик, вот что скажу: Бога я за всегда в сердце имею. И тебе советую. Бог – он и без нас обойдется, а мы-то без Него, без Батюшки, затоскуем».

Позже Шишков написал много разных вещей, – и довольно безобразного «Пугачева», и прекрасную «Угрюм-реку». Судить его за уступки советской цензуре было бы не слишком справедливо. Пронес ли он до конца в душе слова, вложенные им в уста одному из самых симпатичных его персонажей, процитированные нами выше? Во всяком случае, будем надеяться, что Бог их услышал, и ему зачел.

*«Наша страна», рубрика «Среди книг», Буэнос-Айрес, 12 октября 1985 г., № 1837, с. 2.*

## **«Романтика! Мне ли тебя не воспеть!» К сорокалетию со дня смерти Эдуарда Багрицкого**

Этот одессит из еврейской мелкобуржуазной семьи, испытавший в начале пути сильное влияния акмеизма, сделался одним из самих ярких, одним на самих талантливых романтиков в русской поэзии, за все время ее существования.

Все лучшее из того, что он оставил, несет на себе отчетливый отпечаток романтизма; но какое разнообразие и сюжетов, и тона мы тут встречаем!

От мягкой задумчивости «Птицелова», ведущего нас с собой

Вдоль по рейнским берегам.  
По Тюрингии дубовой,  
По Саксонии сосновой,

через рыцарскую вальтер-скоттовскую Шотландию «Разбойника», где

Брэнгельских рощ  
Прохладна тень.  
Незыблем сон лесной

в буйную старую Англию «Баллады о Виттингтоне», подобную которой мы по-русски найдем разве что в «Пире во время чумы»:

Он мертвым пал. Моей рукой  
Водила дикая отвага,  
Ты не заштопаешь иглой  
Прореху, сделанную шпагой

и назад к Черному морю нашего века, в «Контрабандистах», на котором

По рыбам, по звездам  
Проносит шаланду:  
Три грека в Одессу  
Везут контрабанду.

В другом тоне, и средневековом стиле, была у Багрицкого чудесная благочестивая легенда «Трактир» (он ее, к сожалению, испортил в позднейших вариантах), про голодного поэта, за которым Бог послал ангела, чтобы пригласить его на небеса, в волшебный заезжий двор «Спокойствие Сердец».

Зато, по счастью, нетронутым сохранился его ранний экскурс в нашу отечественную историю, о том, как старый полководец скучал у себя в захолустном поместье, до того дня, когда вдруг

К нему в деревню приезжал фельдъегерь  
И привозил письмо от матушки-императрицы.  
«Государь мой» – читал он – «Александр Васильич!  
Сколь прискорбно мне Ваш мирный покой тревожить.  
Вы, как древний Цинцинат, в деревню свою удалились,

Чтоб мирным трудом и науками свои владения множить».

и о том, как Суворов кончал письмо

Затем подходил к шкапу, вынимал ордена и шпагу —  
И делался Суворовым учебников и книжек.

Из всего этого довольно естественно родилась и самая замечательная вещь Багрицкого, эпическая поэма «Дума про Опанаса». (Она существует в двух вариантах; мы лично решительно предпочитаем второй, более развернутый, в форме либретто для оперы).

Русские слова здесь уложены в типично украинский размер, и через них звучат все время голоса Шевченко, Гоголя и даже Сенкевича, а за ними еще более древнего Бояна, вызывая перед глазами грандиозные картины богатырских схваток в бескрайней степи, истоптанной конями и напоенной кровью павших в бою и расстрелянных, окутанной клубами дыма и озаренной заревом пожаров...

Большевики, конечно, хотели бы видеть тут эпос революции. Только ведь с таким же успехом, если не большим, можно сказать, что это — эпос махновщины. По-настоящему, это — эпос гражданской войны, и притом именно в Малороссии:

Украина, мать родная,  
Билась под конями.

Мелодия всей поэмы лучше всего отражена, и ее смысл ярче всего резюмирован в словах:

Опанасе, наша доля  
Туманом повита.  
Хлеборобом хочешь в поле,  
А идешь — бандитом.

Перед нами трагическая история украинского крестьянина в годы смуты; мобилизованный в Красную Армию Опанас видит, как большевики грабят деревню, и бежит от них с мечтой вернуться к мирному труду, к своему хозяйству. Но вся страна охвачена войной, в ней нет места ни покою, и счастью. Он попадает к Махно, и воюет на его стороне, пока не оказывается в плену у красных и не идет под расстрел:

Опанас, твоя дорога  
Не дальше порога.

Как мы видим, ситуация довольно похожая на «Тихий Дон» Шолохова.

В описании службы герои у Махно, во всяком случае, вложена поэзии дикой вольности, которой дышат даже слова Опанаса перед лицом смерти:

Как мы шли в колесном гrome  
Так что небу жарко,  
Помнят Гайсин и Житомир,  
Балта и Вапнярка!..

С ортодоксальной советской точки зрения, главный положительный герой поэмы — это, понятно, комиссар Иосиф Коган. Но Багрицкий нам ясно показывает малосимпатичную дея-

тельность этого фанатика, положим, мужественного и искреннего, но неумолимо жестокого. Вот описание того, как он собирает продрозверстку:

По оврагам и по скатам  
Коган волком рыщет,  
Залезает носом в хаты  
Которые чище!  
Глянет влево, глянет вправо,  
Засопит сердито:  
«Выгребайте из канавы  
Спрятанное жито!»  
Ну, а кто поднимет бучу —  
Не шуми, братишка:  
Усом в мусорную кучу,  
Расстрелять — и крышка!

Для крестьян — он не только такой же бандит, как Махно, но еще и хуже. Однако, когда Коган попал в плен к махновцам, и Опанасу поручили его расстрелять, тот, с типичной отходчивостью русского человека, предлагает ему бежать. Комиссар отказывается, так как знает, что ему не спастись: куда бы он ни пошел, крестьяне его схватят и выдадут.

Между Коганом и Махно невозможно осуществить мечту о мирном счастье, которую выражает Опанас, его невеста Павла

И мы выйдем с тобою в поле  
Мы вдвоем — только ты и я...

И может быть полнее всего махновский часовой, поющий на посту

В зеленом садочке,  
У Буга на взгорье,  
Цвети, моя вишня, цвети!  
На тихие воды  
На ясные зори  
Лети, мое сердце, лети!

Надо сказать, что Махно обещает народу такой же рай, как и коммунисты. Вот как его адъютант, вполне культурный и симпатичный молодой человек, формулирует программу гуляйпольского батьки:

Анархия — высший порядок! Она  
Не может поставить преград.  
Ми вольной работы взрастим семена,  
Из дебрей мы сделаем сад.

А вот Раиса Николаевна, делопроизводительница при махновском штабе, загадочная, «чертова красotka», которую

... увидав  
Лохматые анархисты

Смиряют свой бешеный нрав,

и которой, похоже, побаивается и сам атаман Нестор Михайлович, та – как бы соответствие Когану в другом стане, и с такой же неумолимой жестокостью и целеустремленностью:

Декреты, допросы, расстрелы,  
Дела по изъятию зерна  
Рукой молодой, загорелой  
Подписывает она.

Она из породы тех же бесов, которых революция вызвала из их прежних таинственных обиталищ. Недаром таким мраком окутано их прошлое:

Откуда она – неизвестно,  
Где дом ее? Кто отец?  
Помещик ли мелкопоместный?  
Фальшивомонетчик? Купец?

Это песни, которые как бесы в снежной буре несутся над потрясенной бунтом страной, развевая пламя и поднимая тучи пыли...

Участник гражданской войны на стороне революции, Багрицкий вполне мог бы позже сказать, как многие: «За что боролись?» При советской власти его травили за романтизм. Он пытался писать в ином ключе – главным образом в манере крайнего натурализма – не очень успешно.

Политически, можно было бы ему поставить в упрек стихотворение «ТВС», где он славословит обер-палача Дзержинского. И, однако... не дай Бог никому дожить до таких похвал! Уж очень правдиво работа «товарища Феликса» изображена:

И подпись на приговоре вилась  
Струей из простреленной головы...

Есть, на наш взгляд, у Багрицкого другое, куда худшее стихотворение, ибо сатанинское и богоборческое: «Смерть пионерки». Этот апофеоз атеизма леденит кровь и возмущает душу... не будем о нем говорить. Причины, почему поэт это написал, можно бы искать и угадывать – да не хочется.

Скажем только, что Сатана, как всегда, заплатил черепками. Вот отрывок из мемуаров писателя Сергея Бондарина, бывшего в дружбе с Багрицким («Парус плаваний и воспоминаний», Москва, 1971).

Он рассказывает о судьбе жены Багрицкого и его единственного сына, Всеволода, уже после смерти самого поэта:

«Так вот, Эдуарда Георгиевича уже не было... Потом, когда уже вышел посмертный том стихотворений Багрицкого, уже вышла книга воспоминаний о нем, мы слышали о том, что у Севы не стало и матери. Лидию Густавовну арестовали – произошла тяжелая ошибка...»

Всеволод Багрицкий, и сам подававший надежды молодой поэт, был убит во время Второй мировой войны, как, между прочим, курьезным образом, и единственные сыновья нескольких замечательных, но опальных советских писателей; например, Виктора Кина<sup>106</sup> и Макара Буйного<sup>107</sup>.

---

<sup>106</sup> Виктор Павлович Кин (1903–1938) – писатель и журналист. Активный участник революции и Гражданской войны,

Но, во всяком случае, после Эдуарда Багрицкого остались его стихи, и их достаточно, чтобы обеспечить ему место и в истории литературы, и в памяти как нашего, так и будущих поколений.

*«Русская жизнь», Сан-Франциско, 24 апреля 1974 г., № 7955, с. 3.*

---

коммунист, политработник. В 1937 арестован как «враг народа» и расстрелян.

<sup>107</sup> Иван Иванович Макаров (псевд. Макар Буйный; 1900–1937) – писатель. В 1937 арестован как «враг народа» и расстрелян.

## Ревнивица

Ахматова сама по себе говорит: «Я всегда ненавидела жен великих людей».

Трудно не подумать, что она им просто завидовала!

Хотя совершенно напрасно: судьба дала ей быть супругой подлинно великого поэта, одного из лучших, каких мы вообще имели, Николая Степановича Гумилева. И что же? Она сделала все, чтобы отравить ему жизнь, потом его покинула, – и никогда не умела понять его творчество, о котором судила, мягко выражаясь, вкривь и вкось.

Но вот эта неуместная ревность совершенно ее ослепляет в суждениях о Н. Н. Пушкиной, и еще хуже о А. Г. Достоевской, о которой она высказывается абсолютно несправедливо (а уж та была – поистине идеальной подругой великого писателя; если бы не она, – мы бы не имели того Достоевского, которого мы знаем). Впрочем, такие же чувства Анна Андреевна испытывала и по отношению к С. А. Толстой (тоже не слишком справедливо...) и, видимо, в самом деле, ко всем женам великих людей без исключения.

Пушкинисткой, впрочем, она было плохой, даже оставляя в стороне вопрос о ревности: например, о царе Николае Первом она всюду высказывается с тупой и вовсе необоснованной злобой.

Потому что этого требовали власти? Нет, вряд ли в данном случае у нее есть такое оправдание: в ее голосе слышится искренняя ярость.

Когда она подлинно велика и мудра, это не в оценках прошлого и не в вопросах литературы (вопрос об ее поэтических достижениях оставим пока в стороне), а это когда она глядит на современность, на то, что она видела, слышала и пережила в советской России:

«Сталин – самый великий палач, какого знала история. Чингизхан, Гитлер – мальчишки перед ним. Теперь выяснилось, что лично товарищ Сталин указывал, кого бить и как бить. Оглашены распоряжения товарища Сталина – эти резолюции обер-палача на воплях, на столах из пыточных камер».

Или ее ответ, когда ей сказали, что были, мол, люди, искренне верившие в советскую власть: «Неправда! Камни вопиют, тростник обретает речь, а человек, по-вашему, не видит и не слышит?! Ложь. Они притворялись. Им выгодно было притворяться перед другими и самими собой. Ну, конечно, они не имели возможности выучить наизусть его бессмертные распоряжения в оригинале, но что насчет “врагов народа” все ложь, клевета, кровавый смрад – это понимали все. Не хотели понимать – дело другое. Такие и теперь водятся».

Тут с нею полностью согласимся. Это – голос правды, это, согласно судебной формуле, чистая правда, вся правда и только правда.

Не курьезно ли, что вот теперь, в наши дни, когда уже все известно, – находятся горячие поклонники товарища Сталина? Любопытно, что господа красно-коричневые думают о свидетельстве Ахматовой?

*«Наша страна», Буэнос-Айрес, 28 марта 1998 г., № 2485–2486, с. 5.*

## Слова мудрости

Слабый и грубо агитационный роман Д. Нагишкина<sup>108</sup> «Сердце Бонивура» (Ленинград, 1947) интересен разве что тем, что вошел позднее в состав серии «Тебе в дорогу, романтик!», где в числе других печатались многие книги более или менее талантливые и даже искренние. Описание гражданской войны на Дальнем Востоке должно, по намерению автора, вызвать восторг перед красными и отвращение к белым: на деле, чувство читателей порою совсем иное. Например, когда красная сестра милосердия зверски убивает, ударом ноги в живот, тяжело раненного, могущего выдать секреты партизан...

Но есть в сочинении Нагишкина одно место, стоящее того, чтобы его процитировать. А именно, – речь японского офицера, поручика Суэцугу, перед крестьянами, оказывавшими содействие советчикам:

«Росскэ курестиане! Смею приказывать вам выслушивать меня. Вы нарушили заповедь ваши предки, вы подняли руку на священную особу императора. Вас наказывать за это надо. Вы болсевичам помогали. Болсевичо Бога нет. Это плохо! Великая Ниппон желает установить настоящий порядок в России. Кто сопротивление думает оказывать, – того надо выпороть».

Какие прекрасные и верные мысли! Если бы так рассуждали наши псевдосоюзники в борьбе с коммунизмом, в эпоху революции и позже вплоть до сего дня, будь то немцы, англичане или американцы, – сатанинское владычество темных сил над нашей родиной, без сомнения, давно бы отошло в область минувшего.

Что же до пособников большевиков, сознательных и бессознательных, увы! Их ждала гораздо более страшная кара, чем упоминавшееся поручиком Суэцугу умеренное количество спасительной лозы по мягким частям. Крестьянам предстояло раскулачивание и поездка в столыпинских вагонах на Колыму, и далее на тот свет, а партизанам – кусочек свинца в затылок в чекистских подвалах. За что боролись, на то и напоролись...

*«Наша страна», рубрика «Среди книг», Буэнос-Айрес, 15 февраля 1986 г., № 1855, с. 2.*

---

<sup>108</sup> Дмитрий Дмитриевич Нагишкин (1909–1961) – писатель, книжный иллюстратор.



## Мудрость и лжемудрость

Второстепенный писатель С. Сергеев-Ценский, начавший деятельность в 1900-е годы, и благополучно продолжавший ее при большевиках, ценою полной рептильности, в своем посредственном, хотя и восторженном очерке «Гоголь как художник-слова», сочиненном в 1952 году, по случаю столетия со дня смерти великого мастера (С. Н. Сергеев-Ценский. «Собрание сочинений», т. 3, Москва, 1955), приводит замечательную фразу: «Придет время, – Европа приедет в Россию не за пенькой, а за мудростью, которой не продают уже ни на каких европейских рынках». И, комментирует: «Это предсказание из “Переписки с друзьями”, и, как мы с вами видим, оно сбылось».

Сбылось, да не так, как хочет нам внушить советский борзописец. То, что он лживо именует мудростью, черпали из России (им и покупать не надо было: давали не только даром, но еще и с хорошей приплатой!) всякие арагоны, сартры и прочие ромен-ролланы. Настоящая же мудрость сама пришла в Европу, но тщетно стучится в двери ее властителей, политических и интеллектуальных, в форме книг и речей Солженицына. Вот к ней-то пророчество Гоголя и относится. Но ее час еще не настал. В России же да, действительно, идет процесс духовного возрождения подспудной переоценки ценностей и познание истины, которого нет на Западе; и только он один, в наши страшные годы, может служить надеждой на спасение мира.

Любопытно, что в том же томе Сергеев-Ценский рассказывает (в очерке «Мое знакомство с И. Е. Репиным») о своей встрече с писателем Николаем Каразиным<sup>109</sup>, упоминавшимся недавно в «Нашей стране», и который был, оказывается, не только писателем, но и художником. Ценский с ним беседовал на выставке его картин в Москве, и даже описывает его наружность: «Чернобородый, крупноголовый, приземистый человек».

*«Наша страна», рубрика «Среди книг», Буэнос-Айрес, 14 июня 1986 г., № 1872, с. 3.*

---

<sup>109</sup> Николай Николаевич Каразин (1842–1908) – писатель, художник. Участник среднеазиатских походов. Военный корреспондент-иллюстратор в Сербско-турецкую и Русско-турецкую войны. Оформлял книги многих отечественных и зарубежных классиков.

## Два советских романа

В течение некоторого времени иностранной печати многократно упоминался недавно вышедший в свет в Советском Союзе роман Антонины Коптяевой<sup>110</sup> «Иван Иванович». Французские газеты, с присущей им развязностью и потугами на остроумие в снисходительном тоне, всегда у них появляющимися, стоит им заговорить о чем-либо русском, окрестили героиню романа «якутской мадам Бовари». Когда книга попала мне в руки, я раскрыл ее с некоторым интересом. Положим, оказалось, что героиня вовсе не якутка, а русская, хотя действие происходит в самом деле в Якутской АССР, и что на мадам Бовари она похожа не больше чем, скажем, на Анну Каренину, – или на любую другую женщину, которая бросает мужа. Но это не может вызвать большого удивления у того, кто знаком со стилем французской прессы. Мне было любопытно видеть другое: действительно ли это произведение представляет собою событие в советской литературе. И в этом отношении я остался разочарован. Роман мне показался довольно слабым.

Сюжет его чрезвычайно примитивен: жена ученого оставляет его, так как на ее взгляд муж уделяет ей слишком мало внимания и недостаточно ее понимает. Особенность, которая должна выражать «советский» подход к старой теме, – в том, что трагедия героини сводится к трудности найти для себя подходящую профессию. В конце концов, она эту профессию находит, делаясь журналисткой. Почему-то при этом ей понадобилось уйти к человеку, нашедшему ее на эту идею. Вероятно, в романе заключено много автобиографического элемента: в стиле автора отчетливо чувствуется перо газетного работника, а яркие описания медицинских операций, представляющие собою лучшие отрывки в книге, – наводят на мысль, что автор, как и героиня, учился прежде в медицинском институте.

События разворачиваются на фоне быта интеллигенции, – главным образом медицинского персонала, – партийцев, отчасти местных инородцев. Картина могла бы быть интересной, тем более, что Коптяевой описание дается легче, чем психологический анализ. Однако, и в этом отношении не чувствуешь себя удовлетворенным. Читаешь разговоры среди интеллигентов и чувствуешь все время, что здесь что-то «то, да не то». Слог их речи, сюжеты их бесед не типичны для настоящей интеллигенции, какую мы знали в СССР; все это – представители той ремесленной, наспех выпеченной интеллигенции, которой, нельзя отрицать, при большевизме развелось немало. Конечно, автор вправе рисовать жизнь именно этого слоя, – к которому, видимо, и сам принадлежит, – но для нас это уменьшает интерес и все сочинение представляется из-за этого менее глубоким. Невольно хочется предупредить читателя из иностранцев или из старой эмиграции, чтобы он не думал, что внутренний мир русской интеллигенции в целом снизился сейчас до уровня инженера Таирова или журналистки Ольги Аржановой.

Герой, именем которого названа книга, талантливый хирург Иван Иванович Аржанов, изображен как человек науки, забывающий обо всем ради любимого дела, и, в то же время, как исключительно добрый и отзывчивый человек, находящий в себе сочувствие для каждого из своих пациентов. Да, такие типы в России были и есть, и образ Ивана Ивановича вызывает у меня ряд воспоминаний о людях, которых я знал в реальной жизни. Но зачем Иван Иванович сделан в то же время убежденным фанатиком-партийцем? В этом нет прямой невозможности, но это так не типично! Люди науки, люди, сохранившие или воспринявшие те благородные традиции русского врача, какими живет Иван Иванович, обычно так далеки от партийного мира, так тщательно его избегают – и это все равно, происходят ли они из потомственной

---

<sup>110</sup> Антонина Дмитриевна Коптяева (1909–1991) – писательница. С 1932 жила на Колыме со своим мужем, занимавшим руководящий пост, позднее расстрелянным. С 1939 по 1947 училась в Литинституте. Вышла замуж за писателя Ф. И. Панферова.

интеллигенции (где такая разновидность гоминис сапиентис<sup>111</sup> встречается чаще), или поднялись из низов, как это указано у Коптяевой об ее персонаже. Они могут быть формально партийцами, но убежденными..., вряд ли. Впрочем, и у Ивана Ивановича эта убежденность не так то ярко чувствуется.

А вот другой партиец, – секретарь райкома Скоробогатов, – дан как живой. Таких мы все видали во многих экземплярах. Его манеры один из героев романа характеризует так: «угрозы, окрики, оскорбления со ссылками на неограниченные права секретаря райкома». При всяком поводе, и вовсе без повода, он начинает «греметь»: «Все эти интеллигентские штучки... забываете о рабочей среде... сплошные выпады! Я предлагаю вам серьезно подумать». – «Ты идешь против партии!» и т. д. Его повелительный тон... его манера лезть с грязными сапогами в душу к людям, во все мелочи их личной и семейной жизни, все это – живой сколок с натуры. Прощаешь Коптяевой то, что он у нее в конце концов посрамлен и наказан «справедливой» партией. Ясно, на деле именно такие люди и делают карьеру в Советском Союзе.

О главной героине романа, как ни странно, почти нечего сказать. Симпатии автора на ее стороне, но вряд ли не у большинства читателей остается впечатление о ней, как о пустой мещанке, оказавшейся неспособной оценить стоящего выше нее в культурном и моральном отношении мужа. Ее неудовлетворенность собой и вечные поиски кажутся довольно смешными, если мы вспомним условия жизни большинства русской интеллигенции, перед которой все время встают куда более сложные и тяжелые вопросы.

Еще более надуманный, неживой образ – играющая в романе довольно серьезную роль девушка-якутка, помощница Ивана Ивановича, Варвара Громова. Она то и дело раздражается невыносимо приторными и неискренними монологами на тему о том, как страдали якуты в царское время, и какие неизмеримые блага им подарила советская власть, – «Я счастлива не тем, что я вырвалась, а тем, что весь мой народ вырвался из грязи и нищеты! Ведь раньше только крошечной кучке интеллигентов, имевшей общение с русскими, была доступна культура. И то консерваторы-националисты упрекали их за обручение, за русские обычаи, за то, что они позорят этим звание якутов. Я ненавижу националистов! Я их не-на-вижу-у! Что они держатся? Что они могут дать народу? Ведь у нас почти одна треть населения болела чахоткой и больше половины грудных детей вымирало. А они стремились к реставрации! Мне рыдать хочется, когда я только подумаю, что революцию могли бы задушить в самом начале!» – Не хватает терпения прочесть до конца ее нудные, тошнотворные тирады. Да, все это говорили и говорят в Советском Союзе; все это приходится слышать. Но такие фразы произносятся исключительно в официальной обстановке – на собраниях, в присутствии начальства или, самое большее, перед людьми, в которых подозревают сексотов. Никто не станет, как Варвара в романе, говорить так перед близкими друзьями, в семейной обстановке. В подобном случае на человека поглядели бы с удивлением, с насмешкой.

Стоит ли приводить возражения по сути ее высказываний? Она сама роняет мимоходом, что ее отец, который был очень беден, имел 6 коров. В романе говорится о шкурках соболей и черно-бурых лисиц в руках у якутов-охотников. В царское время им бы заплатили полновесными деньгами, а теперь колхоз заберет все более или менее даром. Такие мелочи, наверное, якуты отчетливо сознают.

Ламентации Варвары по поводу тяжелой участи якутов в царской России надо признать, мягко выражаясь, преувеличенными. Конечно, они жили в тяжелом климате, но ведь и сама Варвара любит свою страну – «Олекма, нет в мире лучше края!» В отличие от других северных народов, якуты не обнаруживали никакой склонности к вымиранию или вырождению, это жизнеспособное, энергичное племя, наиболее многочисленное в Сибири, еще до прихода русских, достигло относительно высокого культурного уровня. Русские принесли им христиан-

<sup>111</sup> Hominis sapientis – человек разумный (лат.).

ство, цивилизирующую роль которого даже и большевики, верно, не станут теперь отрицать. Однако, они настолько сохраняли свою самобытность, что, далекие от обрусения, втягивали в свою среду живших между ними русских, усваивавших их язык. Об этом упоминает эпизодически появляющийся у Коптяевой старый шаман, который мог бы быть очень интересным образом. Вспомним, с другой стороны, рассказ Гончарова в «Фрегате Палладе» о том, как он ехал через Сибирь, и, к его удивлению, здесь русские между собой говорили по-якутски и ему казалось, что его сейчас спросят: «Parlez vous yakoute?»<sup>112</sup>, и ему будет неловко сознаться, что нет.

Упомянем здесь еще несколько не слишком широко известных фактов. Якуты до прихода русских не имели письменности – или, что довольно вероятно и находится в согласии с их легендами, ее утеряли во время своих странствий с юга на север. Уже в 1819–1821 годах священник Георгий Попов в Иркутске пробует составить якутский алфавит – «Таблицу для складов и чтения гражданской печати». Но по-настоящему грамматика их языка и алфавита (на базе русского) были составлены в 1851-м году ученым немцем Бетлингком<sup>113</sup> (немец, как известно, и обезьяну выдумал!)

В 1853 же году архиепископ Камчатский Иннокентий Вениаминов<sup>114</sup> учреждает в Якутске переводческий комитет для перевода богослужебных книг, во главе с протоиереем Димитрием Хитровым. Хитров составляет свою транскрипцию – упрощение с практическими целями таковой Бетлинга. После революции, в 1917-м году, по инициативе якутского ученого Новгородова, русский алфавит был у якутов заменен знаками международной фонетической транскрипции, оказавшимися столь неудобными, что в 1939 году правительство принуждено было вернуться к алфавиту Хитрова с небольшими изменениями. Это один из многих примеров, когда царское правительство обнаружило больше внимания и понимания в вопросах просвещения инородцев, чем советское.

\* \* \*

Роман Коптяевой приводит мне на память другой советский роман, о котором тоже немало говорили несколько лет тому назад, и который во многих отношениях представляет с ним аналогии. Я имею в виду роман Веры Пановой<sup>115</sup> «Спутники».

Роман также написан женщиною; Панова тоже журналистка, и «Спутники» были ее первым романом. В нем, как и в «Иване Ивановиче», в центре внимания стоят врачи и сестры: действие «Ивана Ивановича» кончается с началом Второй Мировой войны, – действие «Спутников» происходит во время этой войны. Но в выполнении у двух писательниц налицо огромная разница. Если у Коптяевой на сцене почти исключительно полуинтеллигенты, у Пановой охват гораздо шире – и настоящие интеллигенты, и полуинтеллигенты, и совсем простые люди; и, главное, каждый из них дан, хотя иной раз и в беглой зарисовке, но так, что мы видим его характер и душу.

Есть у Пановой старый доктор Белов. Если Иван Иванович возможен и даже правдоподобен, то доктор Белов по-настоящему типичен. Но если Коптяева, говоря о своем герое, то суха, то теоретична, Панова показывает своего с массой бесконечных, мастерски подобранных

<sup>112</sup> Вы говорите по-якутски? (*фр.*)

<sup>113</sup> Оттон Николаевич Бетлингк (1815–1904) – ученый языковед, тайный советник. Член Императорской академии наук. Специалист по индийскому и якутскому языкам. Автор 7-томного санскритского словаря.

<sup>114</sup> Иннокентий (в миру Иван Евсеевич Попов-Вениаминов; 1797–1879) – епископ Православной Российской церкви. Митрополит Московский и Коломенский. Первый православный епископ Камчатки, Якутии, Примурья и Северной Америки. Один из основателей Благовещенска. Прославлен в лике святых.

<sup>115</sup> Вера Федоровна Панова (1905–1973) – автор романов, повестей, рассказов и пьес. По ее повести «Сережа» режиссер Г. Д. Данелия снял свой первый фильм.

нюансов. Доктор Белов и комичен, и трогателен, и порою великолепен. Автор проявил чувство меры и не сделал Белова коммунистом. Его мотивы – может быть отчасти патриотизм, а главное то чувство своего долга перед больным, которое для русских медиков характерно. Белов явно побаивается властей и партийцев и старается с ними не спорить. Но когда комиссар предлагает ему прицепить к санитарному поезду брошенные товарные вагоны, что значило бы, спасая материальные ценности, подвергнуть опасности раненых, он решительно отказывается: «Люди, знаете, самое ценное!» Здесь сталкиваются два непримиримых мировоззрения – советское и гуманитарное, то, которого так верно и упорно придерживалась старая русская интеллигенция, не сознавая, что оно идет корнями из отвергаемого ею христианства. И чего стоят те терзания, которые доктор Белов переживает от смерти пациента, которой он не мог предвидеть, но за которую все же чувствует себя ответственным!

Не менее прекрасны и другие образы «Спутников» – персонал санитарного поезда, девочка Васька, Лена Огородникова, перевязочная сестра Варвара Дмитриевна... Даже комиссар Данилов, менее симпатичный, чем другие, становится нам ближе, когда мы узнаем его личную трагедию, с неудачной любовью, наложившей отпечаток на всю его жизнь. Со странным, почти не поддающимся анализу искусством, Панова делает каждого из своих персонажей живым человеком. Их язык, их образ мыслей кажутся нам совершенно естественными. Мы видим, почему в результате советской жизни люди многого не знают, о многом имеют странные представления; но мы видим в то же время, что Васька, и Лена, и Фаина по своему характеру такие же русские девушки, какими были их прабабушки, ничего не утратившие из самых драгоценных свойств русского характера. Лена Огородникова, воспитанная в детдоме, находит для каждого раненого ласковое слово, смеется с ними, а еще чаще плачет, отдает свои силы заботе о них, а в душе думает только о муже, который где-то на фронте... и который, как в конце концов оказывается, о ней забыл и ей изменил. Даже когда автор показывает нам деревенского мальчишку, дравшегося на фронте, как лев, и объяснившего в госпитале, что это потому, что немцы хотят «колхозы порушить, а землю отдать помещикам», мы не можем сказать, что это невозможно. Но, конечно, для советской власти подобные ребята плохая надежда. Подобное невежество и такие нелепые представления о положении вещей очень хрупки и легко разрушаются. А другую форму советского патриотизма найти и изобразить трудно.

Принимая во внимание советские условия, мы ничего не можем знать о подлинных взглядах ни Коптяевой, ни Пановой. Та и другая могут быть и искренними коммунистками и совсем обратным. Но там, где у Коптяевой вышла ненатуральная агитка, Панова сумела дать меткую зарисовку действительности.

Зато, если вдуматься в содержание «Спутников», то и приходишь к выводу, что они доказывают, что в России как были, так и есть чудные, лучшие в мире – врачи и сестры милосердия; что русский народ как был, так и есть народ храбрый, добрый и чистый душою. Но разве это сделала советская власть? Наоборот, ясно, что эти свойства выработаны веками в старой монархической России. Большевики не сумели и не смогли этих свойств уничтожить, и в этом залог их собственной неизбежной гибели, ибо они находятся в непримиримом противоречии с народом, которым желают править.

Нет ничего удивительного в том, что в последнюю войну, как это было раньше, как верно будет и в будущем, во множестве санитарных поездов, лазаретов и госпиталей врачи, сестры, сиделки всей душой отдаются уходу за ранеными. Это картина вечной России. Но всем им без сомнения станет легче дышать, когда исчезнет, как скверный сон, советская власть, и даже писателю будет тогда легче рассказать о них, чем было Пановой, которой мы должны все же быть благодарны за образы живых людей и за правдивое изображение их чувств, тем более, что, конечно, ее задача в советских условиях была довольно тяжелой.

*«Наша страна», Буэнос-Айрес, 5 июля 1952 г., № 129, с. 4–5.*

## Возрождение авантюры

Роман Л. Платова<sup>116</sup> «Страна семи трав» («Молодая Гвардия», Москва, 1954) прежде всего захватил нас своим сюжетом, и только прочитав его без отрыва до последней страницы, мы задумались об его особенностях. Необычно встречать в советском издании приключенческий роман, живо напоминающий самые удачные вещи Райдера Хаггарда («Люди тумана», «Копи царя Соломона»); и между тем, это сравнение напрашивается само собой. На плоскогорьях Бырранга, на Таймырском полуострове, там, где на географических картах стоит белое пятно, живет загадочный народ, не известный ни правительству, ни науке, сам называющий себя «дети солнца» и поклоняющийся удивительной птице Маук. Попавший к ним еще до революции путешественник тщетно старается сообщить о себе внешнему миру, то пуская вниз по реке деревья с метками и с вложенными внутрь записками, то ставя знаки в виде клейма на диких оленей, уходящих в тундру, то привязывая письма на оленьей коже к лапке пойманного дикого гуся... Наконец, одно из его посланий в полустертом состоянии доходит до этнографа в московском музее, и благодаря энергии того и нескольких присоединившихся к нему энтузиастов науки, после трудной и опасной экспедиции, раскрывается секрет «потерянных людей» Таймыра и таинственного теплого плато в северной Сибири.

Но в книге много хорошего и кроме увлекательного изложения, ни на минуту не дающего вниманию читателя ослабеть, и прекрасного русского языка. Кстати, полезно все-таки читать советскую литературу. Из нее почерпашь множество новых слов, вошедших в русский язык или недавно им созданных, тогда как в эмиграции сам себя начинаешь ловить на колебаниях и ошибках в родной речи. Недавно, участвуя в подготовке собрания, мы серьезно сомневались, можно ли сказать по-русски «стенд»? Теперь знаем, что да. Так как подлинный русский язык, конечно, – в России, и нам его необходимо знать, – помимо прочего, – даже с утилитарной точки зрения: на каком языке – не на эмигрантском же! – мы, если понадобится, будем писать листовку или текст радиопередачи для СССР?

Очень любопытны наблюдения автора над жизнью самоедов, – хотя бы картина того, как они смотрят кино, которое живописно называют «сны на стене», как удивляются при виде кур – «разве, кроме диких птиц, бывают еще ручные?» Ярко, хотя и кратко, показан простодушный и кроткий характер этих детей природы, которых, оказывается, в Советской России именуют тавгийцами или нганасанами. Первоначальное официальное название «ненцы», видимо, отошло на второй план.

Вполне психологически убедительны главные герои романа. Молодой гидрограф Алексей Петрович и его жена Лиза, геолог по профессии, которые за несколько лет после брака никогда не проводили вместе больше трех недель подряд, разлучаемые работой. Узнаешь советский быт! Этнограф Савчук – полный, неловкий, на вид типичный кабинетный ученый, – когда надо, вдруг оказывающейся смелым, неутомимым и твердым начальником экспедиции в пустынных приполярных горах. Даже пилот Жора, с любопытством прислушивающейся к спору между двумя научными работниками и не без удовольствия играющий для них роль арбитра, – все это очень живые, очень русские типы. Повелась у нас прескверная традиция считать интеллигентов непременно «мягкотелыми», «бесхребетными» и «беспочвенными», между тем как в состав нашей интеллигенции с самого начала ее возникновения, входили исследователи и путешественники, – геологи, этнографы, зоологи, – по железной воле и выносливости мало имеющие равных на земле! Так оно и было и, по счастью, есть.

В хороший роман проскальзывают время от времени скрипучие, неприятные ноты. Нашему воображению невольно рисуется такая картина. Вернувшийся из Арктики гидрограф

---

<sup>116</sup> Леонид Дмитриевич Ломакин (псевд. Платов; 1906–1979) – писатель и журналист.

делает доклад перед большой дружественной и заинтересованной аудиторией. Им любопытно послушать, ему приятно рассказать; сыпятся вопросы, он оживленно отвечает... но вот его глаза останавливаются на сидящих в зале представителях партийных организаций. У докладчика язык сразу прилипает к гортани, и он начинает уснащать свое повествование серыми газетными фразами, в таком, примерно, стиле: «Советская власть помогла жителям тундры перейти на более высокую ступень материальной культуры...», «Полевую работу обязательно начинаю с посещения местных партийных организаций...» Скучно и ему, и публике: но без этого нельзя. Впрочем, в книге некоторые вставки, по корявости своего слога, наводят на мысль, что их за автора добавил кто-то другой. Вот образец (вырывающийся в рассказ ни к селу, ни к городу): «Этим летом латышский, эстонский и литовский народы воссоединились с братским русским народом, от которого были оторваны буржуазными националистами двадцать три года назад».

Однако, в романе раскиданы мазки, позволяющие лучше понять дело и оценить блага большевистского прогресса. Возьмем, скажем, охотника Бульчу, который открыл неведомую страну на севере и которого заставили отречься от своих слов, так как именно о такой стране издавна рассказывали шаманы, а, следовательно, в советских условиях нельзя было признать ее существования. Можно бы увидеть след советского социального заказа и в том, что одни из основных персонажей, заброшенный в условия каменного века, путешественник Петр Арианович Ветлугин – беглый ссыльный, революционер. Но и то сказать, исторически, наряду с чиновниками и миссионерами, ссыльные в самом деле были важным фактором в исследовании Сибири. А вот интересно было бы показать дальнейшее: как идеалисту-либералу, просидевшему двадцать лет в пещере, понравилась бы жизнь в «стране победившего социализма»! Верно, он не такую ее представлял в мечтах, какова она оказалась в реальности.

Отметим, что в отличие от прежнего, в книге почти нет подстрочных примечаний, и по своему уровню она рассчитана на вполне культурного читателя, – а ведь она предназначена для молодежи. Укажем и то, что она – лишнее подтверждение повышенного внимания к Сибири, которой посвящена значительная доля выходящей за последнее время в Советском Союзе литературы.

Но еще любопытнее само возникновение или, вернее, возрождение в СССР авантюрного жанра. Параллельно с этим видно, что там снова переиздают иностранных писателей, как Купера, Майн Рида, Вальтер Скотта. Их издавали и в годы нашего детства, примерно до 1928 года. Потом молодежь довольствовалась старыми книгами, до- и послереволюционными, которые зачитывались до дыр и которых остро не хватало. Радует за нынешних ребят – значит, и советские писатели могут теперь писать приключенческие романы. Когда-то, после революции, они развернулись пышным цветом и имели огромную популярность, тем более понятную, что и взрослым, и детям надо же куда-то «уходить», как-то забывать об ужасе окружающей жизни. Кто из читателей вспомнит журналы «Всемирный Следопыт», «Мир Приключений», два различных варианта «Вокруг Света»? Каждый имел свою физиономию – например, «Мир Приключений» последних годов отнюдь не был детским журналом. Он давал лучшие новинки авантюрного жанра, появляющиеся на иностранных языках, но еще интереснее были в нем рассказы русских авторов, в большинстве отмеченные печатью жути и трагизма и написанные часто на очень высоком художественном уровне. А сколько тогда возникло фантастических романов в разных манерах! Виктор Гончаров<sup>117</sup>, талантливый автор «Психомшины» и создатель комсомольца Николки, с которым случаются самые невероятные приключения; Беляев<sup>118</sup>, написавший десятки книг, – о человеке-амфибии, о путешествиях на другие планеты, о жизни

<sup>117</sup> Виктор Алексеевич Гончаров – писатель-фантаст, один из пионеров советской научной фантастики.

<sup>118</sup> Александр Романович Беляев (1884–1942) – писатель-фантаст, журналист. Один из основоположников советской научно-фантастической литературы.

будущего, – и трагически погибший от голода во время последней войны; Туров<sup>119</sup>, с его «Островом Гориллоидов»; Орловский<sup>120</sup>, с целым рядом страшных романов о возможном конце мира. Бурный и в общем заслуженный успех имела «Аэлита» А. Н. Толстого. В том же роде существовала массовая продукция писателей послабее, как Никулин и другие. Мариэтта Шагинян, один из столпов советской литературы, попробовала силы в создании «советского Ната Пинкертон» и написала «Месс-Менд», оказавшийся, пожалуй, лучшим из ее произведений. В подражание ему появились всякие «Чемоданы крокодиловой кожи» и т. п. Совершенно особым явлением был А. С. Грин, продолжавший творить так, будто никакой революции и не бывало, получивший кличку «самый нерусский из русских писателей» за то, что в большинстве его блестящих новелл действие происходило в условной, придуманной им стране, в среде пиратов, золотоискателей и моряков.

Более или менее подогнанные под правительственный канон, авантюрные романы и рассказы того времени были в общем ярки и увлекательны, хотя и надо делать скидку на то, что мы читали их в годы, когда все кажется ярче и лучше... Но такие книги, как «Страна семи трав», мы умеем оценить и теперь, как мастерство в рамках известного жанра и как источник удовольствия и способ провести приятно несколько часов для читателей по ту и по эту сторону железного занавеса.

*«Возрождение», рубрика «Среди книг и журналов», Париж, февраль 1955 г., № 38, с. 143–146.*

---

<sup>119</sup> Борис Константинович Фортунатов (псевд. Туров; 1886–1936) – политический и военный деятель, зоолог, писатель-фантаст. Эсер, участвовал в Февральской революции. В Гражданскую войну воевал в армии А. В. Колчака, затем перешел на сторону большевиков. С 1920-х гг. заведовал заповедником «Аскания-Нова». В 1934 арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности, отбывал наказание в лагере, в 1936 досрочно освобожден, но остался работать в лагере в качестве вольнонаемного и вскоре умер в лагерьной больнице.

<sup>120</sup> Владимир Евгеньевич Грушвицкий (псевд. Владимир Орловский; 1889–1942) – химик-фармацевт, писатель-фантаст. Заведующий кафедры неорганической химии Ленинградского фармацевтического института. Писал научно-фантастические романы, повести и рассказы. Умер в блокадном Ленинграде в 1942 от дистрофии.



## Новинки советской литературы

Когда нам, новым эмигрантам, случается читать свежие советские газеты и журналы, первое чувство, какое овладевает душой, это удивление, как мы вообще могли жить в той жуткой удушливой атмосфере, которую они отражают. Еще так мало лет прошло с тех пор, как мы были в СССР, и уже нам странно вновь представлять себе условия жизни, там царящие. Но и объективно, видимо, большевистская пресса пережила некоторый поворот к худшему. Словословие гениальному вождю, приветствия ему от всех мыслимых и немыслимых организаций, заполняют печатные органы страны победившего социализма почти сплошь.

В то же время, парадоксальным образом, художественная литература сильно улучшила свое качество и направление. Читая некоторые книги прямо трудно поверить, что они изданы при советской власти. Вот, перед нами отпечатанный Государственным Издательством детской литературы в Ленинграде, в 1952 году роман В. Яна<sup>121</sup> «Юность полководца», посвященный Александру Невскому. Только и можно сказать, что если бы такие произведения публиковались бы в свое время в Царской России, то, может быть, и революции бы не было. Нам, монархистам, надо бы постараться, чтобы молодежь, да и не только молодежь – за рубежом ее читала и изучала. Блестяще, художественно и правдиво в ней изображен наш национальный герой и святой, великий русский полководец. Показана вся прогрессивность и полезность для страны и народа единоличной монархической власти; строго осуждены все республиканские и конституционные устремления в среде тогдашних новгородцев и убедительно объяснено, как все противники монархии в России, вольно или невольно, скатываются, в конце концов, к предательству интересов отечества.

Мы видим в романе князя, живущего только для родной земли, орлиным взглядом охватывающего все ее нужды и потребности, не только нынешние, но и будущие, и стойко за них борющегося. Вокруг него – верная дружина, отдающая за него жизнь, ибо князь – залог свободы и мощи Руси. И далее под ними народ, любящий своего защитника и выражающий свое о нем мнение так: «Сокол ты наш ясный! Никуда не уходи! Пропадем мы без тебя, родимый!»

Но военных и земледельцев мало для жизни России. И вот, всегда, когда надо, князю помогают советом и трудом люди, которых В. Ян рисует совсем в стиле профессора Б. Ширяева: тогдашняя русская интеллигенция. Здесь и учитель князя, иеромонах Варсонофий, и мудрый его советник, летописец отец Пафнутий, и горячий публицист Даниил Заточник.

Мы решительно убеждены, что, если возродится когда-нибудь Православная Самодержавная Россия, книга Яна будет рекомендована для чтения во всех школьных библиотеках. И не только она одна. Многие другие произведения, только что увидевшие свет в Советском Союзе, не меньше нас порадовали и дали нам больше радости, чем все публикуемое в эмиграции. К их числу принадлежит роман Николая Задорнова<sup>122</sup> «Амур-Батюшка» (Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая Гвардия», Ленинград, 1960).

Это – история группы русских переселенцев в Сибирь во второй половине XIX века. И это такой яркий гимн русскому народу, какого мы никогда до сих пор не встречали, и который мы прочли с горячим чувством национальной гордости. Настоящего величия полон этот эпически спокойный, почти сухой рассказ о повседневном труде русского крестьянина, который в упорной борьбе с природой дарит своему правительству цветущую область, еще недавно

---

<sup>121</sup> Василий Григорьевич Янчевецкий (псевд. Ян; 1874–1954) – писатель, журналист. В 1918–1919 работал в походной типографии армии Колчака в Сибири. После установления советской власти жил в Средней Азии, работал экономистом, учителем, директором школы, редактором газеты. Вернувшись в Москву в 1928, стал писать исторические повести и рассказы, завоевавшие популярность.

<sup>122</sup> Николай Павлович Задорнов (1909–1992) – писатель. Заслуженный деятель культуры Латвийской ССР, лауреат Сталинской премии. Автор популярных исторических романов об освоении Сибири и Дальнего Востока.

бывшую глухой пустыней. «Какая она, эта самая Расея?» – спрашивает у новоприбывших сибиряк. – «Даст Бог, и тут леса порубим, землю запашем, тоже Расею сделаем – поглядишь тогда», – отвечают те.

Рассказы о переселенцах вы найдете и у иностранцев, хотя бы у Купера. Но «Амур-Батюшка» эпопея не только воли и терпения крестьянина, нет, он еще больше говорит о другой его, высшей, силе: о живущем у него в душе стремлении к правде и справедливости. Мужики из Пермской губернии встречаются на новых местах с невиданными народами; сперва с китайцами, потом и с гольдами и тунгусами. Как они на них смотрят?

Переселенцы плывут по Амуру: «Кое-где виднелись пашни. Крестьяне-китайцы подходили к плотам, кланялись вежливо, приносили овощи, бобы, лепешки, показывали знаками, что русские плывут далеко, что у них малые дети и что путникам надо помогать. Это было понятно и глубоко трогало крестьян. Егор ходил в деревню смотреть, как живут китайцы. “Такие же люди” – сказал он, воротясь...»

И потом крестьяне, не колеблясь, принимают в свою общину беглеца-китайца, пришедшего в Россию искать лучшей жизни.

На берегах Амура водворяются русские земледельцы среди охотников и рыбаков гольдов. Не обходится на первых порах без столкновений. Но уже скоро между новоселами и туземцами воцаряются дружеские отношения. Как-то само собою русские начинают учить гольдов всему, что знают сами: как пахать землю, как лечить больных, и прибывшие из города чиновники, воспитанные в европейском духе, дивятся на этот странный союз.

«А гольды, видимо, действительно вымрут и с этим приходится мириться» – рассуждает либерально и оппозиционно к правительству настроенный чиновник Петр Кузьмич Бердышов (по вине которого, между прочим, крестьяне в первую самую тяжелую зиму на новых местах остались безо всякой помощи).

«Ведь так было в Северной Америке, и везде, куда приходил белый человек». Но русские, хотя и белые люди, видно во многом отличаются от европейцев по своей психологии и приемам.

На ту же тему один из персонажей Иван Бердышов рассказывает об американцах: «Вот мы с гольдами живем, а они говорят, что на нашем бы месте давно их перестреляли... У них большое убийство дикарей идет в теплых странах...» Однако, русские колонисты смотрят на дело иначе. Одного из них, Тереху Бормотова, исправник спрашивает, как это он дружит с инородцем: ведь они язычники? – «Все Божьи!» – отвечает Тереха, выражая вековое воззрение русского народа.

Другой переселенец (главный герой романа), Егор Кузнецов, когда сталкивается с фактом, что китайские купцы жестоко эксплуатируют мирных охотников гольдов, не рассуждая, инстинктивно кидается их защищать. Китаец-купец Гао-Да-Пу забрал за долги девушку у отца; Кузнецов с дракой ее освобождает и заботится о ее дальнейшей безопасности. Остальные мужики, узнав про это дело, с некоторым ужасом смотрят на поступок китайца: один из них, которому Гао-Да-Пу бесплатно предложил муки в тяжелый год, говорит: «Зачем брать от злодея?»

Несколько лет – и нивы покрывают берега Амура; богатые, счастливые деревни поднялись среди девственного леса... Чего первым делом хочет русский человек, когда стал на ноги? Открывается церковь – и прислужник в этой церкви, главный помощник батюшки – молодой гольд Айдамбо, сам захотевший «стать русским» и миссионерствующий среди своих земляков. О священнике один из чиновников говорит: «А вы знаете, что этот поп-конквистадор составляет грамматику гольдского языка?» – а другой отзывается: «Да, он грамотный и любознательный человек...» В самом начале романа мы видим, как он приезжает на собаках к едва устроившимся в первой своей землянке новоселам в самую таежную глушь, и с ними не только беседует о божественном, но и дает им массу деловых практических советов, как опытный

бывалый сибиряк и таежник. Почти пророчески он говорит Егору Кузнецову, услышав его имя: «В честь Св. Георгия Победоносца!»

Всем, кто имеет случай, советуем прочесть этот роман. Приятно прочесть о русской удали, русской силе, русском мужестве, а больше всего – о русской доброте. Всюду мы видим верный образ нашего родного размаха, нашего национального характера: и в терпении крестьянина Егора Кузнецова, и в залихватской энергии купца Ваньки Бердышова, из рядового зверолова делающегося воротилой, владельцем собственного парохода.

Надо только, читая, помнить, что автор писал под советским гнетом. Исключительно этим, вероятно, объясняются два-три маленьких отрывка, где ни к селу, ни к городу, безо всякой связи с сюжетом, отдельные персонажи (только интеллигенты, никогда крестьяне) произносят краткие тирады о том, что освоение Сибири «может совершиться только после свержения самодержавия в России, когда власть будет принадлежать народу». Это только слова, да и правда – из песни слова не выкинешь, – что некоторые интеллигенты так рассуждали, факты же, ясно изображенные автором на всем протяжении романа, свидетельствуют о том, что Сибирь могла расцвести и расцвела при царском правительстве – и каких бы успехов она достигла, вместе со всей Россией, если бы не революция!

*«Наша страна», Буэнос-Айрес, 8 ноября 1952 г., № 147, с. 6.*

## **Н. Задорнов. «Амур-батюшка» (Москва, 2008)**

В Москве переиздан огромным томом в 1080 страниц старый роман, написанный в 1940 году, и который мы тогда же читали.

Он посвящен освоению Дальнего Востока русскими переселенцами, их отношениям с местными туземцами и с китайцами, тяжелым трудностям, какие им пришлось переживать и их быстрым успехам.

Роман почему-то сильно переработан: мы в нем не встречаем многих мест, первоначально врезавшихся нам в память.

Кроме того, он сильно увеличен в размере, и мы бы не сказали, что удачно: создается некоторая растянутость и повторы.

Добавлено и продолжение, «Золотая лихорадка», интересное по теме (о золотых приисках), но более слабое по форме, чем сам роман.

Николай Павлович Задорнов известен нам и другими своими книгами о Сибири и об Японии, в которых он воспекает подвиги русских моряков дореволюционных времен, как капитан Невельской и адмирал Путятин, и их соратников на различных постах.

Как сам Задорнов комментирует, его творчество составляет собственно один громадный роман о продвижении России на Восток и ее титанических достижениях прошлых веков.

*«Наша страна», рубрика «Библиография», Буэнос-Айрес, 9 мая 2009 г., № 2867, с. 2.*

## Леонид Соболев «Морская душа» (Москва, 1955 г.)

Когда-то, за несколько лет перед войной, роман Леонида Соболева<sup>123</sup> «Капитальный ремонт», только что вышедший в свет в СССР, имел огромный успех. Он рисовал быт офицеров царского флота: пропагандный элемент был в нем, в общем, сведен до минимума, а великолепный язык, каким советский читатель, особенно в то время, не был избалован, вызывал всеобщий восторг. С нетерпением ждали второй части, которая так и не появилась...

Вспоминая об этом, мы с интересом открыли «Морскую душу». – Какое разочарование! Сплошная агитация, оставляющая после первых же страниц, не рассеивающееся до конца, чувство гадливости. Талант, несомненно, у Соболева большой, задохся в большевистских условиях; нет, – грустнее того, – он этот талант сам задушил, слишком угодливо поставив его на службу советской власти со всей ее гнусностью.

Ведь, так восхвалять коммунистическую клоаку, как Соболев, мало кто восхваляет. Вплоть до превознесения чекистов и комиссаров...

И от этого беспардонного подхалимажа и приспособленчества художественный уровень рассказов в этом сборнике так низко упал, что они являются, по сути дела, просто талантливыми газетными статьями.

Не вырывают ни юмор, ни литературная грамотность, ни хорошее знание морского дела... Последнее иногда даже вредит: читатель устает разбираться в технических деталях. Психологическая же неправда, увы, так и выпирает на каждой странице. Дело в том, что герои Соболева не русские люди с их типическими, хорошо всем нам знакомыми чертами, а «советские» люди. Не помогают мелочи вроде указания, откуда кто родом, и из какой среды. Эти матросы, офицеры, летчики – прежде всего, комсомольцы, всем сердцем преданные советскому режиму. И потому они носят странно абстрактный и нереальный характер, особенно, когда автор пытается их представить типичными, частью среды. Дело в том, что такой среды в России нет. Если такие твердокаменные большевики и были, то это уже некий плюсквамперфект, давно прошедшая эпоха. Нынешняя подсоветская молодежь совсем не такова. И многие советские же авторы уже давали нам куда более правдоподобное ее изображение.

Отметим еще одну деталь. Когда читаешь эти рассказы все подряд, начинает смутно казаться, что в них есть какой-то фон извращенности. Какой-то налет, смутно напоминающий Оскара Уайльда – не по его таланту и стилю, конечно, но по тому элементу декаданса, который типичен для его творчества. Это очень курьезно найти в соединении с навязчивой советской агиткой, и мы упоминаем об этом в скобках. Но интересно, наше ли это только индивидуальное и случайное впечатление, или и другие читатели «Морской души» чувствуют тот же, скрытый в ее глубине, тлетворный дух?

*«Возрождение», Париж, февраль 1956 г., № 50, с. 148–149.*

---

<sup>123</sup> Леонид Сергеевич Соболев (1898–1971) – писатель и журналист. Председатель правления Союза Писателей РСФСР.

## Уроки истории

Роман К. Бадигина<sup>124</sup> «Путь на Грумант» интересен и потому, что вышел в свет довольно недавно, в 1953 году, и потому, что предназначен для молодежи. По своему жанру он принадлежит к новому, недавно созданному типу, но не стоит изолированно. Ближе всего он схож с серией романов Задорнова («Амур-Батюшка», «Далекий край» и другие). Можно подметить у Бадигина и у Задорнова следующие общие черты: 1) Действие происходит в прошлом – у Задорнова в первой половине XIX века, у Бадигина в начале XVII века с многократными экскурсами в XVI век и еще более далекие времена; 2) Там и тут показано постепенное расширение пределов России – у Задорнова заселение амурского края, у Бадигина продвижение поморов на север вплоть до Шпицбергена; 3) На первом плане находятся люди из народа, в одном случае переселенцы из России в Сибирь, в другом ее верные рыбаки. Если искать литературных аналогий, Задорнова можно сравнить скорее с Фенимором Купером, Бадигина с Жюль Верном и отчасти Майн Ридом. В общем, по таланту, интересу фабулы и живописи изложения Бадигин далеко уступает Задорнову; тем не менее «Путь на Грумант» и приложенный к нему исторический очерк стоит прочесть.

Типично для новых тенденций в советской литературе, что автор гораздо сильнее, чем его предшественник, подчеркивает отрицательное отношение к иностранцам, точнее западноевропейцам, роль которых в данном романе выполняют англичане и скандинавы. Всюду, где они появляются на сцену, разоблачаются их жестокость, хищнический характер, коварство и надменное презрение к русским. Им противопоставлены поморы, простые, добрые, строго честные, весь быт которых пропитан чувством долга и верным товариществом. Нельзя сказать, что то или другое положение нежизненно; еще более справедливы приводимые в книге исторические факты. Однако чувство ксенофобии, в некоторой мере содержащееся здесь, совершенно необычно для русской литературы и может свидетельствовать о двух вещах: сдвигах в народном сознании под влиянием борьбы с Германией и странной послевоенной тактики демократических государств (выдача власовцев, ставка на расчленение России, антирусские выступления) и о подготовке советским правительством войны.

Если в этом пункте видеть некоторые преувеличения, то трудно было бы отрицать справедливость той гордости и любви, с какой Бадигин показывает заслуги русских поморов в области географических открытий и развития морской техники. Картина проникновения их все дальше на север со времен вольного Новгорода, описание их быта, их приспособления к тяжелым полярным условиям бесспорно ценны и вероятно окажут на детей и молодежь, которые будут читать роман, вполне полезное влияние. Общая мысль показать, что Россия, идя своим путем, не только не отставала от запада, но во многом перегоняла его (суда русских рыбаков были быстрее скандинавских, проникали дальше на север, были лучше приспособлены к плаванию среди льдов), что в русском народе во многих областях хранилась достаточно высокая техническая культура (пользование морскими инструментами и производство вычислений), что наши северяне с небывалой точностью изучили и охарактеризовали полярные естественные явления (автор напоминает, например, множество терминов в их языке для описания различных состояний льда, частично вошедших в литературную и научную речь – «торос», «шуга», «сало» и т. д.). Все это странным образом напоминает многие высказывания И. Л. Солоневича. Но для большевиков подобная линия небезопасна: идя до конца, придется признать, что русский народ, со всеми его драгоценными свойствами, выработал себе идеологию,

---

<sup>124</sup> Константин Сергеевич Бадигин (1910–1984) – писатель, моряк. В 1938–1940 капитан ледокола «Георгий Седов». Герой Советского Союза (1940). Командир ледокольного отряда Беломорской флотилии в 1941–1943. Автор популярных исторических приключенческих романов и повестей.

всю основанную на православии и самодержавии – а тогда, напрашивается вопрос, к чему же, собственно советская власть?

Прежняя система большевиков, которую, помню, меня угощали в школе, была гораздо логичнее; там все начиналось с 1918 года, до которого, де, в России царили тьма и эксплуатация. Теперь же, рассказывая правду, или, по крайней мере, значительную часть правды о русской истории они все сильнее вызывают чувства, что России следовало идти прежним своим путем, и все начиная с 1918-го – кровавое, трагическое недоразумение.

Переоценке подверглись у большевиков даже такие явления, где от них всего труднее ждать объективности. Курьезным образом, многие их утверждения сейчас ближе к истине, чем теории зарубежной левой части интеллигенции, продолжающей по привычке охаивать наше прошлое. Например, если зарубежные либералы боготворят декабристов, советские историки о них говорят весьма прохладно, часто подчеркивая нереальность их планов, их одиночество, узость их классовых интересов. Вряд ли они даже не более правы, чем многие правые из эмиграции, слишком строгие к этим наивным и беспомощным заговорщикам; вряд ли у них можно отнимать идеализм и искренность, хотя и направленные по нелепейшему руслу. Свидетельством их подлинных мыслей и того внутреннего краха, какой они пережили после разгрома, остаются многие их высказывания; напомним здесь такой чрезвычайно типичный отрывок из письма декабриста князя Александра Ивановича Одоевского, из крепости, где он сидел под арестом: «Русский человек – все русский человек; мужик ли, дворянин ли, несмотря на разницу воспитания – все то же! Пока древние наши нравы, всасываемые с молоком (особенно при почтенных родителях); пока вера во Христа и верность Государю его одушевляют – то он храбр, как шпага, тверд, как камень; он опирается о плечи 50 миллионов людей; единомыслие 50 миллионов его поддерживает; но если он сбился с законной колеи, то у него душа – как тряпка. Я это испытал...»

Вспомним и Рылеева с его пафосом «святой Руси», с его «Ермаком» и «Сусанином».

Опереться на традицию – заманчиво, но и опасно. Это по-настоящему возможно лишь для тех, кто этой традиции верен. Большевики же пытаются использовать ее с обманной целью, и рискуют, что она в их руках взорвется, как бомба при неосторожном обращении. Напоминая народу о прошлом – что с удовольствием делают десятки писателей вот уже лет десять, с самого начала войны, – советская власть ведет игру чреватую опасностями. Героические образы Александра Невского у В. Яна, Андрея Боголюбского у Георгия Блока<sup>125</sup>, Дмитрия Донского у С. Бородин<sup>126</sup> неизбежно говорят в пользу системы, при которой такие люди рождались и правили. А сравнение с тем, что эту систему сменило, может лишь вызвать у двухсотмиллионного народа желание, чтобы те золотые времена вернулись снова... Даст Бог, так скоро и будет.

*«Наша страна», Буэнос-Айрес, 6 марта 1954 г., № 216, с. 3.*

---

<sup>125</sup> Георгий Петрович Блок (1888–1962) – литературовед, писатель, переводчик. Двоюродный брат А. А. Блока. Автор исторической повести для детей «Московляне».

<sup>126</sup> Сергей Петрович Бородин (1902–1974) – писатель. Автор популярных исторических романов, включая «Дмитрий Донской», трилогию «Звезды над Самаркандом».

## Советский роман об Египте

Роман И. Ефремова<sup>127</sup> «Путешествие Баурджеда» («Молодая Гвардия, 1953) относится к тому периоду «литературного нэпа», который сейчас, видимо, сменяется новым закручиванием гаек, и интересен, как одна из редких за последнее время попыток советских авторов писать об истории не русской, но иностранной, да еще столь отдаленной эпохи. Автор все же неправ, утверждая в предисловии, что «В нашей литературе совершенно отсутствуют произведения, посвященные столь древним эпохам истории, и молодому читателю нет возможности познакомиться с ними иначе, как по специальным работам». Не говоря уже о романах Мережковского<sup>128</sup>, написанных в эмиграции и неизвестных в СССР, или о сочинениях Кржижановской, исторический элемент которых более чем сомнителен, в России широко были распространены переводы романов Эберса<sup>129</sup> из египетской жизни («Уарда», «Невеста Нила») и изданный уже при Советах роман Болеслава Пруса<sup>130</sup> «Фараон».

«Путешествие Баурджеда» производит сперва довольно тусклое впечатление, так как именно в первых главах назойливо подчеркиваются любезные большевистскому сердцу элементы «классового угнетения». Дальше, однако, действие становится интересным, даже захватывающим, и читатель с вниманием следит за борьбой жрецов Ра и жрецов Тота, в которой погибает молодой фараон Джедефра, стремившийся путем смелых реформ улучшить жизнь своего народа.

Центром повествования является путешествие сановника Баурджеда вдоль берегов Африки, предпринятое по поручению фараона в поисках богатств далеких земель. Картина трудов и мужества мореплавателей дана в героических тонах, и может увлечь молодежь, для которой книга написана.

В романе борются две струи, две разные линии. За счет автора мы относим те места, где загадочная, странная жизнь древнего Египта оживает в красочных описаниях с налетом романтической жути и мистики – изображение храма Джосера и расшифровка завещания фараона, убийство Джедефры, жизнь в подземном храме Тота, – и те, где описаны титанические усилия моряков в борьбе с бурями, жаждой, жарой, их верность долгу на службе фараону. За счет социального заказа – производящие впечатление топорности и недоделанности главы в начале и конце романа, имеющие целью показать «революционные настроения угнетенных масс» или что-то в этом роде. Было бы нелепо изображать Древний Египет неким социальным раем; но марксистские методы всегда неуклонно ведут к фальсификации истории вместо объективного исследования фактов; остается выразить сочувствие подсоветским писателям, принужденным идти по этому пути, – и за ними не следовать.

*«Возрождение», рубрика «Среди книг, газет и журналов», Париж, июнь 1955 г., № 42, с. 172-173.*

---

<sup>127</sup> Иван Антонович Ефремов (1908–1972) – писатель-фантаст, палеонтолог.

<sup>128</sup> Дмитрий Сергеевич Мережковский (1865–1941) – писатель, поэт, литературный критик, общественный деятель. Один из основателей русского символизма и жанра историософского романа.

<sup>129</sup> Георг Мориц Эберс (Georg Moritz Ebers; 1837–1898) – немецкий ученый-египтолог и писатель. Совершил научные экспедиции в Египет, по результатам которых опубликовал несколько фундаментальных научных трудов. Написал 12 романов, popularизирующих историю Древнего Египта, а также романы об европейской истории XVI в.

<sup>130</sup> Болеслав Прус (Boleslaw Prus; наст. имя Александр Гловацкий; 1847–1912) – польский писатель, журналист. Опубликовал большое количество хроник, фельетонов, рассказов. Написал несколько социально-психологических романов, из которых наиболее известен роман «Кукла», а также исторический роман «Фараон».



## Мост в пустоту

Роман И. Ефремова «Лезвие бритвы» (большой том в 640 страниц), выпущенный в Москве в 1964 году, принадлежит к жанру научной фантастики с приключенческим уклоном, с действием в России, в Африке и в Индии, с похищениями, убийствами, шпионажем, любовной интригой и всем, чем полагается. В данных рамках его бы можно одобрить (и уж верно публике он доставил удовольствие...); хотя не все нити фабулы находят в конце свое завершение; может быть, автор рассчитывал дать продолжение? Или его сочинение подверглось сокращению? Притом, нужно признать, что персонажи не имеют лица и характера, делясь на героев и злодеев, с одинаковым в общем языком и с достаточно трафаретным поведением.

Хуже гораздо то, что книга переполнена философскими рассуждениями (сильно ее отягощающими), – и они стоят на весьма невысоком уровне, и в моральном, и в культурном отношении. Мы бы охотно извинили автора соцзаказом; да трудно! Слишком он много пыла в них вкладывал...

Главный пункт в его диалектике – яростное отрицание христианства, при особых напаках на католичество, за якобы принижение женщины и презрение к ней. Однако, как принято выражаться в английском парламенте, сии утверждения не только не соответствуют истине, но и прямо ей противоположны. Общеизвестна роль культа Богородицы у христиан, и в первую очередь как раз у католиков (которых протестанты обвиняли именно в том, что у них Мадонна затмевает самого Христа). Обличая же Инквизицию, и специально преследование ведьм, Ефремов упорно относит их к Средневековью, тогда как эти явления принадлежат целиком эпохе Возрождения. Добавим, что он тут, в основном, некритически повторяет устарелые и надуманные построения французского историка Мишле<sup>131</sup>. В реальности, ведьмы, в своем большинстве, отнюдь не были безгрешными мученицами: они оказывались виновны, почти всегда, в подлинных, по тем временам считавшихся тяжелыми преступлениях, как устройство абортов, детоубийство, отравление (с целью устранения обременительных жен или мужей, либо отправления на тот свет богатых родственников, на предмет наследования).

Отметая христианство и христианскую мораль, – причем он настойчиво подчеркивает, что, мол, они, наравне с исламом, суть порождения еврейского духа, – писатель гораздо снисходительнее смотрит на индуизм; но и тот он желал бы «очистить» ото всего духовного и потустороннего. Принципы же религиозной нравственности он предлагает заменить лаической моралью, в которой чуть ли не на первом месте он ставит культ человеческого тела. К сожалению, этот безобидный, казалось бы, хотя и неглубокий культ присущ, как мы наблюдаем, и фашизму, и коммунизму, обоим в равной степени, и входит в общую схему тоталитаризма, с коим хорошо мирится и увязывается. Лаическая же мораль держится, как правило, пока у людей свежи осознанные или неосознанные пережитки морали религиозной. Потом же... мы видели, к каким нравам привели безбожные режимы в Германии и в России! Лучше не надо...

Для развлечения разобранный нами роман годится; научить же он не может ничему.

*«Наша страна», рубрика «Среди книг», Буэнос-Айрес, 1 февраля 1986 г., № 1853, с. 3.*

---

<sup>131</sup> Жюль Мишле (Jules Michelet; 1798–1874) – французский историк и публицист. Автор философских и исторических работ, 6-томной истории Франции.

## Преступники и герои

Подсоветский писатель Ю. Давыдов<sup>132</sup> специализировался на романах, построенных на биографиях русских революционеров. Мы уже упоминали его книгу «Глухая пора листопада». Как бы продолжением к ней служат «Две связки писем» (Москва, 1983), рисующие жизнь Германа Лопатина, друга Маркса и Энгельса, первого переводчика «Капитала», члена Генерального Совета Интернационала, проводившего долгие годы в Шлиссельбургской крепости.

Автор старается внушить нам симпатию ко своему персонажу; но она не возникает. Даровитый, смелый и энергичный авантюрист, не жалевший ни себя, ни других, во имя служения глубоко ложным и гибельным идеалам, вызывает вовсе иные чувства. А уж его воинствующий атеизм и совсем противен; нам, здесь, и вероятно еще больше в СССР, где люди активно борются и страдают за веру.

Появляются на сцену и другие фигуры: Лавров<sup>133</sup>, Нечаев<sup>134</sup>, Чернышевский (и на заднем плане Герцен, Бакунин<sup>135</sup>, Маркс с семейством). Невольножимаешь плечами: зачем эти люди творили (порою, самопожертвенно!) зло, обрушившееся потом на наши головы, на следовавшие за ними поколения?

Впрочем, не будем торопиться осуждать сочинителя. У него же представлены очень симпатичные лица, принадлежащие к иному стану: сибирский генерал-губернатор Синельников<sup>136</sup>, Тихомиров (после своего обращения от социализма к монархизму), Леонтьев, княгиня Дондукова-Корсакова<sup>137</sup>. Формально он от них отмежевывается; но сомневаешься, искренне ли? На деле, они-то и суть подлинные герои, деятели правильной мысли и проводники в жизнь истинного добра.

Наоборот, ужасны страницы, где Давыдов с сочувствием описывает Боевую организацию эсеров, осуществлявшую террористические акты! Для него убийства губернаторов, министров, членов царского дома – подвиги; а когда виновных за это казнят, – он проливает горькие слезы и зовет нас плакать вместе с ним. Увы, наказание фанатиков, хотя бы и движимых бескорыстными побуждениями, было необходимым и справедливым. Правительство должно было от них защищаться, – и когда оно пало в борьбе, – неслыханные несчастья посыпались на Россию; и через нее, ставшую орудием нечистых сил, затрагивает теперь все больше другие государства.

Отметим один комический эпизод. Лавров систематически отучал себя от упоминаний о Творце, даже в установившихся фразах вроде «Слава Богу!» или «Не дай Бог!»; но нередко чертыхался. Лопатин ему заметил однажды, что материалисты существование черта, мол, тоже не признают. Но от этого уж Лаврову никак не удалось отвыкнуть, и дьявола он призывал постоянно. Своего рода символ: отойдя от Господа, все эти безумцы предали Сатане, и попали навек в его когти.

---

<sup>132</sup> Юрий Владимирович Давыдов (1924–2002) – писатель. Секретарь Союза писателей Москвы (1991–1995).

<sup>133</sup> Петр Лаврович Лавров (1823–1900) – философ, публицист, историк. Один из идеологов народничества. Автор так называемой «Рабочей Марсельезы» – русской революционной песни на мелодию французского гимна («Отречемся от старого мира»).

<sup>134</sup> Сергей Геннадьевич Нечаев (1847–1882) – нигилист и революционер. Автор «Катехизиса революционера». Осужден за убийство студента А. Иванова. Умер в заключении. Послужил прототипом Петра Верховенского в романе Ф. М. Достоевского «Бесы».

<sup>135</sup> Михаил Александрович Бакунин (1814–1876) – революционер. Один из главных теоретиков анархизма.

<sup>136</sup> Николай Петрович Синельников (1805–1892) – военный и политический деятель. Губернатор Владимирской, Волынской, Московской и Воронежской губерний. Генерал-губернатор Восточной Сибири.

<sup>137</sup> Мария Михайловна Дондукова-Корсакова, княжна (1827–1909) – русская благотворительница. Во время Крымской войны организовала полевые госпитали. Посещала узников Шлиссельбургской крепости и способствовала строительству церкви в крепости.

Кое в каких деталях, Давыдов расходится с довольно надежными источниками, быть может, ему и незнакомыми; например, об Азефе<sup>138</sup> – вряд ли он читал воспоминания генерала Герасимова. Удивляет тоже его слово об А. Амфитеатрове<sup>139</sup>, которого он считает писателем-документалистом, чуждым вымысла и фантазии. Это об авторе-то вещей как «Жар-цвет», «Древо жизни», «Сатанисты» и целой кучи романов с напряженным и запутанным действием!

Уж его-то Давыдов определенно не читал и не знает...

*«Наша страна», рубрика «Среди книг», Буэнос-Айрес, 26 декабря 1987 г., № 1952, с. 3.*

---

<sup>138</sup> Евно Фишелевич Азеф (1869–1918) – революционер и провокатор, один из руководителей партии эсеров и одновременно секретный сотрудник Департамента полиции. Организовал и провел ряд терактов, в том числе убийство Великого князя Сергея Александровича, и в то же время выдал полиции многих террористов.

<sup>139</sup> Александр Валентинович Амфитеатров (1862–1938) – писатель, публицист, журналист, драматург и театральный критик. С 1922 в эмиграции в Праге, затем в Италии.

## Проклятое прошлое

В прекрасном историческом романе Д. Балашова<sup>140</sup> «Святая Русь» (Москва, 2007) мы встречаем следующие мысли:

«И вот тут скажем горькую истину, которую очень не хочется понимать нам нынешним. Что красивое понятие “народ” – глас народа, глас Божий, воля масс или того еще превосходнее – “воля миллионов”, от имени которой выступают разнообразные кланы и партии – не более чем миф, и, возможно, один из самых вредных мифов двадцатого века. Где эта безликая или миллионоликая, что то же самое, сила, когда кучка вооруженных мерзавцев в огромной стране год за годом хватает, убивает, насилует, грабит, расстреливает и ссылает многие сотни тысяч ни в чем не повинных людей, более того, офицеров армии, то есть людей дисциплинированных и вооруженных, способных, как кажется, к отпору, и не оказывающих между тем никакого сопротивления? И это день за днем, год за годом, едва ли не до полного истребления нации! Невозможно такое? Увы! Именно двадцатый век и именно наша страна в большей мере, чем другие, доказали, что это возможно...»

Автор в краткой и исчерпывающей форме выразил тут сущность большевизма, то есть коммунизма у власти, режима царившего десятки лет в России.

Слава Богу, он рухнул! Но не изумительно ли, что многие о нем вспоминают с сожалением и, дай им волю, желали бы его возврата?

*«Наша страна», рубрика «Миражи современности», Буэнос-Айрес, 8 января 2011 г., № 2907, с. 1.*

---

<sup>140</sup> Дмитрий Михайлович Балашов (1927–2000) – писатель, филолог, общественный деятель. Автор научных сборников и исторических романов. Наиболее известен цикл из 10 романов «Государи Московские» – историческая эпопея жизни Руси XIII–XV вв.

## А. Рыбаков. «Дети Арбата» (Москва, 1987)

Роман имеет огромный успех в России. Зарубежные диссиденты, наоборот, осыпают его бранью в «Русской Мысли» и в «Стране и Мире». Похоже, им бы хотелось, чтобы после их отъезда в СССР больше не было писателей!

Обвинения их во многом натянуты. Автор-де креатура Горбачева. Но и Солженицын пользовался хрущевской оттепелью, и кому же приходит в голову его за то упрекать! Возможно, и Рыбаков так же действует. Во всяком случае, книга его, – не на пользу советской власти в целом. А портрет Сталина полезно дополняет солженицынский. Особенно подчеркнута капризность этого восточного деспота, в силу коей никто из его окружения не мог за себя быть ни на миг спокоен.

Ругают слог Рыбакова, – зачем не модернистский и т. п. Но допустимо ли жаловаться, что Достоевский писал не так, как Лев Толстой, а Чехов и еще по-своему? У всякого писателя своя манера и свои задачи...

Речь идет про знакомое мне время. Хотя я был еще школьником в младших классах в годы, когда Саша Панкратов и его товарищи учились уже в вузах, а Варенька кончала девятилетку. Но если та пора мне понятна, то вот психология героев глубоко чужда. Ни я, ни моя семья, ни мои друзья детства никак не разделяли веры в большевизм или преданности новому строю, составляющими сущность мировоззрения большинства персонажей «Детей Арбата».

Положим, таких вот комсомольцев-активистов, распилавшихся за коммунизм, стремившихся перевести любой разговор на политику, мы тщательно избегали, и в свой круг не допускали. Встречать-то подобных, и в школьные и потом в институтские годы случалось, и подставить их имена вместо выведенных Рыбаковым фигур мне бы нетрудно.

Впрочем, в университете мне больше доводилось видеть комсомольцев уже иного типа, которые в откровенных беседах признавались, что комсомол для них только необходимое средство выжить и сделать карьеру.

Более мне близки Юра Шарок и его родители, рассуждающие так, что пусть большевики жрут друг друга, и чем больше, тем лучше! Но они даны в отрицательном свете, и, кроме того, представлены как принадлежащие к самым низким, серым слоям общества. На деле-то было скорее иначе: из таких вербовались сторонники советского режима.

С другой стороны, семья Марасевичей, интеллигентная, дворянская по происхождению, но старающаяся ладить с политической системой, какова бы она ни была, – тоже тип, который приходилось наблюдать нередко. Все это – неизбежная фауна обстановки принуждения и порабощения, куда была погружена Россия с первых сталинских лет (и даже раньше; но при нем пресс сразу стал давить гораздо сильнее прежнего). Мы имеем пока дело с первой частью. Весьма любопытно, как судьбы действующих лиц развернутся дальше. Уже у нас на глазах, у некоторых из них сознание проявляется: мать Саши Панкратова, после его ареста и ссылки в Сибирь, большевицкому строю сочувствовать перестала.

Наоборот, его дядя, Марк Рязанов, технократ и партиец, предпочитает думать, что племянник, раз пострадал, то значит, – и виноват. Но он сам, хотя того не знает, явно движется к той же самой участи. Посмотрим, как он будет рассуждать, попав в лапы чекистов...

Книга, во всяком случае, интересна со многих точек зрения, и принадлежит к числу наиболее значительных из опубликованных в Советском Союзе в течение последних лет.

*«Наша страна», рубрика «Библиография», Буэнос-Айрес, 26 марта 1988 г., № 1965, с. 4.*

## Кровь вопиет к небу

Приходится слышать голоса, – в частности, по поводу «Детей Арбата» А. Рыбакова, – что, мол, разоблачения сталинских зверств идут объективно на пользу советской власти, поскольку та претендует, что якобы сумела с ними покончить. Навряд ли с этим можно согласиться.

Оно, конечно, официальная печать и все, продолжающие, – с умыслом или просто ради перестраховки, – говорить на деревянном языке, именно так дело и представляют. Но много ли найдется советских граждан, достаточно наивных, чтобы им поверить?

Люди, и самые простые и, тем более еще, образованные, тоже имеют голову на плечах и уже привыкли разбираться в происходящем. И, про себя, если еще не вслух, приходят к вовсе иным выводам.

Если большевицкий режим примерно в течение двух третей своего существования был основан на культе личности, если он данный культ породил и лет 25 практиковал, – то как же снять с него ответственность за творившееся в те годы?

Да и попытки идеализировать Ленина мало кого убеждают, полагаем. Беспощадные анекдоты про Ильича, широко циркулирующие в массах, а равно и про Чапая, в котором народ воплотил образ «революционного героя» времен гражданской войны и военного коммунизма, ясно о том свидетельствуют. Думать, будто население СССР столь уж глубоко признательно кремлевскому мечтателю за НЭП, вроде бы и не стоит: Новая экономическая политика, общеизвестно, была временной, вынужденной уступкой, а не коренным каким-либо поворотом в программе компартии. Впрочем, и все обаяние-то НЭПа состояло в том лишь, что он явился просветом и передышкой после военного коммунизма. А уж что сей последний собою представлял, – довольно почитать, кто забыл или не знает, «Думу про Опанаса» Э. Багрицкого; хотя в ней поэт и идеализирует комиссара Когана.

Существует в подсоветской России такой вот анекдот. Уговаривают цыгана подписаться на заем, а он увиливает. Задают ему тогда традиционный и провокационный вопрос: «Разве ты не хочешь помочь советской власти?», а он и отвечает: «Кому же нужна власть, которая у цыгана займы деньги просит?»

Ну а кому нужна власть, настолько вымазанная в российской крови, как нынешняя? Да она и не пробует отмыться, а только прячет кое-как красные пятна на своих руках и одеждах... Неизмеримо зло, которое она понаделала. Тогда как добро... добра она никакого не принесла; и если кто в него верил или его в будущем ждал, то давно разуверились. Большевикам бы надо выйти на площадь и каяться: «Простите, люди добрые, за наши преступления и заблуждения!» И уж, конечно, незамедлительно отойти от правления и бразды его передать в более чистые и более умелые руки, чем их собственные.

Пока же мы присутствуем при комедии, хотя и иного рода, чем в эпоху Иосифа Виссарионовича, но не менее лживой. Куски правды в ней лишь оттеняют и подчеркивают фальшивость остального.

Возьмем, к примеру, три рассказа покойного В. Тендрякова<sup>141</sup> в «Новом Мире», № 3 от с. г. Писатель последовательно рисует нам следующие картины:

1. Еще до раскулачивания, проводят в одной деревне опыт: отбирают у более зажиточных крестьян дома и отдают их самым бедным (а бывшим хозяевам взамен – жалкие халупы, которые эти последние оставляют). И сразу же бедняк, попав в благоустроенное жилище исправного середняка, сдирает и продает железо с крыши, а деньги пропивает. В кратчайший срок ладная изба превращается в развалины;

---

<sup>141</sup> Владимир Федорович Тендряков (1923–1984) – писатель, журналист. Многие произведения опубликованы уже после его смерти, в конце 1980-х гг.

2. После коллективизации, раскулаченные крестьяне умирают с голоду на площади маленького городка, где живет рассказчик, тогда еще ребенок. Он пытается с ними поделиться куском хлеба, – на всех не хватает. Его доброту эксплуатируют, она порождает свалку; в конце концов, он, разочаровавшись в людях, переносит свою жалость на голодную собаку. По структуре тут вроде бы и вечная тема о столкновении мальчика из хорошей семьи с окружающей бедностью. Но есть здесь и недосказанный оттенок: центральный персонаж-то – сын советского бюрократа, не просто обеспеченного человека, а подлинного врага народа;

3. Полоумная дурочка, над которой грубо смеются жители городка, додумалась сослаться на Сталина, который-де ее защищает. Ее стали смертельно бояться; а там и впрямь, – люди, которых она обличала, начали исчезать... Имя Вождя, само по себе, распространяет вокруг себя таинственное, незримое Зло.

Кошмарные, гротескные сцены, – и, однако, снимки с натуры, наброски вещей, которые все мы, кто жил в СССР, видели своими глазами.

Зато каким диссонансом звучат восторженные слова Тендрякова рядом о своем отце: «Он из тех солдат, которые первыми отказались воевать за царя, арестовали своих офицеров. Он слышал Ленина на Финском вокзале. Он был в гражданскую комиссаром».

Нашел чем восхищаться! Что же в этом хорошего? Естественно любить отца – но не за такое же!

Мы, за границей, могли наблюдать протекавшие в России злодеяния издалека, – первая эмиграция с самого начала, вторая примерно с половины; а те, кто и посейчас там остались или недавно выехали – и до самого конца. И подлинно, словами А. К. Толстого:

В нас с ужасом мешалось омерзенье,  
Когда над кровью скорчившийся змей,  
Жуя тела, кривился в наслажденье.

Предполагать, что все это можно забыть и простить, было бы поистине беспочвенными мечтаниями. А взвалить всю вину на Сталина и свалить с плеч настоящего виновника, – КПСС в целом, – это слишком уж дешевый мошеннический трюк. Соответствующий, впрочем, тому, что народное творчество влагает в уста умиравшего Палача народов: «Валите все на меня!»

Нет, бесполезно! Как сказано в стихотворении Тургенева:

Вам уж не смыть  
Той крови невинной вовеки!

*«Наша страна», Буэнос-Айрес, 17 декабря 1988 г., № 2002, с. 1.*

## А. Рыбаков. «Страх» (Москва, 1990)

Название нового романа Рыбакова, – являющегося продолжением двух предшествовавших, «Дети Арбата» и «Тридцать пятый год», – выбрано как нельзя более удачно. Действительно, страх царил над Россией времен ежовщины, давил всех и все, проникал повсюду, насыщал атмосферу...

В чем и убеждается герой книги, Саша Панкратов, возвращаясь из ссылки. Но замечает он и другое. Об арестуемых партийцах, недавних начальниках, господах жизни, объявленных теперь «врагами народа»: «Говорилось без злобы, но и без сожаления, без злорадства, но и без сочувствия». Оно и не диво. Тут же добавляется: «Разорили русский народ, а деревню уже давно разорили». Это народ и запомнил.

Саша теперь, по сравнению с прежним, поумнел. Он понимает, что надо спастись, укрываться; что с успехом и делает. Но что корень зла в советской власти в целом, в коммунистическом режиме, начиная с революции, – до уразумения этого ему еще далеко.

Как и другим персонажам его типа: Нине, Максиму, тем более Алевтине Федоровне. Правильно понимает вещи очаровательная Варя, – самый привлекательный образ во всей эпопее, и один из самых ярких. Она без колебаний и сомнений знает, что от правительства, от большевиков, от чекистов, – добра не жди. Когда ее сестру, Нину, хотят арестовать, она находит для той единственный возможный выход, – бежать подальше от Москвы, в провинцию, на окраину, на Дальний Восток, – и все устраивает, чтобы ту спасти.

Варя вот и для меня, автора рецензии, самый близкий и созвучный образ: она представительница той подсоветской молодежи, среди которой я вращался, которую знал и к которой принадлежал. Мы в марксистские идеалы не верили; потому нам было и тяжелее, чем верившим, мириться с окружающим. Зато и разочарований, таких как тем, нам переживать не приходилось.

А таким вот, как Нина, тяжело доставалось, когда строй, который они считали своим, их отвергал и предавал!

Характерен диалог между двумя сестрами:

Нина: Я не могу убежать от своей партии.

Варя: Ты не от партии убегаешь, ты от пули в затылок убегаешь.

А немного раньше, и еще энергичнее: «Партийный учет! Плевать! Ничего с твоей партией не случится!»

Действие развивается динамично, по многим различным линиям. У каждого из персонажей, – уже знакомых нам по прежним частям, – своя судьба и своя психология. Автор управляет ими с немалым мастерством, равномерно к каждому возвращаясь.

Некоторые нити, – и как раз очень интересные, но покамест лишь бегло намеченные, – уводят нас за границу. Одна из них, – участь Вики, советской девушки с сомнительным прошлым, вышедшей замуж за иностранца. Жаль, что имя ее супруга, Charles, упорно раз за разом пишется тут без s на конце.

Шарль, французский журналист правого лагеря, подан, в общем, с симпатией. Но когда он выражает мнение (не знаем, свое или автора?) о «коммунистах и тех, кто близок к ним», то весьма ошибается: «Ромен Ролан, Луи Арагон<sup>142</sup>, Мальро<sup>143</sup> и многие другие. Это талантливые, но очень недалекие, наивные люди». Наивностью они никак не отличались, а умело соблюдали

---

<sup>142</sup> Луи Арагон (Louis Aragon; наст. имя Луи-Мари Андрие, Louis-Marie Andrieux; 1897–1982) – французский писатель, поэт. Деятель Французской коммунистической партии. Лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами».

<sup>143</sup> Андре Мальро (Andre Malraux; 1901–1976) – французский писатель. Министр культуры в правительстве де Голля.



свою выгоду. Арагон, в частности, женатый на русской еврейке, о положении дел в СССР был осведомлен отлично.

Юра Шарок работает под руководством Шпигельгласа<sup>144</sup>, подлинной личности, игравшей видную роль в деятельности советской агентуры на Западе. Но и тут французский язык в книге (по вине ли писателя или типографа?) не на высоте. Когда два путешественника заказывают себе в отеле: «Deux lits une chambre», то вполне естественно, если: «Портфель растерялся». Мы бы и сами не без труда угадали смысл, не будь налицо сноски: «Две односпальные кровати».

Шарок и Вика, с разных сторон, приходят в контакт со зловещей парой, Скоблиным<sup>145</sup> и Плевицкой<sup>146</sup>.

Рыбаков об этих последних высказывает свою оценку, расходящуюся с обычной в эмиграции.

Скоблин представлен как посредник между Шпигельгласом и Гитлером в деле изготовления фальшивых документов, предназначенных компрометировать Тухачевского и связанных с ним крупных военных; причем один из главных, движущих им мотивов, это – зависть к Тухачевскому. Особняком стоит в повествовании фигура Сталина, обрисованного как прежде в виде свирепого восточного тирана, всякое сопротивление с которым для рядовых людей опасно.

Остается пожалеть, что к роману присобачено несимпатичное послесловие Л. Аннинского, твердящего *quantum satis*, что во всех ужасах сталинского режима виноват-де русский народ, заслуживающий строгого наказания за свою якобы любовь к деспотам.

История показала между тем ясно, что деспотов (и, в частности, коммунистических), когда они у власти, столь же сильно любили (или и посейчас любят) на Кубе и в Албании, во Вьетнаме и в Румынии, не говоря уж о Германии, где орудовали сперва Гитлер, а потом Хонеккер. Зачем винить народы, между собою очень разные, – и отводить упрек от компартии, которая везде одинакова?

*«Наша страна», рубрика «Библиография», Буэнос-Айрес, 27 июня 1992 г., № 2186, с. 4.*

---

<sup>144</sup> Сергей Михайлович Шпигельглас (1897–1941) – майор государственной безопасности. Служил в разведке. Принимал участие в операциях по ликвидации перебежчиков и невозвращенцев из числа сотрудников советских спецслужб. В 1938 арестован, в 1941 расстрелян.

<sup>145</sup> Николай Владимирович Скоблин (1893–1937 или 1938) – офицер, участник Первой мировой и Гражданской войн. Советский агент в Белой эмиграции. Участник похищения председателя Русского общевойскового Союза генерала Е. К. Миллера.

<sup>146</sup> Надежда Васильевна Плевицкая (1884–1940) – певица, исполнительница русских народных песен и романсов. Жена Н. В. Скоблина. После похищения генерала Е. К. Миллера и бегства мужа арестована и осуждена французским судом за сотрудничество с НКВД и соучастие в похищении. Умерла в заключении.

## **А. Рыбаков. «Прах и пепел» (Москва, 1994)**

Мы с нетерпением ждали завершающей книги замечательной серии, начатой романом «Дети Арбата». И вот она перед нами.

Написанная с таким же блеском, что и прежние, она проглатывается за один присест.

Но все же ее содержание нас кое в чем разочаровывает, и во многом огорчает.

Например, мы надеялись найти подробное освещение деятельности таких сатанинских фигур Зарубежья, как Скоблин и Плевицкая. Факты-то нам известны; но интересно бы внутреннее, психологическое их истолкование. Однако о них теперь говорится, вернее упоминается, лишь мельком.

Судьба героев, конечно, – в руках автора, и его право с нею распоряжаться, как хочет; тем более, – в пределах правдоподобия.

Тем не менее жаль, что он так сурово расправился с очаровательной Варенькой, – самым глубоким и симпатичным характером из всех его героинь, да пожалуй и всех героев обоего пола.

Она, в сущности, гораздо менее банальный образ, чем главный персонаж, Саша Панкратов. Нам теперь без конца повторяют, будто подсоветская молодежь жила идеалами сталинизма и лишь редко и с трудом оные изживала.

Варенька – живое тому опровержение. Живя с детства в советских условиях, она интуитивно и целиком отвергает большевицкую идеологию и умно, активно ей противостоит.

В этом глубокая правда; сколько именно таких девушек я знал в молодости в советской России! Впрочем, конечно, и мужской молодежи, настроенной также, – нас было немало.

Увы! Сделать тогда практически нельзя было ничего. Выбор был только, – погибнуть или выжить...

В большой плюс поставим Рыбакову, что он нигде не соскальзывает в стандарт советского патриотизма, ни даже в осуждение борцов против большевизма. Поэтому он по многим событиям, особенно времени последней войны, проходит как бы с птичьего полета, не вдаваясь в глубину. Зато художественная цельность книги не страдает.

Отметим, что, напротив, психология Сталина (занимающая в романе много места) изображена прекрасно и, вероятно, в основных чертах вполне правильно. В этой области делалось, как факт, уже много попыток другими писателями; но мы бы склонны отдать «Праху и пеплу» пальму первенства.

Подлинно таков был Иосиф Виссарионович, – жуткий восточный тиран, чудовищный титан нашего века...

Тоже, может быть, правдиво, – хотя и печально, – то, что эволюция центрального протагониста, Саши Панкрата, не идет до логического конца: он застывает на отрицании эпохи «культа личности», но продолжает, до самого конца, верить в идеалы революции.

Умышленно или нет, не знаем; но автор оставляет жить и процветать наиболее мрачные личности, созданные его воображением: Юру Шарика, Вадима Марасевича и более мелкую, но достаточно беспринципную Вику. Может быть, он хочет выразить мысль, что ближайшее, непосредственное будущее принадлежало как раз им? Как оно и оказалось в реальности...

*«Наша страна», рубрика «Библиография», Буэнос-Айрес, 21 января 1995 г., № 2319, с. 3.*

## Прах и пепел

В своей последней книге, «Роман-воспоминание», писатель Анатолий Рыбаков, автор романа «Дети Арбата», умерший в 1998 году, рассказывает о впечатлениях от Москвы после возврата из Америки:

«В июне 1994 года, завершив роман, мы с Таней вернулись в Москву.

Она меня поразила. Вывески на английском языке – разве Москва английский или американский город?

Рекламы курортов на Багамских островах – для кого, для нашего нищего народа?

Бесконечные ларьки с водкой и коньяком, гуляй, ребята!

Супермаркеты с залежалыми иностранными продуктами.

Ничего своего – Россия перестала производить.

И всюду доллар, доллар, доллар.

Перешли на иностранную валюту...».

Стоило для этого делать революцию с ее ужасами?

Долгие годы творить безжалостный террор?

Лить кровь на войнах?

В глазах Рыбакова во всем виноват Сталин.

Он даже осуждает Солоухина за критику Ленина.

Вряд ли он прав.

Если бы не революция (включая и февральскую), Россия была бы и до сего дня великой державой с великой культурой.

Это заблуждение, будто несчастья начались после Ильича, есть давно отвергнутое и опровергнутое половинчатое решение вопроса.

Не будем им соблазняться!

*«Наша страна», рубрика «Миражи современности», Буэнос-Айрес, 24 ноября 2007 г., № 2832, с. 1.*

## Реквием преступникам

Крах коммунизма в России все чаще заставляет задумываться над ролью и судьбою зачинателей и свершителей революции.

Поистине, грех их был безмерен; каковы бы ни были их побудительные причины.

Они ввергли громадную страну, – одну шестую земного шара! – на десятки лет в неимоверные страдания; тысячи если не миллионы людей в глубокое развращение, и это не только в пределах СССР, но и во внешнем мире.

Поэтому и наказание им, по справедливости, должно было быть ужасным.

И вот – свершилось над ними правосудие Божие!

Если бы победили в Гражданской войне белые, и даже если бы стихийные восстания крестьян привели бы к перевороту в 20-е годы, – можно сказать с уверенностью, что многие из советских вождей ускользнули бы от кары: смена власти всегда сопровождается компромиссами.

Но и в случае расправы над ними, у них бы имелось утешение, что они гибнут за свои убеждения, за правое, мол, дело.

Вспомним описания расстрела красных курсантов белогвардейцами. Те умирали с пением «Интернационала», чувствуя себя героями.

Но нет, не такая участь была уготовлена пресловутой «ленинской гвардии»! Им было суждено погибнуть от рук своей же власти, той системы, которую они сами же создали!

Почти никто не ускользнул; кроме разве тех, кто успел умереть естественной смертью до наступления эпохи «великого террора».

Как метко резюмировал наш народ, они «за что боролись, на то и напоролись»!

В превосходной книге Игоря Губермана<sup>147</sup> «Штрихи к портрету», автор так комментирует роковые пути старых большевиков и примкнувшего к ним с раннего часа пополнения, в те часы, когда начала всерьез работать советская мясорубка:

«Только не спаслись теперь от гибели даже те, кто смиренно, покаянно и преданно к символу этому был готов припасть и припадал. В низком страхе непрестанно находясь, жалкой дрожью теперь дрожали даже первосвященники империи, слуги и соучастники палача-пророка, ибо их тоже время от времени отправляли на гибель. Только крайние, запредельные выродки остались целы: молотовы, берии, кагановичи. Не спасли пресмыкаемость, яростное соучастие, дикое количество совместно пролитой крови, смерть хозяина. Остальные потом все ушли, успев перед бесславной смертью опозорить свое имя предательством друзей, соратников, близких. Ибо лишение нравственной невинности было изначальным условием участия в кровавой вакханалии-эстафете. Их было не жалко никого, только мучительно было жаль миллионы непричастных – мечущихся, невинно обреченных».

Лучше не скажешь. Присоединимся к оценке писателя. Породители чудовищной империи зла получили по заслугам.

Остается пожелать, чтобы освобожденная от них страна справилась со страшным наследством, от них ей доставшимся.

*«Наша страна», рубрика «Миражи современности», Буэнос-Айрес, 2 декабря 1995 г., № 2364, с. 1.*

---

<sup>147</sup> Игорь Миронович Губерман (род. 1936) – писатель, поэт. Принимал участие в диссидентском движении. В 1979 приговорен по сфальсифицированному обвинению к 5 годам исправительно-трудового лагеря. В 1988 эмигрировал в Израиль. Наиболее известен благодаря сатирическим четверостишиям – «грикам».

## Василий Аксенов. «Москва Ква-Ква» (Москва, 2006)

Повествование пронизано упоминаниями об античной Греции, но автор явно не имеет классического образования. Иначе знал бы, что надо писать Калликрат, а не Калликратус. Тут налицо даже двойная ошибка: уж если бы пытаться дать греческое имя в точности методом транслитерации, то надо бы Калликратес; а античное (латинизированное?) -us тут вовсе не к месту. Также точно дальше: Икарус и Дедалус, вместо нормальных по-русски Икар и Дедал.

Весьма неприятна манера передавать иностранные фразы, – английские, французские, – русскими буквами: иногда решительно нельзя их и понять!

Хромает и передача русскими буквами иностранных имен. Португальское имя звучит на деле как Эшперанса, а не как Эшперанша. Венгерскую фамилию правильно бы писать как Эстергази, а не как Эштерхази.

Не можем разгадать, подлинно ли Аксенов думает, что половой, в смысле «сексуальный» происходит от пол в смысле «почва». В действительности, понятно, – от слова пол, в смысле «половина» (мужская или женская человеческого рода). Но, может быть, это есть идея персонажа, а не самого писателя?

Испанского названия Ивиса не следовало бы писать, как Ибица.

Курьезным образом, в типографии, очевидно, нет знака для апострофа, в силу чего (вероятно) видим тут странные комбинации Жанна... Арк, и I...m walking. Зато одобрим правильное употребление склонения в названии Внуково: во Внукове. И склонения по всем падежам имени Берия: Берию, Берии и т. п.

Перейдем к содержанию. Речь в книге о временах мне знакомых: до и после Второй Мировой. Но я совсем не узнаю тут ту молодежь, к которой принадлежал и в которой вращался, школьную и студенческую. Правда, моя была ленинградская, а здесь – московская. Да и социально. Та, какую я знал, была в основном из среды старой интеллигенции или, более или менее, с ней освоившаяся. На страницах же данного романа главные персонажи – дети крупной номенклатуры, воспитанные в чисто советском духе.

С другой стороны, послевоенные нравы рассказывают о чуждых мне явлениях: молодежный сленг (довольно противный), подражание американским нравам, джаз, Хемингуэй, и половая распущенность, в мое время вовсе не обычная.

Независимо, впрочем, от моральных норм, центральная героиня, Гликерия Новотканная, ведет себя как психопатка, трудная для понимания и не вызывающая симпатии (впрочем, ни одно из действующих лиц симпатии не вызывает; разве что первое лицо, автобиографический образ юного Аксенова, названного тут Меркуловым).

Интрига романа, начатая относительно правдоподобно, в высотном доме где обитает высшая советская элита – знаменитый поэт, ученый-атомщик с семьей, адмирал (правда, оказывающийся подложным) переходит затем постепенно в абсолютно невероятную и натянутую бредовину: титовские гайдуки охотятся за Сталиным, который в борьбе с ними в конце концов и погибает.

Ничего общего с реальностью или хотя бы правдоподобием в этих фантастических вымыслах нет, и интерес к роману в результате полностью улетучивается. Сталин (которого столь многие писатели нашего времени пытались уже изобразить) представлен маниаком, полупомешанным. То есть, скажем мягко, с большим упрощением. Карикатурно снижая образ страшного демонического тирана, автор опять-таки отходит от действительности, в силу чего его работа утрачивает ценность.

Можно привести другой пример чересчур бурного полета его воображения: оказывается, Гитлер был похищен чекистами при помощи женщины, но его выпустили под обещание окончить войну, которого он не сдержал.

Как ни странно, однако, это выглядит менее невозможно, чем титовские гайдуки в Москве. Известно, что сталинская агентша Ольга Чехова встречалась с Гитлером и чуть ли его не соблазнила.

Так что нечто подобное, пожалуй, и могло бы произойти!

Из чувства справедливости прибавим, что Аксенов – талантливый рассказчик, его проза читается легко и даже (поначалу) с увлечением.

Жаль только, что он щеголяет «раскованным языком», впадая в грубую, отталкивающую порнографию, употребляя то и дело грязные, похабные слова, на фоне, как он сам выражается – «пожилой мужской кобелятины».

*«Наша страна», рубрика «Библиография», Буэнос-Айрес, 24 июня 2006 г., № 2798, с. 5.*

## **Василий Аксенов. «Вольтерьянцы и вольтерьянки» (Москва, 2004)**

Сей «старинный роман» (цитируем автора) только и можно расценивать как буффонаду; в силу чего и критиковать его серьезно было бы нелепостью.

Сюжет состоит во встрече Екатерины Великой инкогнито с Вольтером на некоем несуществующем острове у берегов Померании.

Не возражаем: право писателя вводить в повествование, в том числе и историческое, элементы фантазии. Не выдумал ли Дюма мифического сына короля Людовика XVI в объяснение узника Бастилии в железной маске?

Перейдем ко стилистическим курьезам. Автор пытается писать языком эпохи; но, в основном, у него остается от сих покушений только употребление слова лъзя вместо «можно», и уноша вместо «юноша». Хуже того, он умышленно нарушает свои же устремления, вводя ссылки на Льва Толстого или вдруг сверхмодерное название тайландский вместо «сиамский».

Совсем непонятны его эксперименты с капризными написаниями вроде названия корабля «Noli me tangere», порою представляемые как «Nulle me tangere». Или вдруг целые страницы с пропуском отдельных букв в самых обычных словах.

Не знаем и того, зачем введены бесы – не страшные и не особенно смешные. Без них бы вполне можно обойтись.

А вот что вовсе скверно, и на наш взгляд неизвинительно, – это потоки грубой похабщины и непристойных слов, не нужных уж и совсем по ходу действия.

Параллельно основной интриги даются еще и приключения двух молодых русских офицеров и история их любви к дочерям некоего (не исторического) германского владетельного князя.

Вольтера Василий Аксенов беспощадно высмеивает. Не станем возражать: то же самое делал еще и Пушкин, – и за дело! Вклад данного философа и его коллег «энциклопедистов» в мировую культуру содержал смертельный яд, быстро давший страшные плоды.

Изображение же Екатерины, хотя и концентрированное более чем надо на ее амурных увлечениях, содержит, отдадим должное писателю, крупицу правды: в ней чувствуется Великая Жена, гениальная правительница и глубокая мыслительница.

Тут он, заметим мимоходом, ближе к истине, чем Б. Акунин, у которого, в романе «Внеклассное чтение», она представлена как добрая, но недалекая старушка, которую обманывают, как хотят, ее приближенные.

Незаурядность царицы (во время действия романа Аксенова еще молодой) ясно чувствуется через приводимые тут (видимо подлинные) ее письма ко французскому философу.

Итак, если не ждать чего-то серьезного и важного, книгу можно прочесть с интересом, как чисто развлекательное сочинение.

Когда-то, в молодости, Аксенов писал иначе; его рассказы затрагивали актуальные и значительные проблемы русской жизни.

Но то время давно прошло...

*«Наша страна», рубрика «Библиография», Буэнос-Айрес, 8 января 2005 г., № 2762, с. 5.*

## Вознесенский. «На виртуальном ветру» (Москва, 1998)

Лично мне модернистские стихи Вознесенского ничего не говорят. (Должен признаться, – и стихи его учителя Б. Пастернака, о котором он много говорит, – тоже). Однако, например, В. Солоухин (о котором он сочувственно упоминает) давал ему высокую оценку. Так что – *de gustibus non est disputandum*<sup>148</sup>.

Мемуары его, во всяком случае, интересны. С оправданным самодовольством он рассказывает о встречах с сильными мира сего и со всевозможными знаменитостями: Рейганом, Жаклин и Эдуардом Кеннеди, Лоллобриджидой и Моравией, с Керенским; не говоря уж об отечественных персонажах, от Л. Брик и Чуковского до Высоцкого и Лимонова.

Книга его представляет собою исключительно пеструю и, конечно, любопытную панораму весьма различных лиц и на территории чуть ли не всего земного шара.

Почему он всем этим высокопоставленным или чем-либо прославленным особам подходил? Очевидно, он сумел отразить дух времени, как до него Евтушенко, и писать то, что нравилось.

Искренне ли? Не будем судить. Возможно, – таковы были его настроения и мировосприятия.

Каковы его политические взгляды? Наверяд ли они ясные и определенные...

С сочувствием читаем его воспоминание о злости советских критиков за слова в его стихотворении «Я в кризисе»:

О чем, мой серый, на ветру  
Ты плачешь белому Владимиру?

«В “белом Владимире”, – комментирует он, —они разглядели наследника престола, живущего в Испании, Великого Князя Владимира Кирилловича.

Можно ли было тогда представить, что Владимир Кириллович официально триумфально приедет в Россию? И что он будет торжественно погребен в санкт-петербургской усыпальнице? Строка моя плачет из темных времен».

В моральном отношении Вознесенский крайне неразборчив. О чем свидетельствует его дружба с американским битником А. Гинсбергом, от коего шарахались даже левонастроенные поэты из числа его соотечественников.

Гинсберга этого характеризует такой эпизод: приехав в Москву, на литературном вечере, где выступал Вознесенский, он стал сексуально приставать к некоему композитору, который в возмущении покинул зал...

Встретившись «через пару лет» снова с «великим поэтом-битником», Вознесенский извиняющимся тоном принужден был объяснить ему: «Мы отсталые провинциалы, пуритане, ханжи, мы этого не понимаем еще...»

Обозревать такую книгу чрезвычайно трудно.

Уже просто в силу фигурирующих в ней людей, мужчин и женщин, знаменитых в самых разных сферах искусства, порою и политики. Хотя автор поневоле отзывается о них кратко, и хотя оценки его бывают весьма любопытными (верными или неверными, на наш взгляд, иной вопрос) – все же пересказ данного тома в 500 без малого страниц потребовал бы слишком много места.

Одно отметим с одобрением: непримиримо враждебное отношение мемуариста к большевизму. Тут мы с ним целиком согласны!

---

<sup>148</sup> О вкусах не спорят (*лат.*).



*«Наша страна», рубрика «Библиография», Буэнос-Айрес, 27 мая 2000, г.  
№ 2597–2598, с 3.*

## Б. Окуджава. «Свидание с Бонапартом» (Москва, 1985)

Обращаясь к теме Отечественной войны, – настоящей, 1812 года, а не псевдоотечественной недавней, – автор явно старается воспроизвести язык эпохи. Иногда это ему неплохо и удается. Но рядом, – какие досадные срывы! Например, многократно употребляется конструкция в адрес:

«Я услышал комплименты в свой адрес»; «Проклятия в адрес французов»; «Из всей зловещей тарабарщины, услышанной мной в свой адрес, я ничего не запомнил». Между тем. сей безграмотный и нелепый оборотец возник только после Второй мировой войны, и лишь в наше время санкционирован свыше советской властью как обязательный. Даже нам, до новейшей эмиграции, равно первой и второй волны он нестерпимо режет слух. Люди начала XIX века, как и мы все, говорили и писали: по адресу. Точно также, генерал Опочинин или его современники не сказали бы Холборн вместо Гольборн; твердое л в иностранных фамилиях характерная черта 3-ей волны и людей, живущих в СССР (либо тех, кто им нарочно подражает). Да и слово умелец, если не ошибаемся, создано (по крайней мере, в речи интеллигенции) уже во сталинские времена.

Переходя от формы к содержанию, можно удивляться, как Окуджава сумел, – и порадоваться, что он сумел, – протащить через цензуру вещь, совершенно свободную от советской пропаганды. С опасением ищешь в ней излюбленного диссидентами метода аллюзии; но слава Богу, и его не находишь. Если намеки и параллели имеются, они приглушены. Надо ли видеть в Наполеоне, ставшем из народного вождя тираном, намек на Сталина? Или в указаниях на строгую дисциплину русских и индивидуализм французов некую апологию большевизма? Навряд ли. Вот в отступлениях сперва и победном марше по Европе потом можно бы видеть сходство судеб русских войск тогда и теперь. Но какая и разница! И ее автор не скрывает и не маскирует.

Зато, пользуясь прямой речью персонажей, какие одиозные для коммунизма истины тут высказываются! Да и в описании фактов мы не встречаем, как полагалось по сусальному большевицкому канону, добродетельных крестьян и злых помещиков. Крепостные тут есть и верно-преданные, и бунтовщики; дворяне же – патриоты, отдающие жизнь за родину, вольнодумцы, терзающиеся социальной несправедливостью (причем эти их терзания никак не идеализируются) и, во всяком случае, в основном, – близкие и понятные читателю мыслящие личности.

Неприятной же для твердокаменных марксистов правды поведена уйма. Об Екатерине Великой: «Императрица была прозорлива, старуха была мудра, утверждая, что в конце концов французы сами себе отрубят голову. Она знала больше, чем все мы». Об Александре Первом: «Судьбе было угодно доверить ему наше спасение, и он оказался на высоте». О Николае Первом: «Молодой государь, проявивший чудеса храбрости и хладнокровия». Даже для Павла Первого нашлись добрые слова: «Он был отнюдь не дурным человеком». Тогда как о Французской революции упоминается так: «Тиранства не было, оно пришло вместе с кровью, а возлюбленные истины оказались плодом невежества»; «Хорош рай в обнимку с гильотиной!»; «Рабов следует освобождать, но для этого не надо гильотинировать королей».

Что до предмета самого романа, остается отчего-то впечатление, что главные герои, капризная, взбалмошная Варвара Волкова и демонический, холодный, неотразимый для женских сердец Свечин, меньше удались, вышли менее живыми и яркими, чем brave коренные военные, генерал Опочинин и полковник Пряхин, или даже близившийся к декабристам, но вовремя от них отошедший племянник Опочинина, Тимоша; чем полюбившая всей душой Россию французская певица Луиза Бигар; или даже чем вращающиеся вокруг Волковой ее тетушка Аполлинария Тихоновна, ее дочь Лиза, ее горничная Дуня и на все готовый для своей барыни Игнат.

В целом, новый роман, несомненно, есть большая удача для писателя и далеко превосходит его первый роман о декабристах, «Бедный Абросимов».

*«Наша страна», рубрика «Библиография», Буэнос-Айрес, 5 октября 1985 г., № 1836, с. 3.*

## А. Битов. «Оглашенные» (Москва, 1995)

Это, конечно, не роман, хотя он и назван «роман-странствие», а скорее уж – серия очерков, посвященных посещению автором орнитологической станции в «бывшей Восточной Пруссии» и обезьяньего питомника в Сухуме. Они могли бы быть куда интереснее, если бы не стилистические выверты, коими автор украшает свое повествование.

Словечка в простоте не скажет,  
Все с ужимкой<sup>149</sup>.

Например, когда он о себе говорит в третьем лице, словно бы впадая в шизофрению.

Да и вообще, философские беседы и размышления, занимающие львиную часть повествования, навевают тоску. Изредка мелькают интересные мысли, а в целом эти многословные рассуждения о Боге, о творении, о природе, – невыносимо многословны и часто пусты.

Особенно неприятно, что беседы сии неизменно начинаются с выпивки, перемежаются выпивками и кончаются выпивками. Причем в этом нет ни веселья, ни удали, ни бесшабашности, а все как-то серо и скучно... Эти вот характерные черты подсоветской интеллигенции не радуют никак; и мы предпочли бы о них поменьше знать.

Постепенно рассказ о событиях и переживаниях перерождается просто в пьяный бред, – который уж и совсем не интересен и оставляет прегадкое впечатление.

Жаль, право. Из этого же материала писатель мог бы сделать нечто гораздо лучшее. И впечатление такое, что его беда отнюдь не в недостатке таланта, а в неправильном понимании поставленных им себе задач.

*«Наша страна», рубрика «Библиография», Буэнос-Айрес, 20 июля 1996 г., № 2397–2398, с. 3.*

---

<sup>149</sup> Цитата из «Горе от ума» А. С. Грибоедова: слова П. А. Фамусова.

## Скучный совет

«Числа не было; месяца тоже не было» – говаривал Поприщин<sup>150</sup>. Берем в руки книгу: на ней года нет, города тоже нет (засекречены?). Не иначе как проделки вездесущего НТС! Но для кого и зачем книга издана?

«Возвращение» братьев Стругацких построено на уже не новой завязке: неудачливые космонавты вернулись не в свою эпоху, а на сто лет вперед. И что ж? Беда! Советская власть как была, так и осталась. Ну и – от ней все качества. Узнаем, что детей на улице не увидишь: они у родителей отобраны и заперты в интернаты. Что дома есть не полагается: только в кафе (сие, видимо, эвфемизм для столовки: они, выясняется, всегда переполнены; место получить трудно; о качестве же пищи подробно не рассказывается). Один из пришельцев попробовал поужинать дома (на него покосились), и раскаялся; кухни нет, и машина, которую ему доставили, выпускает один пар и выбрасывает несъедобное месиво (еще бы! у большевиков, дело известное, по части ширпотреба – швах). Зато – повсюду гигантские статуи Ленина (о Сталине авторы молчат). Все механизировано: даже коров пасут киберы.

Таковы условия жизни. А люди? То ли это вновь народившиеся Павки Корчагины, энтузиасты первой пятилетки (но их, на деле, кое-кого кулаки из обрезов постреляли, а большинство сама Софья Власьевна вывела в расход в подвалах как социально опасных), то ли (скорее!) ребята осторожные, умудренные опытом и учитывающие, что и стены имеют уши. Разговоры их – или производственные: «Теперь мне совершенно ясно, что бензольные процессы здесь не годятся». Или героические: «Мы хотим работы! Большой, ответственной работы, чтобы вся Земля работала! Чтобы было весело и трудно!» Сии благонамеренные речи даже и сам Большой Брат может слушать...

Нашего брата, оказывается, вывели-таки под корень... «Сейчас больше нет некоммунистов. Все десять миллиардов – коммунисты».

В общем – в такое будущее никак не хочется! Перефразируя Гоголя, скажем: «Скучно будет жить на этом свете, господа!»

И, поскольку у эмиграции помимо того много забот и печалей, – зачем ее пугать подобными картинками? Если же они предназначены для подсоветских жителей, – то, верно, откликнутся: «Мало, что мы страдаем, – нацелились гады и на наших внуков и правнуков тоже!» И, сдастся, прибавят слово-другое покрепче...

Остается нам воскликнуть, вслед за Надсоном:

Нет, не зови ты нас вперед!  
Назад! Там жизнь полней кипела...

*«Наша страна», рубрика «Среди книг», Буэнос-Айрес, 14 июня 1986 г., № 1872, с. 3.*

---

<sup>150</sup> Аксентий Иванович Поприщин – литературный персонаж. Главный герой повести Н. В. Гоголя «Записки сумасшедшего».

## **Аркадий и Борис стругацкие. «Хромая судьба» (Москва, 1989)**

Сей фантастический роман, очень слабый и гораздо ниже обычной продукции данных авторов, но очевидно им лично чем-то дорогой, уже давным-давно циркулировал в эмиграции под заглавием «Гадкие лебеди»; правда, теперь мы имеем дело с несколько расширенным (но отнюдь не улучшенным...) вариантом, изданным в СССР.

Действие происходит в воображаемом и неправдоподобном городе, умышленно лишенном определений в национальном или географическом отношении; то же самое касается и времени событий.

Все построено на грубых и неприятных аллюзиях (но, сколько вреда наделал этот прием аллюзий подсоветской литературе недавней еще поры!). Прокаженные, – за которыми оказывается будущее, которые морально и духовно суть элита человечества, за которыми безоговорочно идет юное поколение, – это евреи. Их противники, грубые солдафоны, продажные политики, и вообще все как один и во всех отношениях мразь, – это русские националисты. Вопреки здравому смыслу, при драках и любых физических столкновениях, победа всегда остается за первыми, а вторые бывают побиты и унижены.

Можно иметь разные взгляды, но столь примитивно их пропагандировать, – стоит ли игра свеч? Кого почтенные авторы думают в чем-либо убедить? Сдается, если подвергнуть их творение анализу на машине, с точностью указывающей высоту литературного достоинства (тоже появляющейся на сцену в разбираемой книге), – результат получился бы близкий к нулю.

По сравнению с прежними изданиями, текст увеличен главами, где изображается, как современный подсоветский писатель данный роман сочиняет. Прием тоже далеко не новый, и не слишком удачный.

Несколько интереснее остального (но опять же, не столь уж высокого качества) рассыпанные здесь, там и сям, намеки на живых и мертвых подсоветских литераторов (сполна доступные, надо полагать, лишь посвященным).

Выпишем один пассаж, явно относящийся к Ирине Одоевцевой (променявшей, на старости лет, свободу и бедность на Западе, на рабство и Бог весть лучший ли материальный быт в СССР); речь идет об использовании все той же машины «Изпитал» («Измеритель писательского таланта»).

«Сама Ираида с одра поднялась и черновики свои туда потащила. Она-то думала, что машина ее подтвердит и восславит, а машина ей – бац! – ноль целых хрен десятых. Так она их всех там зонтиком, зонтиком, что ты!»

Отметим курьезную деталь. Герой современной части романа Феликс Сорокин, вспоминая о своей погибшей в годы войны библиотеке, называет: «Машину времени» и сборник рассказов Уэллса из приложения ко «Всемирному Следопыту» с иллюстрациями Фитингофа<sup>151</sup>. Тут память ему изменяет: сочинения Герберта Уэллса в серии приложений ко «Следопыту» были без картинок. Отлично помню эти продолговатые книжки в синей обложке. А те, которые на самом деле имеет в виду Ф. Сорокин, – те были другого издания (не могу уж теперь сказать какого именно), меньше форматом, скорее квадратной формы; они бойко продавались в 20-е годы во всех вокзальных киосках. И они, – да, действительно, были иллюстрированные, и весьма возможно, что Фитингофом.

Фамилию этого последнего я помню оттого, что его отличные рисунки в журнале «Вокруг Света» бывали обычно снабжены надписью: «Рис. Фитингоф».

---

<sup>151</sup> Георгий Петрович Фитингоф (1905–1975) – график, иллюстратор детской и приключенческой литературы.

Добавлю уточнение: в ленинградском «Вокруг Света». Потому что тогда выходили два журнала с таким названием – в Москве и в Ленинграде. Московское «Вокруг Света» тоже было неплохое, но ленинградское – лучше. В детстве я его читал с жадностью и с наслаждением.

Жаль, что за рубежом его комплект или хотя бы отдельный номер есть нечто совершенно недоступное! Во всяком случае, мне никогда не удавалось ни то, ни другое получить в руки, за все годы эмиграции.

*«Наша страна», рубрика «Библиография», Буэнос-Айрес, 27 октября 1990 г.,  
№ 2099, с. 2.*

## С. Лукьяненко. «Последний дозор» (Москва, 2006)

Крыжановская<sup>152</sup>? Аура различных цветов... черная и белая магия...

Вроде бы и похоже, но насколько же на другом, более высоком уровне!

Ту губил, вопреки замечательным иногда прозрениям (например, о будущем Европы) беспомощный газетный язык, порою банальность ситуаций и, главное, отсутствие психологической глубины.

Тут же совсем иное. Лукьяненко языком пользуется виртуозно, – даже нынешним порченным постсоветским с канцеляритом, англицизмами и непристойностями; острота положений у него на уровне лучших детективных, шпионских и авантюрных романов.

Открыв книгу, от нее оторваться невозможно. Так я и испытал, спохватившись, что прошло несколько часов, – и снова вернувшись как можно скорее к развернутым страницам.

Отчасти, добавлю, и от того, что главное действие протекает в Эдинбурге. А я, так случилось, был когда-то в этом городе, проездом, 2-3 дня; но мог оценить его чары.

Вальтер Скотт говорил о нем с любовью: «Мой родной романтический город».

Но ладно: поищем в романе недостатки. Автор чересчур вольно распоряжается с мифами о вампирах.

Канон данного жанра основан на народных легендах (распространенных по всему земному шару) и разработан мастерами, создавшими классические произведения, начиная с Шеридана Ле Фаню<sup>153</sup> и Брэма Стокера.

Которые все сходятся в том, что вампир не имеет тени, ни отражения в зеркале, что ему невыносим запах чеснока и свет солнца. Отклонение от этих условий есть неуважение к традиции. Допустим, соблюдать ее и трудно, – но именно в этом и искусство.

Налицо в повествовании некоторые бродячие мотивы, но это автору не в укор, а скорее в похвалу. В таком жанре они и должны встретиться.

Не знаем, читал ли он Ловкрафта<sup>154</sup> о страшной книге «Некрономикон»? Читал ли К. Льюиса<sup>155</sup> о возвращении Мерлина в современный мир<sup>156</sup>?

Идея об использовании донорской крови для питания вампиров тоже уже мелькала в западной печати.

Во всяком случае все эти комбинации здесь использованы удачно и не могут вызвать возражений.

Приятно видеть, что и в области фантастики (не научной, а той, которую на Западе называют готической или *different story*) в постсоветской России возникают яркие и высокие таланты! В советское время это было бы невозможно.

Что до соотношения современной техники с магией, поделимся с читателями мыслью, которая нам все настойчивее приходит в голову: не есть ли эта чрезмерно развитая техника

---

<sup>152</sup> Вера Ивановна Крыжановская (псевд. Рочестер; 1857–1924) – писательница. Занималась спиритизмом, оккультизмом. Утверждала, что ее романы продиктованы духом английского поэта графа Рочестера, и использовала его имя в качестве псевдонима. Отмечена Французской Академией наук за точное описание быта Древнего Египта в романе «Железный канцлер Древнего Египта», а также Российской Императорской академией наук за роман «Светочи Чехии». После революции эмигрировала в Эстонию.

<sup>153</sup> Джозеф Шеридан Ле Фаню (Joseph Sheridan Le Fanu; 1814–1873) – ирландский писатель. Писал готические романы и повести, рассказы о привидениях.

<sup>154</sup> Говард Филлипс Лавкрафт (Howard Phillips Lovecraft; 1890–1937) – американский писатель и журналист, работавший в жанре «фэнтези».

<sup>155</sup> Клайв Стейплз Льюис (Clive Staples Lewis; 1898–1963) – британский ирландский писатель, поэт, преподаватель. Наиболее известные произведения – «Хроники Нарнии», «Космическая трилогия», «Письма Баламута».

<sup>156</sup> Имеется в виду роман К. С. Льюиса «Мерзейшая мощь» – последняя часть цикла научно-фантастических романов «Космическая трилогия».



путь для проникновения в наш свет темных, нечистых сил? Не грозит ли она нам вторжением зла, которому трудно окажется противиться?

*«Наша страна», рубрика «Биография», Буэнос-Айрес, 4 марта 2006 г., № 2791,  
с. 2.*

## **П. Дашкова. «Чеченская марионетка» и «Место под солнцем» (Москва, 2000)**

Литература в Эрефии все естественнее разделяется на две ветви:

1) Предназначенная для читателя, который ее ждет и ее читает с удовольствием и увлечением.

2) Творимая снобами и для снобов, которую читать скучно, – но необходимо для престижных разговоров и для писания критических статей; такая, что заполняет, например, «Новый Мир».

Авторы второго типа яростно ненавидят авторов первого, чьи сочинения именуют не иначе как чтивом. Сие вполне понятно: успех, тиражи, а значит и доход на стороне тех; а оно, понятное дело, обидно.

По здравому смыслу однако, написать детективный роман хотя бы среднего уровня, – а тем уж более хороший, – гораздо труднее, требует больше мастерства и способностей, чем состряпать лишнюю порнографическую историю (поневоле они все ужасно однообразны!) или вообще серию невнятных, часто отталкивающих псевдооригинальных переживаний.

По счастью для публики, которой жанр чернухи и порнухи до смерти надоел, талантливые романы иного типа появляются один за другим. Мы уже говорили о превосходных детективных романах А. Марининой и о блестящих попытках М. Юденич воскресить не новый, но было задуренный жанр мистико-фантастического романа.

Два романа Полины Дашковой (дошедшие до нас, из числа многих других ею написанных) не уступают по качеству упомянутым выше книгам.

Действие первого протекает на фоне войны с чеченцами; героиня, молоденькая девушка из Москвы, приехавшая на каникулы на отдых, оказывается, без своих вины или желания, в центре темных и жутких махинаций с подкупам, похищениями и кровавыми расправами.

Курьезным образом в романе встает старая тема «кавказского пленника», но в новом, жутком оформлении. Если хотя бы часть из рисуемых Дашковой картин соответствует истине, – на Кавказе происходят поистине ужасные вещи.

К чеченцам автор беспощаден. Но, к сожалению, рассказываемое ею похоже на правду. Любопытно то, что они располагают огромными деньгами; не это ли обеспечивает им горячую защиту прессы на Западе, в том числе и русскоязычной?

Второй роман переносит нас в мир «новых русских» различного типа, очерченных весьма ярко и живо. Знаменитый киноактер Калашников, умеющий угождать властям, изображая в то же время легкую оппозицию, и моментально приспособливающийся к переменам обстановки, – не напоминает ли нам поэта Евтушенко?

Ну, его сын, владелец казино, представляет собою новую породу молодых и вполне бесовственных волков. (Вокруг его убийства разворачивается сюжет, в духе Агаты Кристи, виновный раскрывается на последних страницах. Должен, впрочем, признаться, что я угадал намного раньше!).

Не менее характерен и образ Барина, большевицкого политического деятеля, ловко и с выгодой переключающегося на «демократические» нравы.

Вообще надо сказать, что из романов Дашковой и ее коллег мы гораздо больше узнаем о нынешней России, чем из якобы «серьезной» литературы, с ее эротическими и патологическими откровениями.

Немудрено, что люди самых разных слоев и даже с самыми разными взглядами, читают Дашкову, Маринину и Юденич, а не всяческих Л. Петрушевских, Т. Толстых и Н. Медведевых!

Жаль, что текст портят мелкие языковые небрежности, вроде Сан Мишель вместо Сен Мишель. Вероятно, не писательница, а типография повинна в несколько раз повторяющемся

сочетании синильный маразм, вместо сенильный (то есть «старческий»). Синильной бывает кислота: но это из другой оперы.

*«Наша страна», рубрика «Библиография», Буэнос-Айрес, 6 января 2001 г., № 2629–2630, с. 5.*

## **А. Проханов. «Господин Гексоген» (Москва, 2002)**

Редакция мне поручила написать рецензию на эту книгу. Увы, я не в состоянии исполнить данное задание...

Пробовал читать, начиная с начала, потом с середины, потом с конца. И сразу меня охватывала непреодолимая скука: совершенная белиберда, нелепые галлюцинации.

Изложенные притом серым суконным языком, каким писала в своих наименее удачных романах Крыжановская. Только у той содержание-то было посерьезнее.

Поражаюсь, читая хвалебные рецензии в «Новом Русском Слове». Н. Кожевникова, в статье «В России остался один инакомыслящий писатель, и тот антисемит» (в номере от 28 ноября 2002 года), восклицает: «Роман читается захлеб, сделан мастерски».

Хочется, право ей сказать: «Да побойтесь вы Бога!» Это о такой-то бездарной мазне!..

Еще нелепее восхищения в статье О. Сулькина «Пир духа на костях Проханова» («НПС» от 14 февраля с. г.).

И зря приплетают к делу антисемитизм. Вопрос не в том.

Словами Пушкина:

Не в том беда...

Если бы Проханов был не неособышником, а нашим единомышленником, русским православным патриотом и монархистом, все равно его сочинение не имеет ни малейшей художественной ценности.

На обложке книжки в 470 с лишним страниц изображен лик разлагающегося трупа.

По Сеньке и шапка.

Столь же противно и содержание.

Можно бы солидаризироваться с уничтожающей критикой теперешнего режима Эрефии, предлагаемой автором. Но грош цена его критике, поскольку она делается с позиции мечты о возврате ко сталинизму.

Которого, несомненно, на нашей несчастной родине не хочет молодежь, и не хочет интеллигенция. А за этими силами будущее. Ветхие ветераны последней войны и обделенные властью пенсионеры, может быть, и заслуживают сожаления.

Но грядущее определять будут не они.

А потому и шаманские заклинания Проханова бесполезны и могут быть любопытны разве что как курьез!

*«Наша страна», рубрика «Библиография», Буэнос-Айрес, 19 июля 2003 г., № 2737, с. 5.*

## Э. Радзинский. «Игры писателей» (Москва, 2001)

Нельзя не вспоминать о Дюма, читая этот короткий исторический роман. И не столько о «Трех мушкетерах», как о серии произведений великого француза, начинающейся «Жозефом Бальзамо» и имеющей продолжением «Графиню де Шарни» и «Шевалье де Мезон Руж». Перед нами встает та же эпоха, сперва веселая и элегантная, потом трагическая и кровавая.

Книга имеет все положительные качества Дюма, и еще более – его недостатки.

Перед нами типичный роман-фельетон, все время поражающий читателя крутыми поворотами сюжета, неожиданными и увлекательными хитросплетениями. И нельзя отрицать у автора основательного знания времени, о котором он пишет, особенностей его быта и нравов.

С другой стороны, Дюма сравнительно редко далеко отклонялся от истории (хотя и позволял себе вольности с хронологией), вышивая похождения своих героев на ее фоне. Так, в его знаменитой трилогии только фантазия о сыне Людовика Тринадцатого, скрытого за железной маской, всерьез уводит нас от фактических событий.

Радзинский, напротив, в вымыслах не стесняется и о правдоподобию не волнуется. Можно вообразить себе, что Бомарше участвовал (притом, вместе с маркизом де Садом) в интригах вокруг знаменитого «ожерелья королевы», направленных на дискредитацию монархии.

Гораздо труднее поверить, что он (тайком от графа Ферзена<sup>157</sup>!) участвовал и в попытке бегства королевской семьи, закончившейся катастрофой в Варенне.

И уж чем-то совсем невероятным выглядит роль Бонапарта, будто бы узнавшего об этой попытке и ее предотвратившего. Этого преступления на совести корсиканца нет! И навряд ли у него имелись тогда мотивы к подобным действиям: трон ему, надо думать, не рисовался еще и в мечтах, а республиканские убеждения не были у него горячими, – ни тогда, ни потом.

Но если подходить только с точки зрения занимательной фабулы, – эти упреки теряют силу.

В остальном, отметим, что Дюма никогда не употреблял неприличных слов, – а Радзинский пересыпает ими речь своих персонажей.

И не можем одобрить употребления им слов как «стукач» и «психушка» – оные суть черты подсоветской жизни, принадлежат ее местному колориту.

Не станем, наоборот, возражать против применения им формул из русской литературы. Конечно, «народный властитель» восходит ко Блоку; «грядущий хам» – к Мережковскому. Но сходные выражения, в конце концов, могли возникнуть и в беседах французов XVIII века.

Что поставим в большую заслугу писателю – это беспощадное и неумолимое разоблачение «великой революции».

Кое-что в этом плане сделал еще Алданов. Но постсоветскому читателю правда об этом периоде чрезвычайно нужна и полезна: он ведь воспитан на восхвалениях злодеяний данного периода, кои щедро изливали всякие Серебряковы и Виноградовы<sup>158</sup>.

Здесь же, устами Казота<sup>159</sup> (которому посвящено стихотворение Лермонтова: «Среди друзей задумчив он сидел»), предсказывается, еще до начала бунта: «И вот во имя Разума, во имя философии, человечности, свободы начнется повальное убийство».

---

<sup>157</sup> Ханс Аксель фон Ферзен (Hans Axel von Fersen; 1755–1810) – шведский военный и политический деятель. Участвовал в войне американских штатов за независимость. Один из ближайших соратников Людовика XVI и Марии-Антуанетты. В июне 1791 подготовил побег королевской четы из Франции, окончившийся неудачей.

<sup>158</sup> Анатолий Корнелиевич Виноградов (1888–1946) – писатель, переводчик.

<sup>159</sup> Жак Казот (Jacques Cazotte; 1719–1792) – французский писатель. Участвовал в деятельности секты мартинистов, однако, во время Французской революции разошелся с ними во взглядах, оставаясь приверженцем монархии. Революцию не принял, был казнен.

И далее сообщается:

«Поднимаясь на эшафот, жирондист Верньо выкрикнул: “Революция, как Сатурн, пожирает своих детей”».

И многое другое.

О короле и королеве, в целом, «Игры писателей» оставляют скорее симпатичное впечатление (хотя автор говорит о них не сам, а через действующих лиц, и потому порою плохо). Жаль, что общий тон книги остается глубоко циничен: все защитники нормальной, традиционной морали, появляющиеся в ней на сцену, – Шатобриан, Ферзен, – выглядят почему-то дурачками.

Скажу а parte: я несколько лет жил в доме на улице Ламбаль, хранящей имя растерзанной чернью княгини, и там, этажом или двумя ниже жил некий мсье де Казот, – не знаю прямой ли потомок, но уж, наверное, родственник предсказателя Казота, фигурирующего у Радзинского. Шестнадцатый округ Парижа, где я и посейчас живу, хранит много аристократических воспоминаний.

*«Наша страна», рубрика «Библиография», Буэнос-Айрес, 7 сентября 2002 г., № 2713–2714, с. 5.*

## **В. Токарева. «О любви и о нас с вами» (Москва, 2010)**

Согласно анонсу, Виктория Токарева есть «создатель современной отечественной “женской прозы”».

Во всяком случае, у рассказов и повестей, объединенных в данном сборнике, как правило, есть сюжет, в отличие от бледных очерков, которые сейчас часто заполняют постсоветские толстые журналы.

И у автора есть мысли во многих случаях интересные и значительные. Так, например, в рассказе «Антон, надень ботинки!», где описывается постановка фильма из жизни декабристов, один из персонажей размышляет: «Зачем были декабристы? Чтобы скинуть царя? Чтобы в результате было то, что стояло 70 лет? И то, что теперь...»

И там же, как отступление от имени самой писательницы:

«Съемка происходила в доме, где действительно сто лет назад проживала семья декабриста... Царь не хотел унижить ссыльного. Он хотел его отодвинуть с глаз долой. Ленин в Шушенском тоже жил неплохо, питался бараниной. Наденька и ее мамаша создавали семейный уют, условия для умственной работы, Николай II поступал так же, как его дед. А то, что придумали последующие правители, – Ленин, Сталин и Гитлер, – могло родиться только в криминальных мозгах».

В повести «Лиловый костюм» подсоветская скрипачка за границей, во Франции, попадает в среду лесбиянок, к которым относится без осуждения, но с отчуждением, прикрывающим внутреннее отвращение.

В другой повести, «Сентиментальное путешествие», описывается групповая поездка художников в Италию в брежневскую эпоху. Один из них пользуется возможностью, чтобы сбежать. И за этим следует великолепная картина всеобщего подозрения и взаимного недоверия: «Кто мог знать о его намерении?», «Кто ему содействовал?»

Лишь годы спустя рассеивается атмосфера страха и сомнений среди участников экскурсии; да и то – не вполне...

*«Наша страна», рубрика «Библиография», 5 марта 2011 г., № 2912, с. 2.*

## Людмила Улицкая. «Люди нашего царя» (Москва, 2005)

Л. Улицкая сама представляется читателям в следующих словах: «Я по культуре – русская, по крови – еврейка, по вероисповеданию – христианка».

Поэтому она считает себя «лицом непрезентабельным». Полно, так ли? В нынешней России все так перемешано, – и религии, и национальности, и мнения, – что она, пожалуй что, и не такое уж исключение из правил.

В чем скорее ее своеобразие это в том, что она – талантливый писатель, щедро наделенный даром рассказчика. Даже когда речь идет о пустяках или о вещах нам довольно-таки чуждых, – все равно, ее читаешь с увлечением. Говорит она о разном: о советском быте (который в ее описании выглядит куда как безрадостно: пьянство, грубость, тупость, чудовищные жизненные условия), о путешествиях по всему миру, в России и за границей (на все она бросает скептический и пресыщенный взгляд, будь то Франция, Япония или Египет), о вопросах религии и мирозерцания.

Сделаем по поводу всего этого несколько отрывочных замечаний.

С кошками писательнице не везет: нечистоплотные между ними суть ведь редчайшие исключения! В огромном большинстве данный вид животных как раз отличается чрезвычайной опрятностью.

Она удивляется, отчего японцы увлекаются Достоевским? Можно бы сказать, что это свидетельствует об их хорошем литературном вкусе. А, с другой стороны, – ведь если уж вообще интересоваться Россией, то вполне разумно обращаться к ее самому большому писателю, к тому, который всегда говорил о самом главном и на самой большой глубине.

Насчет же того, что содомия всегда представляла для нее нечто жуткое и отвратительное, – тут мы с ней целиком и полностью солидарны. Всегда чувствовали то же самое.

Вот касательно языка и стиля, здесь сделаем некоторые возражения.

Например, корбит слово пазл. Мы, уж если бы было необходимо, скорее бы написали puzzle, но в Эрефии печать испытывает почему-то аллергию к латинскому шрифту. Хотя напротив склонна им злоупотреблять в области вывесок, заглавий журналов или статей и тому подобном.

Еще неприятней режут нам глаз сочетания вроде церковная староста, пожилая врач. Такое согласование в роде имен существительных и прилагательных определенно идет вразрез с духом нашего языка.

Тоже вот и с падежами. Мы бы сказали не билет до Погрязново, а билет до Погрязнова. Между прочим, большинство хороших писателей в России неизменно такие формы не употребляет.

Еще вот жаль, что у Улицкой налицо склонность (по каким-то причинам необычайно распространенная в нынешней России!) слишком много и с неприятными деталями рассказывать о всяческих болезнях и физических страданиях равно людей и животных. Что до бесед в поезде, наводящих, похоже, на Улицкую ужас, мы бы их склонны принимать скорее с юмором и во всяком случае спокойно.

Они в таком роде: «Я за Россию для русских! Это тебе не Америка. Не для чернокожих. Значит, так. С силами соберемся – и всех порежем! Ох, весело будет!» И тем более: «А вы, коммунисты, что настроили? Только все распродали, да разворовали!»

В сей последней сентенции, как не подойди, а определенно есть кусочек правды! А что до намерения кого-то резать, – тут от слов до дела, полагаем, очень далеко.

В общем же они выражают не лишнее отнюдь основания чувство, что русский народ сейчас ущемлен, и что ему навязывают сверху некие чужеземные и чуждые ему стандарты поведения и существования.



Даже высказанные спьяна и в ультравульгарном слоге, мысли эти вытекают из реального положения вещей, о коем мы все принуждены постоянно думать.

*«Наша страна», рубрика «Библиография», Буэнос-Айрес, 24 сентября 2005 г., № 2780, с. 3.*

## Н. Медведева. «В стране чудес» (Тель-Авив, 1992)

Нечто омерзительное! Читать перед обедом – не советуем. Впрочем, ни в какое иное время суток, – тоже.

Процитируем самое начало: «По темному коридору, помимо тараканов, ползли окурки “Беломорканала”, головы сухих рыбин, все еще пучащие глаза, выползала из кусков газеты их чешуя, позвякивали осколки неиспользованных тарелок».

Все это двигалось как мы узнаем: «от пристанища зловония, что в лагерях называют парашей, в начало темного коридора по направлению к комнате, обещанной двоим, идущим следом за ползущим дерьмом, оставленным людьми... двуногими».

Перелистнем несколько страниц: «Французенка побежала вглубь коридора, по тараканам, к туалету. Русские тараканы были ленивее и рыжее парижских. Как и их французские братья, они любили сырость – поэтому и населяли туалет, ванную. Туалет был похож на римский уличный писуар. Французенка блевала, ностальгически зажмурив глаза. Так видимо поступали и все остальные – рыжая блевотина, ржавчина и дерьмо сливались в одно, оставаясь неслитым».

Испытываешь позыв последовать примеру французенки.

Если книжка написана с целью служить вместо рвотного средства, то – цель достигнута.

Ни с какой другой точки зрения похвалить ее нельзя. Она есть антихудожественная мазня, во всех отношениях отвратительная.

Кому и зачем такие гадости в печатной форме нужны? На кого рассчитаны? Не представляем себе...

На всякий случай добавим, что есть места еще гораздо и противнее. Не говоря уж о том, что мы не приводим здесь похабных слов, которые в тексте густо навалены – и на х, и на с, и на е.

Со стороны так сказать идеологической, заметна отчетливо русофобия автора: русские представлены дикарями, полуживотными, неспособными членораздельно выражаться. Впрочем, передадим слово Н. Медведевой: «Русский народ всегда был злобным, завистливым и недалеким».

Героиня, она же рассказчица, приезжает после 13 лет отсутствия в Ленинград, в 1989 году. Почему-то она оказывается в обществе воров, последних подонков (или в городе на Неве ничего другого нету? никакого другого круга общества не имеется?). С ними она кочует из одного притона в другой, из одной пивной в другую, совокупляясь то с одним, то с другим в ватерклозетах, различными противоестественными способами. Ни счастья, ни радости, ни малейшего проблеска человеческих чувств... Подлинно, не люди, а некие двуногие машины для блуда!

Все, к чему писательница прикасается, сразу становится грязным и пошлым. Не внешняя обстановка плоха и сера (она сама ее выбирает): смердит и разлагается у нас на глазах душа этого живого трупа. Для сей несчастной твари нет ничего святого. Мать она с ненавистью называет «эта женщина». Не более тепло отзывается и о брате. А ему, между прочим, принадлежат единственные разумные слова, какие мы находим в разбираемом произведении: «Есть вещи, о которых писать нельзя».

Ну, для мадам Медведевой – совет явно неприемлемый.

В наиболее удачных местах ее повествования она отдаленно напоминает разухабистый и циничный стиль Аллы Кторовой.

Только у той был талант (и, соответственно, некоторое чувство меры), а у этой – и в помине нету.

Ну, что она мажет дегтем Россию, – это, скорее всего, по заданию определенных западных кругов. Но надо сказать, она и с Францией не церемонится:

«А что, во Франции полиция добрая? – Да уж! Одно неточное движение, подозрительный жест и стреляют. А если ты какой-нибудь темнокожий – так вообще. Полицейского в девяти случаях из десяти оправдывают. Так что они на всякий случай всегда почти стреляют. Для профилактики».

Странная какая-то Франция! Не видали мы подобной... Вернее – страна описана с точки зрения *milieu*, уголовного мира. Бандитам и апашам, находящимся в войне с нормальным обществом, – тем вещи вполне могут представляться именно в таком свете.

*«Наша страна», рубрика «Библиография», Буэнос-Айрес, 19 декабря 1992 г., № 2211, с. 2.*

## **Б. Акунин. «Алмазная колесница» (Москва, 2003)**

Новая книга Б. Акунина, по своей увлекательности и по мастерству изложения – драгоценный подарок для читателей; тем более, что она из фандоринского цикла, особенно удающегося обычно автору.

Б. Акунин – один из немногих больших и несомненно талантливых писателей из числа проявивших себя уже в подсоветской России и поныне здравствующих. Он, притом, смело избрал себе поле, – детективный жанр, на который тупоумная интеллигенция прошлого века наложила табу, как на несерьезный и заслуживающий презрения. Сколь не удивительно, а сей предрассудок и посейчас живет, и пользуется в РФ немалую силою!

На деле-то в данном роде литературы тоже бывают произведения блестящие и глубокие. Но чтобы такие создавать, нужно иметь великую или по меньшей мере значительную идею. Как их имели, например, Достоевский и Честертон.

А есть ли таковая у Акунина?

Боишься, что нет. Хотелось бы сказать предположительно: еще нет. Похоже (желаем надеяться, что ошибаемся!) в голове у него порядочный ералаш, в том, что касается политических взглядов и общего мировоззрения.

Но тут происходит вещь, которая только и случается с подлинно талантливыми художниками слова. Персонажи говорят и действуют сами по себе – и говорят правду. Порою – совсем отличную от намерений автора.

Вот пара примеров. В «Алмазной колеснице» министр Окубо<sup>160</sup>, в условиях реформирующейся Японии конца прошлого столетия, стоит за абсолютную монархию и, между прочим, за дружбу с Россией. Против него борются (и его убивают руками безумных ультраправых фанатиков) сторонники введения парламентарного режима и ориентации на Западную Европу. Мы знаем теперь, что их линия, – безудержной внешней агрессии, – привела в конце концов Страну Восходящего Солнца к небывало страшному краху. Да и лично два главных вдохновителя этой кампании предстают перед нами как подлые и бессовестные карьеристы и интриганы.

Между тем Фандорин, – он в это время занимает пост российского вице-консула в Иокогаме – отражая, вроде бы мысли автора, или, в данном случае просто рассуждающий как типичный русский интеллигент своего времени – твердит, что, мол, России нужна конституция.

Мы знаем, к чему конституция в России привела, когда была дарована: к чудовищно нелепой Государственной Думе, сделавшей все, что могла (и увы! с успехом...) для развала государства.

Отметим, однако, что прежде Фандорин был умнее; в книге «Турецкий гамбит», где действие происходит на несколько лет ранее, чем в «Алмазной колеснице», он говорит следующее: «Я вообще противник демократии. Один человек изначально не равен другому, и тут уж ничего не поделаешь. Демократический принцип ущемляет в правах тех, кто умнее, талантливее, работоспособнее, ставит их в зависимость от тупой воли глупых, бездарных и ленивых, потому что таковых в обществе всегда больше».

Вообще же, на протяжении всего посвященного ему цикла, Фандорин сознает, что революция несет гибель нашей родине и с нею мужественно борется. (Хотя все время стремится к соблюдению строгой законности и высшей гуманности... А мы-то теперь понимаем, что с бесами его эпохи, предтечами большевиков, надо было бороться беспощадно, и что царский режим грешил как раз чрезмерной мягкостью, от чего и погиб).

Эти вот думы неизбежно приходят в голову читателю, имеющему наш, современный опыт!

---

<sup>160</sup> Тосимити Окубо (1830–1878) – японский политик. В разные годы министр финансов, министр внутренних дел Японии.

Фандорин все время встречает в своей работе препятствия со стороны бюрократов и интриганов, вплоть до представителей самых высших сфер. Об этом не совсем приятно читать. Но что же? Могло быть и такое (в не столь резком виде). Так ведь и в «демократиях» не лучше! Франция испытала «панаму» и «дело Ставиского»; США то и дело потешают мир всякими уотергейтами. Фандорин-то разумно следует правилу: «Выполняй свой долг, а там – будь что будет!»

Согласен ли с ним Акунин? Не уверены...

В другом цикле романов, где в центре повествования стоит монахиня Пелагия, мы встречаем чарующую фигуру епископа Митрофания. Может быть даже слишком идеализированную, но, во всяком случае, истинно христианскую, и через чьи уста мы слышим голос православной Церкви. С ним ли автор? Не будем стараться разгадать.

В детективных романах Акунин – мастер высшей марки. Думаем, что успех им на европейском рынке обеспечен (не за идеологию, а за остроту сюжетов). Хотя недостатки в них и есть. В первую очередь – чрезмерная усложненность, чрезмерное число драматических поворотов действия, от коих устаешь.

Но когда он выходит из своей сферы, то, увы, нередко нарывается на фиаско. Например, пародия на Шекспира, «Гамлет», слаба во всех отношениях. Шекспир все же гений, и на него писать пародии трудно. Да, по-видимому, именно к этому жанру у Акунина способностей нету.

Серьезнее другое. В «Алтын-толобасе» он близок к кощунству. Рассказывает о будто бы существующем «Евангелии от Иуды», порочащем Христа (да так, что даже убежденных христиан способно вводить в искушение!). Но и о нем бравый капитан фон Дорн, предок Эраста Фандорина, совершенно правильно говорит еретику Вальзеру, желающему обнародовать сию рукопись, хранившуюся в московских подземельях, что Иуда был лжец, и его хула на Спасителя достойна презрения, а распространение ее было бы величайшим вредом для человечества.

Хуже в «Пелагии и красном петухе». И недаром в этом романе и детективная интрига не на высоте и являет множество противоречий и непоследовательностей.

Переделать на свой лад Евангелие – задача человеку непосильная. На этом потерпел крах Толстой, еще более Булгаков. Не стоило бы и Акунину братья за подобные предприятия!

Впрочем, как знать... Богоборчество не всегда ведет к неминуемой гибели. Известно, что многие выдающиеся люди сперва им грешили, – а потом приходили к вере. Тогда как теплохладные агностики или тупые от природы атеисты Богу не нужны никак. Хотелось бы надеяться, что таким путем пойдет и Акунин.

«Алмазная колесница» делится на две части. В первой действие в 1905 году в России, во второй – в 1878-ом в Японии.

В первом томе мы неожиданно наталкиваемся на купринского штабс-капитана Рыбникова, японского шпиона, притворяющегося русским офицером. Справедливость требует признать, что у Куприна он реалистичнее и правдоподобнее. Зато у Акунина его похождения полны поистине захватывающего интереса.

Второй том не только повествует о приключениях в области политики, любви и философии, включая восточную мудрость, Эраста Петровича Фандорина, но и дает бесспорно интересную картину трансформирующейся Японии, переходящей прямо от феодализма к европейским структурам XX века.

Оба тома, во всяком случае, таковы, что скуки не навеют.

*«Наша страна», рубрика «Библиография», Буэнос-Айрес, 24 апреля 2004 г., № 2746, с. 4.*

## **Б. Акунин. «Внеклассное чтение». (Москва, 2002)**

С некоторым огорчением следим за эволюцией творчества Б. Акунина. Его новый роман проявляет ряд прежних недостатков и, к сожалению, новых, еще худших. Хотя и содержит проблески немалого таланта, ему присущего.

Книга распадается на две части, слабо между собою связанные: в одной действие происходит в современной Москве, в другой – в царствование Екатерины Великой в разных местах России.

Вторая линия гораздо интереснее: настоящий авантюрный роман с напряженным действием. Но увы! Построенный на грубой, тенденциозной лжи, – как только мы попробуем на него взглянуть с точки зрения реальной российской истории.

Екатерина Великая представлена целиком в согласии с наихудшими канонами раннего большевизма. Легко рассказывать о великой императрице похабные анекдоты: но просто нелепо представлять ее глупой!

Нет уж, глупой она никак не была.

С другой стороны, куда как неубедительно изображать ее двор как какое-то собрание клинических монстров и ничтожных интриганов. Вот в романах Алданова (который, однако, тоже относился к Екатерине враждебно) те же нравы, тот же быт представлены несравненно правдивее.

Довольно сравнить Россию, какою Великая Жена (по выражению Пушкина) ее приняла – и какою оставила: расширение ее границ, развитие ее культуры и ее вес на международной арене весьма заметно изменились! Не за это ли ее и не любят?

А люди ее времени тоже были титанами: Суворов, Ушаков, несправедливо оклеветанный Потемкин, – и сколько других!

Говорить же всерьез о жестокостях тогдашней «секретной экспедиции», – нам ли, Боже мой! Мы знаем принцип Фелицы<sup>161</sup>: лучше простить 10 виновных, чем наказать одного неповинного. Что бы сказали о нем товарищи Ежов и Берия? И что бы она сказала, увидев ГУЛАГ советских лет, пыточные допросы чекистов?

Центральный персонаж повествования мальчик-вундеркинд, начитавшийся французской энциклопедии, наставляет царицу, с беспокойством следящую за успехами якобинцев, что, мол, свободные солдаты всегда побеждают подневольных.

Ой, так ли? Суворовские солдаты выкинули французов из Италии; кутузовские разбили Наполеона.

Судьба России XVIII века, в версии Акунина, находилась в руках масонов, а в их рамках боролись добродетельные вольные каменщики и другие, ответвившиеся от оных, которые от идеи прямой борьбы с Сатаной переключились постепенно на служение ему.

Впрочем, о сути масонства у автора – через уста одного из героев, Данилы Фандорина, – вырываются весьма меткие слова: «Стоит добрым, честным, бескорыстным людям объединиться и начать войну во имя хорошего дела, как вскоре главнокомандующим у них непременно оказывается наихудший из злодеев».

Верно, конечно. И не только о масонах. Но все же: при каком изначальном направлении подобные вещи легче всего случаются?

Перейдем ко второй линии, к России наших дней.

Тут мы видим нагромождение непомерных ужасов (не всегда и правдоподобных) дикого капитализма. В обрисовке коих автору решительно изменяет чувство меры и хорошего вкуса.

---

<sup>161</sup> В оде «Фелица» Г. Р. Державин под именем Фелицы изобразил Екатерину II.

Отметим, что в числе действующих лиц (и отнюдь не отрицательных) появляется некий андрогин, – молодой парень, половину времени мужчина, половину женщина, меняющий с одного дня в другой «половую ориентацию» вместе с платьем. Он обрисован с мягким юмором; но нам при чтении, право не смешно, а противно... и даже страшно.

К числу наиболее удачных типов отнесем кошмарную садистку Жанну Богомолу, плавающую в море акул от бизнеса, рвущих глотки друг у друга.

Но приключения действующих лиц и резкие повороты в их участии тут (как, впрочем, и в «екатерининской» линии) вполне невероятны, и читатель должен быть весьма нетребователен, чтобы принимать их с доверием.

Отметим вскользь, что некая дама Цецилия Абрамовна, именуется на страницах «Внеклассного чтения» Цыца, а потом, без особой мотивировки, уже Цаца.

И еще одну курьезную деталь: английские и немецкие слова, пестрящие в тексте (и специально в речи двуполого Вали) даются без перевода, в качестве общепонятных; французские же снабжены подстрочными разъяснениями.

В прежние времена, для культурной публики, было бы, скорее уж, наоборот.

Сомнителен прием (положим, употреблявшийся писателем и ранее) – заменять подлинные имена исторических лиц на выдуманные: графа Зубова на Зурова, Перекусихиной на Протасову.

Невольно думается: не напрасно ли автор оставил Эраста Петровича Фандорина и эпоху, когда тот действовал? Образ добросовестного слуги престола и борца с революцией был для публики оригинальным, неожиданным и, именно поэтому, притягательным. Перемещения же в современность или в более отдаленные времена получаются у Акунина не совсем удачны.

*«Наша страна», рубрика «Библиография», Буэнос-Айрес, 21 сентября 2002 г., № 2715–2716, с. 5.*

## Борис Акунин. «Ф. М.». (Москва, 2006)

С беспокойством следим за эволюцией творчества Акунина. Его серия романов об Эрасте Фандорине была блестящей. Хотя входившие в ее романы не все были одинаково удачны, общий их уровень оставался чрезвычайно высок. Жаль, что она прервалась: мы ничего не знаем о последующих годах Фандорина, не знаем, на ком он был женат, и от кого имел законное потомство (и сколь многочисленное?).

Другая серия, о монахине Пелагии оказалась несколько слабее; и притом первые были лучше, чем более поздние. Самое же худшее, что они соскальзывают постепенно к темам, граничащим с богохульством.

Другие его романы, в которых фигурируют предки и потомки блистательного Эраста, в основном менее увлекательны, оставаясь все же всегда увлекательными, иногда и захватывающими.

Но вот – какая недобрая сила несет автора соревноваться с титанами, что ему явно не по плечу? Если бы он тягался, допустим, с Агатой Кристи или Дороти Сейерс<sup>162</sup>, – оно бы могло быть любопытно. С Конан Дойлем или Честертоном уже не стоило: это большие и своеобразные мастера в своем детективном жанре.

Но с Шекспиром и Достоевским (даже и с Чеховым) ему состязаться явно не следовало. А он пытается, – и крайне неудачно!

Пародировать Достоевского – напрасный труд! Известно, тот не был стилистом, писал небрежно, наспех; но за каждой его строчкой стоит глубина мысли, которую имитировать трудно, а вернее – невозможно.

В «Ф. М.» именно такой рискованный замысел. Впрочем, тут налицо две линии: одна современная, об открытии неизвестной рукописи Достоевского, содержащей вариант «Преступления и наказания»; другая – воспроизведение этого последнего.

Не знаем, использовал ли Акунин подлинные черновики, и в какой степени. Мы-то полагаем, что черновики писателей вообще не подобает использовать для широкой публики, коей они не были предназначены. Тут же мы имеем дело, явно, с неограниченными фантазиями на данную тему.

И все же эти попытки подражания великому писателю представляют собою наиболее интересную часть книги. Современная же часть полна неправдоподобия и, – неожиданно для Акунина! – местами (особенно во втором томе и ближе к концу) просто смертельно скучна.

Не спасают дело и не идущие к сюжету иллюстрации, и еще менее уместные разъяснения в конце второго тома.

Печально, если талантливый, безусловно, писатель будет и дальше топить свои способности на ложном пути!

Ему бы вернуться к статскому советнику Эрасту Фандорину и рассказать нам об элементах его биографии пока нам не известных, – и очень бы для нас любопытных!

*«Наша страна», рубрика «Библиография», Буэнос-Айрес, 11 августа 2006 г., № 2801, с. 7.*

---

<sup>162</sup> Дороти Ли Сейерс (Dorothy Leigh Sayers; 1893–1957) – английская писательница, драматург, переводчик. Одна из основателей британского Детективного клуба.



## **Б. Акунин. «Сокол и ласточка» (Москва, 2009)**

Книга распадается на две части.

Действие первой протекает в наше время, в 2009 году; действие второй в 1703 году. В первой центральный герой Николас Фандорин; во второй – Летиция де Дорн (она же фон Дорн) из замка Теофельс.

Первая часть вызывает у нас определенное разочарование.

Акунину не свойственно чувство юмора, и когда он хочет быть забавным, получается скорей скучно; и даже неприятно.

У этого Фандорина есть полупарализованная старая тетка-миллионерша, мягко сказать взбалмошная.

Она его пригласила на «круизный лайнер “Сокол”», на котором путешествуют дряхлые (но очень богатые!) полутрупы.

Появляются на горизонте жена Фандорина Алтын, и его отвратительная секретарша-дегенератка Валя (эта, по счастью, лишь мельком!).

В остальном, Фандорин с тетушкой занимаются расшифровкой старинного документа о кладе, спрятанном на Антильских островах (написать Карибских у меня рука не поднимается! по-русски они всегда нормально именовались Караибскими).

Во второй части повествование ведется от лица... попугая. Который интересуется жизнью людей и принимает в ней активное участие.

То есть перед нами – волшебная сказка. От коей реализма или хотя бы правдоподобия ни ждать, ни требовать нельзя.

Сказка о пиратах, с переодеванием молодой девушки в мужчину и с приключениями в жанре Стивенсона.

Оставляя в стороне явную невозможность многих ситуаций, можно читать с удовольствием, а то и с увлечением.

Но, увы: постепенно рассказ становится не только искусственным, а и явно неубедительным, не только с точки зрения фактов, но и психологических движений.

Так что, – совсем уж неожиданно, читая Акунина! – под конец начинаешь испытывать скуку.

Возврат на лайнер «Сокол» с корабля «Ласточка», и из эпохи флибустьеров и корсаров в наш век мало помогает делу.

Обозревая творчество Акунина в целом, приходишь к выводу, что лучше всего ему удаются приключения Эраста Фандорина, на фоне предреволюционного времени.

Отчасти и цикл о Первой мировой войне начинающийся двумя романами под заглавием «Смерть на брудершафт» и некоторые о других представителях рода Фандориных (но не те, где сюжет перенесен в современность).

Когда же автор пускается соревноваться с Шекспиром и Достоевским, да даже и с Чеховым – получают сплошные неудачи.

И вообще стремление к экспериментам и погоня за оригинальностью не всегда гарантируют успех.

Жаль, что бесспорно талантливый и своеобразный писатель подобными приемами слишком часто злоупотребляет!

*«Наша страна», рубрика «Библиография», Буэнос-Айрес, 6 ноября 2009 г., № 2879, с. 2.*

**Б. Рябухин. «Кондрат Булавин» (Москва, 1993), «Степан Разин» (Ростов-на-Дону, 1994)**

Нужно немало мужества и оригинальности, чтобы в наше время предлагать публике две исторические хроники в манере Пушкина и А.К. Толстого! Обе написаны в белых стихах, почти всегда правильных, и в обеих довольно хорошо выдержан язык эпохи (хотя сомневаюсь, чтобы разинский казак мог употреблять слово паника, как тут).

Можно бы пожалеть, что автор выбрал своих героев в соответствии с большевистским канонem, из числа революционеров и, так сказать, «коммунистов до Маркса». Но, с другой стороны, Степка Разин издавна был романтическим персонажем, не только в фольклоре, но и в русской литературе...

Да и нужно признать, что противоречивость в действиях этих бунтарей показана у Рябухина достаточно четко; они идут не только вразрез с интересами русского государства, но даже и с глубинными интересами крестьянских масс.

Вот царь Алексей в «Степане Разине» изображен определенно несправедливо; он больше похож на Иоанна Грозного, вопреки своему доброму характеру и, во всяком случае, внешней приветливости, которые ему были свойственны.

Что до Петра Великого, писатель ему как бы отпускает все грехи, заканчивая свою «хронику» его словами:

– Господь, спаси и сохрани Россию!

*«Наша страна», рубрика «Библиография», Буэнос-Айрес, 28 января 1995 г., № 2320, с. 2.*

## В. Бахревский. «Никон» (Москва, 1988)

Роман сделан очень неплохо; сначала вроде бы и не так интересно, но чем дальше, тем с большим увлечением следишь за развитием действия.

Подкупает объективность автора. Его сочувствие, явно, на стороне противников Никона, ревнителей старой веры. Книгу, как факт, с таким же успехом можно было бы назвать «Аввакум»: биография великого расколоучителя подробно рассказана, и его человеческий образ становится нам близок и симпатичен. Но и сам патриарх, несмотря на свои честолюбие и властолюбие и свой крутой нрав, показан в полный рост; государственные заслуги его отнюдь не умалены. Любопытны указания на его мордовское происхождение и его связь со своим родным племенем.

Еще привлекательнее их изображен царь Алексей Михайлович. Писатель широко пользуется, говоря о нем, относительной свободой, которой не имели его предшественники (вспомним, например, роман Шильдкрета<sup>163</sup> «Гораздо тихий государь», где царь представлен безвольным ничтожеством). Подлинно добрый человек на троне, Алексей в то же время и поистине великий монарх: его правление ознаменовывается грандиозным расширением пределов России, воссоединением с нею Белоруссии и Украины.

Эти события вызывают у Бахревского горячие слова патриотической радости, по поводу возврата временно отторгнутых у нас и завоеванных Польшей областей: «Русская земля – живое тело, – рассеченная мечом ненавистника на кровоточащие части, ныне, окропленная живою водой, вновь соединилась, и пред миром, пред светом солнца и звезд, пред надеждою угнетенных и яростью угнетающих должен был явиться богатырь отменной чистой души, ясных помыслов и великой доброй силы».

На фоне рисующих нам картин жизни русского народа той эпохи, равно бояр, духовенства и крестьян, особое место занимают описания колдовства и язычества у уцелевших среди русского моря, вкрапленных в него, остатков угро-финских народностей.

Трудно не усмотреть в повествовании некоторых аллюзий, столь любезных сердцу подсоветских литераторов; впрочем, умеренных, и употребленных со вкусом и кстати.

Стрелецкий десятник Агишев везет опального протопопа Ивана Неронова в ссылку, и дорогой всячески тиранит – а в монастыре, куда тот отправлен, его принимают с колокольным звоном как мученика за правду. Испугавшись, Агишев просит арестанта: «Прости, святой отец, и не погуби!» И Неронов ему отвечает: «Зачем мне тебя губить, сами вы себя погубите. Да уже и погубили». Слова напрашиваются на применение к чекистам нашего века.

Столь же актуальны мысли, вложенные в уста Аввакуму: «Мы и про завтра ничего сказать не умеем, а у Бога и что через год будет записано, и через 10 лет, и на каждый день, на каждый час для всякого, кто с душою рожден».

Тот же Аввакум, вернувшись из заключения, спрашивает жену, помогали ли ей его братья, а та ему за них заступает: «Не ропщи ты на братьев. Страшное нынче время. Не только за подачку, за доброе слово наказать могут». Чем не сегодняшний день?

Выпишем еще такой пассаж об образе Владимирской Богоматери: «То была воистину русская и московская святыня. Из Владимира ее перенесли в 1394 году. Святой ее силой был остановлен Тохтамыш<sup>164</sup>, направлявшийся разорить Москву. Это была совершенная по красоте икона. Ни золото царственных одежд, ни божественное предначертание судьбы младенца Бога-человека не могли укротить в матери любви к своему ребенку. Русские люди шли к этой иконе,

---

<sup>163</sup> Константин Георгиевич Шильдкрет (1886–1965) – писатель и сценарист.

<sup>164</sup> Тохтамыш (?–1406) – хан Золотой Орды в 1380–1395 гг.

чтоб почерпнуть от ее любви. Но и ныне царь припадал к святыне своего отца и деда, и всего своего народа».

Рассказав о наставлении царя военачальникам, выступающим в поход, автор комментирует его чувство следующим образом: «Для Алексея Михайловича его заповедь не была пусто-словием для очистки совести. Эта заповедь происходила из глубочайшей религиозности царя и его понимания царской власти, где ответственность за действия всех людей царства была на его собственной совести».

Закончим воспроизведением сцены, где царь смотрит ночью на церковь в Вязьме:

«Тут как раз тучу снесло ветром на запад, полная луна воссияла на небе, и государь, глядя на трехглавый устремленный в небеса храм Одигитрии, ахнул:

– За такой-то красотой в тридевятое царство ходят, а у нас вот она!

Каменное белое, как серебро, кружево не стояло на земле, оно летело, и все три купола, как три стрелы, как три белые птицы, летели среди небес, и луна летела, и Алексею Михайловичу чудилось, что и сам он тоже летит».

Вот как стали писать в подъяремной России! А люди, достигшие внутренней свободы, добьются, верим и надеемся, и свободы физической. Бог им в помощь!

*«Наша страна», рубрика «Библиография», Буэнос-Айрес, 27 августа 1988 г.,  
№ 1986, с. 2.*

## Суд над левой интеллигенцией

Если изложить суммарно содержание большого романа (780 стр.) Бориса Можая<sup>165</sup> «Мужики и бабы», опубликованного в Москве в 1988 году, это есть рассказ об ужасах раскулачивания, коллективизации, закрытия церквей и подавления крестьянского сопротивления насилию властей. Тут много убийственной для режима правды. Жаль, что автор ее портит (искренне ли или по необходимости) ссылками на Ленина, при котором, мол, было лучше.

Выпишем, однако, оттуда некоторые мысли по вопросам русской истории в целом, вложенной в уста главному положительному герою Димитрию Успенскому (он, между прочим, сын священника; этого бы, однако, довольно оказалось в сталинские времена, чтобы книгу запретить, а автора отправить в места не столь отдаленные):

«Дело в той привычке традиции – пинать русскую государственность, в той скверной замашке, которая сидит у нас в печенках почти сотню лет. Дело в интеллигентской моде охавать свой народ, его веру, нравы, только потому, что он живет не той жизнью, как нам того бы хотелось... Ну, а если русский человек гордится святыней национальной жизни, мы тотчас обвиняем его в шовинизме и требуем переделать среду, то есть разрушить памятники, выжившие эту национальную идею... Русская идея культурного призвания всегда была не привилегией, а сущей обязанностью, не господством, а служением. Посмотрите хотя бы на историю освоения Сибири, приобщения к русской культуре ее народностей. Вы заметите всюду необыкновенную жертвенность русских учителей, докторов, миссионеров. Конечно же, национализм, замыкающийся в своей исключительности, как в ореховой скорлупе, скуден и ограничен. Но идея национальности, понимаемая как культурная миссия, благотворна по сравнению с бесплодным космополитизмом. Люби все народы, как свой собственный!.. Я говорю про нашу радикальную, самовлюбленную, самоуверенную интеллигенцию. Она всегда стремилась вывести сознание из-под контроля нравственности. Она плевала на религию, на семейные устои, на общественную традицию... Ведь те дореволюционные интеллигенты имели такие права, которые нам теперь и не снятся. Но им мало было...»

Опираясь на В. Соловьева и на Достоевского, Успенский подробно разбирает и уничтожающе критикует Чернышевского и его теорию разумного эгоизма. Вторит ему и другой, тоже положительный, персонаж книги, Роман Юхно: «Устроить жизнь человека без Бога, без религии – давненько пытается так называемый прогрессивный материализм».

Сходно по сути, рассуждают и мужики. Один из них, Прокоп Алдонин, говорит так: «Сейчас ты ничего не увидишь. Эдак лет через 50 или 100 видно будет как сложится жизнь – побожески или по законам Антихриста». Вот мы и увидели...

Любопытны вскользь упоминаемые писателем слухи в крестьянской среде о Лжеанastasии, порождающие надежду на возврат монархии.

Не везет советской власти с писателями-деревенщиками! Все больше, все громче поднимают они речь об ее преступлениях, все сильнее колеблют самые ее основы... Не близится ли уж для нее час расплаты?

Рецензируемая книга входит в состав серии Библиотека российского романа. Не так давно еще, подобная фразеология было бы невозможна: для большевиков существовал только советский роман, в крайнем случае – русский. *Tempora mutantur*<sup>166</sup>...

*«Наша страна», рубрика «Среди книг», Буэнос-Айрес, 10 сентября 1988 г., № 1988, с. 4.*

---

<sup>165</sup> Борис Андреевич Можаяв (1923–1996) — писатель, поэт.

<sup>166</sup> Времена меняются (лат.).

## Василий Белов. Воспитание по доктору Споку (Москва, 1978)

Мы, в эмиграции, слышим время от времени (включая из уст Солженицына) о расцвете сейчас в СССР литературы на деревенские темы; но, в общем, с ней мало знакомы, кроме превосходных рассказов и романов Солоухина.

Разбираемая книга представляет собою именно образец такой литературы, и на высоком уровне; в особенности, стоящая в ней первой (и, действительно, далеко превышающая по качеству остальные четыре новеллы) повесть «Плотничьи рассказы».

Тут описаны, безо всякого нажима, судьбы двух односельчан, родившихся в конце прошлого века, Олеши Смолина и Авинера Козонкова. Оба, каждый в своем роде, – типичные русские крестьяне; только первый вобрал в себя лучшие, а второй – самые скверные черты нашего национального характера.

Смолин от роду (таков был уже его отец и, похоже, такова же и его единственная дочка) – работяга, честный и скромный, с инстинктивной деликатностью и тактичностью, сдобренной в меру развитым чувством юмора. Козонков – бездельник, наглый горлопан и, во всех случаях жизни, бессовестный плут, к которому, как по мерке, прикладывается есенинская строчка:

«Мужик, что твой пятый туз».

При нормальных условиях (и в царской России, в частности), Смолин с семьей пошли бы в гору, а Козонков – вниз, и, верно, кончил бы в тюрьме или под забором. Революция смешала карты...

Впрочем, мы видим, в наши дни, обоих в почти равном положении, в жалкой обстановке захолустного колхоза; только на совести у Козонкова – участие во всех ужасах раскулачивания (чем он сам-то лишь гордится и даже хвастается...), а у Смолина совесть чиста, хотя тяжелых испытаний у него за спиной много осталось.

«А тут еще и меня начали прижимать, такое пошло собачество...» – сжато роняет он о событиях после того, как он отказался подписать, в качестве понятого, акт о ссылке мало-мальски зажиточного соседа.

То, что эти два столь различных человека – Смолин и Козонков, между собою еще и приятели, хотя им и случается по пьяному делу вцепиться друг другу в волосы (а выпить они оба не дураки!) – такое только и бывает в России и, вероятно, иностранцу непостижимо.

Кусок правды о страшном, безумном и преступном периоде коллективизации (а мы еще все, по инерции, ахаем про жестокости помещиков!) делает честь автору. И метко он подмечает, что старый плотник, разговорившись, потом опасливо спрашивает: «А ты не партийный?»

Герой Белова<sup>167</sup>, ведущий персонаж всего сборника, инженер Константин Зорин, замаявшись, отзывается:

– Как тебе сказать... Партийный, в общем-то.

Раз люди начали всерьез стыдиться принадлежности к компартии, значит, сознание и совесть в них пробудились. И это – залог лучшего будущего для нашей родины!

*«Современник», рубрика «Библиография, Книжное обозрение», Торонто, 1979 г., № 43–44, с. 258–265.*

---

<sup>167</sup> Василий Иванович Белов (1932–2012) – писатель, поэт. Один из родоначальников «деревенской прозы».

## В. Белов. «Все впереди» (Москва, 1987)

Короткий роман одного из самых популярных сейчас в СССР писателей читается с напряженным интересом, но оставляет странное впечатление. Сначала действие развивается стремительно, почти что – не по дням, а по часам. Потом же, между первой и второю частью, – интервал в 8 лет. А такое обычно (кроме разве у самых больших мастеров) публику сильно расхолаживает.

Мало того, – обрывается книга тоже как-то посередине: судьба героев не решена, развязка остается неизвестной.

Есть разница между двумя частями и в другом: если в первой много событий, – во второй перед нами главным образом разговоры; споры, правда, о важных принципиальных вопросах, от каких мы в подсоветской литературе отвыкли; хотя в прежней, – у Тургенева, Гончарова, Чехова, – им традиционно отводилось значительное место.

Выведенные на сцену персонажи – московская интеллигенция высокого полета. Горестное впечатление оставляет то, как часто они, и мужчины, и женщины, прибегают к бутылке. В частности, во всех как теперь принято выражаться конфликтных ситуациях, – их первая реакция напиться, и даже не раз нализаться до чертиков, а скорее запить на несколько дней. Главный герой, Медведев, усомнившись в верности жены, пьянствует столь основательно, что за служебные упущения попадает в концлагерь, теряя буквально все: работу, положение в обществе, семью...

Его друг, нарколог Иванов, даже прямо не замешанный в происходящем, а руководимый лишь сочувствием пострадавшему, тоже подпадает под власть зеленого змия, и только чудом выпутывается из серьезных неприятностей.

О других действующих лицах мало что можно сказать: жена Медведева, Люба, хотя целые главы написаны как бы от ее лица, представляется для нас загадкой. Обманывала ли она мужа? почему бросила его в беде? – эти вопросы не разбираются и не освещаются. Остальные женщины тоже обрисованы только широкими мазками; относительно ярче прочих изображена распутная алкоголичка Наталья.

Мы коснулись слабостей и отчасти достоинств произведения. Но о нем, в эмиграции и на родине, идут горячие дискуссии, – и вовсе с иной стороны. Нашлись лица, которых взбесило, что отрицательная фигура Михаила Георгиевича Бриша дана как принадлежащая к еврейскому племени.

Поистине, – руками развести! Разве все евреи должны быть симпатичными? Или о несимпатичных запрещено говорить в печати? Впрочем, в основном-то, мы бы даже не догадались, что Бриш еврей, если бы не один эпизод в конце сочинения, где он в раздражении выбалтывает Иванову свой взгляд на русских в целом.

«Вы скифы, как сказал Блок» – кричит он – «Вам вообще суждено исчезнуть! Потому что вы нация пьяниц! Вы уже исчезаете! Ваши женщины разучились рожать! Ха-ха! Не желают, и все тут!»

На что Иванов ему довольно резонно отвечает: «Пшел ты знаешь куда?»

Безусловно, реплики Бриша вызывают негодование. Будь они выдуманы, можно бы было обидеться за евреев и упрекнуть Белова в несправедливости, даже допустим, в антисемитизме. Но горе-то в том, что ведь это не вымысел и не фантазия... Именно это (и хуже гораздо еще!) тянут дружным хором, за границей и внутри Советского Союза, Горенштейн<sup>168</sup>, Хазанов, Вольфсон, Эйдельман и иже с ними.

---

<sup>168</sup> Фридрих Наумович Горенштейн (1932–2002) — писатель, драматург. С 1980-х в эмиграции, сначала в Вене, затем в Берлине.

Все они охотно плачутся на антисемитизм, улавливая его и там, где его в помине не было, – а сами поносят Россию и русский народ в самых грязных, в самых злобных и подлых словах. Так уместно ли им сердиться на Белова? Пословица гласит: «Неча на зеркало пенять, коли рожа крива!»

Трудно понять вообще, на что рассчитывают и чего добиваются эти люди? Кроме непосредственной и верной сиюминутной выгоды: субсидии от глупых американцев они получают без промаха! Хотя вовсе не надо глубокого ума, чтобы предвидеть, что подобная пропаганда не может принести и не принесет Соединенным Штатам никакой реальной выгоды.

Отвлекаясь от красноречия Миши Бриша, отметим еще один пассаж во «Все впереди», который не исключено, взволновал известные круги критиков, *inde ira*<sup>169</sup>: «Существует могучая, целеустремленная злая и тайная сила», – так думает один из персонажей романа. И, судя по контексту, тут речь отнюдь не об евреях... Скорее, можно предположить, о масонстве. Которое, впрочем, другой персонаж и в другом месте так по имени и называет.

А вообще, скажем еще, что книга наводит на мысль, что в ней многое вырезано, если не цензурой, то самим автором, почувствовавшим что не все можно высказать в печати, в подсоветских условиях. Что же, – будем ему благодарны и за то, что он сумел и поспел сказать!

*«Наша страна», рубрика «Библиография», Буэнос-Айрес, 8 октября 1988 г., № 1992, с. 2.*

---

<sup>169</sup> Отсюда гнев (лат.).



## В. Астафьев. «Жизнь прожить» (Москва, 1986)

Входящим в состав книги романом «Печальный детектив», В. Астафьев<sup>170</sup> снискал себе признание и любовь народа, – и ненависть группы злобных фанатиков, которые русскому народу враждебны: г-на Эйдельмана, его мюнхенского агента Б. Хазанова, и Ко. Жалкие, ничтожные люди! Их истерический визг только и будет содействовать успеху книги и славе ее автора.

Эту грустную историю отставного служащего милиции, отдавшего здоровье борьбе с преступниками, можно было бы назвать «Прозрение». Нигде не высказывается прямое отрицание советской власти или большевицкого строя (иначе бы роман в СССР и не напечатали!). Но то, что в ней говорится, – убийственно. Оно бьет беспощадно и наповал.

Например: «На месте стадиона был когда-то патриарший пруд, с карасями, кувшинками, лилиями и могучими деревьями вокруг. Борясь с мракобесием сановных, исторически себя изживших церковников, деревья свалили, воду вместе с карасями засыпали шлаками и землей, вынутыми из-под фундамента новостроек». Или вот рассуждения о жизни одного из самых положительных персонажей, крестьянина Маркела Тихоновича, тестя главного героя: «Война и пустобрехи довели до того, что села наши и пашни опустели».

Горькой иронией звучат рядом голоса уже состарившихся подружек его жены, принадлежавшей в молодости к тому классу, который И. Л. Солоневич именовал «активом»: «Худа жись была. Отсталость. Темнота. Теперь што не жить? Елестричество кругом. Телевизир смотрим...»

Но еще страшнее, еще безрадостнее выглядят результаты коммунистического просвещения, отраженные в речах неплохой в сущности деревенской девушки, прошедшей курс средней школы в своем захолустье: «Мистические настроения Гоголя, навеянные ему отцами церкви с их мрачной и отсталой философией, привели и не могли не привести к духовному краху великого русского писателя». Или, о Пушкине: «Паша вдохновенно обличала высший свет и пагубную эпоху, в которых великий поэт и мученик погряз, крыла графа Бенкендорфа, саркастически сокрушала царя, критикуя его, будто пьющего бригадира на колхозном собрании, резко и беспощадно».

Но не было ли все это еще вчера, да и не остается ли и сегодня последним словом марксистской науки?

Отметим, что пушкиноведческие исследования товарища Эйдельмана тоже ведь выдержаны в том же тоне (хотя и потоньше). Как же было ему не рассердиться?

Слава Богу! Мы видим, что массы подсоветской России сию гнусную премудрость не только что не приняли, а от нее, наконец, и вслух отрекаются! Это и есть духовное возрождение; это и есть пробуждение живых и здравых национальных сил. Остальное – приложится.

Вот отчего взбеленилась та тварь, каковую мы выше и поименно обозначили. Натянутые обиды на антисемитизм (которого в романе Астафьева и в помине нету!) – дело второстепенное, грех его в том, что он посмел посягнуть на их устои, на то, без чего их, – левых образованцев – власть распадется во прах (она и распадается...).

Оттого и взвыла нечисть, и взвились на черных крыльях вампиры-нетопыри. Да поздно! Такие слова, раз произнесенные громко, – точнее выражаясь, отпечатанные солидным тиражом в томике, расхвачанном публикой, – не заглушишь. Это надпись, какую, согласно пословице, и топором не вырубешь.

---

<sup>170</sup> Виктор Петрович Астафьев (1924–2001) – писатель, драматург, публицист, общественный деятель.

Притом же... Разве Астафьев одинок? То же самое, пусть и в других словах, сказали уже немало других. Стоит ли имена перечислять? Большинство писателей-деревенщиков (да и некоторые из иных писателей) внутри СССР; кое-кто и за рубежом.

Кое-что в романе, казалось бы, должно бы прийтись по нраву плюралистам и всяческим русофобам: суровое изображение пьянства, хулиганства, бессмысленного безобразия, разврата среди молодежи. Но нет! То, да не то. Проницательных недругов на мякине не проведешь. Рядом с плохим, показано и хорошее; даже у злодеев, а тем более в отношении к ним окружающих, пробивается то, что клеветникам России нужно отрицать и скрывать. В строках «Печального детектива» отчетливо бьется:

Золото, золото... Сердце народное...

*«Наша страна», рубрика «Библиография», Буэнос-Айрес, 8 августа 1987 г., № 1932, с. 2.*

## Писатель русской земли

### 1. Всяк сущий в ней язык

В сборник новых сочинений в прозе В. Солоухина<sup>171</sup> «Смех за левым плечом» (Москва, 1989), помимо повести, носящей вышеприведенное заглавие, включено еще 3 раздела, все чрезвычайно интересные: «Рассказы разных лет», «Сосьвинские мотивы» и «Ненаписанные рассказы». Остановимся на среднем из них.

Автор описывает поездку в Ханты-Мансийский национальный округ, предпринятую им вместе с его другом вогульским поэтом Юваном Шесталовым, и в компании с профессором будапештского университета М. Варгой.

С первых строк мы погружаемся в атмосферу теплоты и сочувствия русского писателя к народу манси, от которого осталось теперь примерно 7000 человек (тогда как до революции было гораздо больше; по иным подсчетам до 18000 человек). Манси или вогулы, как известно, принадлежат к финно-угорской расе, и в ее рамках являются ближайшими родственниками венгров.

Политику советской власти в отношении вогулов Солоухин резюмирует следующим образом: «У нас привыкли говорить примерно так: “Отсталый некогда край сделался индустриальным”. К этой формуле мы привыкли. Но ведь если в приуральскую тайгу врубилась нефтяники и газопроводчики с тяжелой современной техникой, это что же манси развивают свою индустрию? Да нет, просто это на месте их обитания действуют нефтяники и газопроводчики».

А как эти последние и вообще советская власть действуют, он рассказывает и подробнее: «Быть богатым – не значит быть расточительным. Из кладовой природы надо бы брать столько, чтобы она не скудела. А у нас на протяжении десятилетий один только лозунг был: давай, давай, давай! Черпаем пригоршнями, торопливо, как будто дорвались до чужих сокровищ и задача – как можно больше и как можно скорее нахватать. Это не только рыбы касается. А с лесом – разве не так? Руби, вали, – выполняй план. А то, что 3-я часть древесины остается невывезенной, а также в виде верхушек, пней, сучьев, а также в виде топняка в сплавных реках, это – пустяки. Много всего. Что-нибудь да останется. А нефть? Вся Западная Сибирь искорежена, изрыта, истерзана торопливыми нефтепромыслами. Тоже половина мимо кармана сыплется. Если бы так было где-нибудь... там, у них... в Африке... Наши газеты писали бы, что это хищническое отношение к природным богатствам».

И дальше, с еще большею горечью: он подытоживает: «Когда говорят, что повысилась техническая оснащенность охотничьего и рыболовного хозяйства, это вовсе не означает, что охотники и рыболовы манси имеют теперь больше соболей или нельмы, но что их руками все больше и больше добывается богатств из их лесов и рек... А сами они... Ну что же сами... Не в соболях, конечно, ходят, в стеганках и треухах из искусственного меха... А если манси, живущий на этой реке потомственно, из поколения в поколение, добудет соболя или нельму и не сдаст ее государству, то это уж будет браконьерство, и карается оно по всей строгости законов, вплоть до тюрьмы».

Спросить об этом самих вогулов? Послушаем Ю. Шесталова<sup>172</sup>: «Один венгр» – говорит Юван, – «написал в финском журнале статью “Пропать между поколениями приобских югров”. Там он задал риторический, каверзный вопрос: “Можно ли помочь народу, который

---

<sup>171</sup> Владимир Алексеевич Солоухин (1924–1997) – писатель, поэт, публицист. Один из самых значительных представителей «деревенской прозы».

<sup>172</sup> Юван Николаевич Шесталов (1937–2011) – первый профессиональный поэт и писатель манси (коренного населения Ханты-Мансийского автономного округа).

сам этого не хочет?»» «А ему не пришло в голову» – продолжал Юван» – «что может быть народам Севера нелегко? Севера, из недр которого черпают нефть и газ, топчут землю железными сапогами машин и трубопроводов, изводят из рек рыбу, из тайги зверя, а людей сгоняют в большие селения, где вместо зверя люди принуждены охотиться за бутылками...»

Не удивительно, что однажды, потеряв терпение в споре с мелким администратором, Шесталов взрывается нижеследующим монологом: «Куда вы дели всех наших лошадей?! Куда вы дели всех наших коров?! Куда вы дели всю нашу рыбу, наших оленей, наших соболей, наших медведей, наши игрища, наши танцы, наши песни? Где наша нельма? Где наш муксун? Где наша сосьвинская селедка? Где наши осетры? Мы их не видим. Манси питаются килькой в томате! Где наши рябчики и глухари? Где наши гуси и утки? Где наши праздники, где наши ярмарки?»

Все это, дай в руки русофобам, с какою радостью они бы обратили против русского народа и употребили бы для агитации за расчленение России (хотя куда вышли бы из России вогулы и прочие маленькие народности Империи?! Но Солоухин сам русский патриот, и он мыслит иными категориями. Выше была речь о противопоставлении вогульского народа советской власти. А вот как складывались (в передаче самих вогулов) его сношения с русским народом, – с настоящим русским народом: завезли на Сосьву раскулаченных. «Гибли они как мухи. Начали, кто оставался жив, зарываться в землю. Приходили на наши стойбища скелеты скелетами. Подкармливали их наши, особенно с детишками на руках. До весны коротали они в норах. Потом, кто выжил, стали строить домишки. С весны начали землю ковырять, каким-то непостижимым образом появилось у них земледелие. Потом, когда у нас самих начался голод, мы уже к ним за пропитанием ходили. Они подавали нам картошинку... кусочек хлеба...»

Не следует, однако, думать, будто Солоухин специально симпатизирует именно одним вогулам. Сходные слова понимания и сочувствия он находит и для других племен нашего Отечества. Вот в этом же самом сборнике очерк «Главный лама Советского Союза»:

«В Бурятии было 36 древнейших и богатейших буддийских монастырей-дацанов. В них хранились старинные тибетские книги, драгоценная утварь и бесчисленные культовые произведения искусства, главным образом статуи, скульптурные изображения Будды во всем их разнообразии, других божеств, паломников. Не говоря уж о том, что много было золота, драгоценных камней. Не говоря уж о том, что сама архитектура древних дацанов представляла собой огромную ценность.

В 1936 году все 36 буддийских монастырей в Бурятии были уничтожены и стерты с лица земли. Ценность погибшего, историческую, художественную и просто материальную, невозможно вообразить. Рассказывали, что страницами древних тибетских книг были устланы целые поля».

Кроме того, приведем, например, отрывок из пользующегося заслуженною известностью открытого письма Солоухина по поводу «Мемориала» (опубликованного первоначально в журнале «Наш Современник»): «Куда, к какой географической точке привязать, если бы захотели воздвигнуть, мемориал мученикам Украины, Кубани и Поволжья, Сибири и русского Севера, скотоводам Казахстана и Киргизии, садоводам Таджикистана, труженикам-узбекам, кавказским народам, белорусам, крестьянам коренных российских губерний?»

Скажем еще, что к армянам и грузинам наш писатель питает, определенно, особую слабость; в их обычаи и традиции, вплоть до одежды и кухни, он старательно вникает в целом ряде очерков. Кавказских же поэтов, аварского Р. Гамзатова и кабардинского А. Кешокова<sup>173</sup>, Владимир Алексеевич даже переводил в стихах.

Из тех плюралистов, которые так громко требуют сейчас из-за границы распыления России на сотню кусков, стараясь натравить на русских все остальные народности СССР, у кого

<sup>173</sup> Алим Пшемахович Кешоков (1914–2001) – поэт, писатель. Народный поэт Кабардино-Балкарской АССР.

есть перед данными племенами такие заслуги, как у Солоухина? Кто из них изучал всерьез быт угро-финских или палеоазиатских народов, кто переводил творения местных поэтов? Когда уж они все же говорят о лопарях, чукчах или эскимосах, то, обычно, в тоне глумливого презрения, с фыркающей насмешкой (вспомним, на сей счет, кой-какие высказывания Л. Друскина и Ю. Гальперина). Представляю читателю сделать вывод о том, у кого более человечный и справедливый подход к национальным проблемам России: у считаемого ими за реакционера Солоухина, или у самих этих псевдо-либералов.

Замечу заодно, что события-то в Советском Союзе упорно развиваются не так, как бы этим последним хотелось: когда имеют место межэтнические столкновения, то не между инородцами и русскими (как бы того хотелось плюралистам и их американским хозяевам), а совсем иначе; между армянами и азербайджанцами, между месхами и узбеками, причем русским приходится их разнимать.

*«Наша страна», Буэнос-Айрес, 12 августа 1989 г., № 2036, с. 1.*

## 2. Край родной долготерпенья

Владимир Алексеевич Солоухин одарен, по-видимому, от природы, талантом рассказчика. О чем бы он ни писал, – будь то о посещении им китайского ресторана в Париже или об автомобильной катастрофе, приключившейся в его родном селе Алепине, – нам всегда интересно, и мы с увлечением следим за его повествованием.

К своим произведениям он вполне имел бы право применить то, что говорит по поводу С. Аксакова: «Давайте считать занимательной такую книгу, от которой невозможно оторваться, пока не прочитаешь ее от начала до конца, а прочитав последнюю страницу, до слез сожалеешь, что книга кончилась, что нет и никогда не будет ее продолжения».

Именно такое чувство и испытываешь, закрывая главные вещи Солоухина: роман (почему-то, увы, единственный у него!) «Мать-мачеха», очерки «Владимирские проселки», «Славянскую тетрадь», «Черные доски», сборники рассказов, афоризмы, соединенные под общим заглавием «Осенние листья», да и все, что вышло из-под его пера.

Пишет Солоухин на самые разные темы, в различных жанрах. Но можно проследить в его творчестве ведущую нить, главную (или, во всяком случае, одну из главных) линию: острую скорбь о том, что большевики сделали с Россией, с русским крестьянством, с памятниками нашей старины, с национальной нашей литературой, с духом и характером русского народа.

Отметим мимоходом, что он, бесспорно, стоял у истоков создания движения, известного теперь как «Память» В сборнике его критических статей, выпущенном в 1976 году, «Слово живое и мертвое», в короткой заметке «Пожар осветил», он говорит: «Давно пора создать всесоюзное добровольное общество по охране памятников старины», и с грустью добавляет в сноске: «Теперь такое общество существует, что, впрочем, не помешало быть взорвану собору в центре Брянска».

К предмету разрушения неповторимых ценностей искусства, он возвращается раз за разом. Приведем как пример короткий рассказик «Изъятие красоты». В нем автор беседует с неким советским работником музея в Вологодской области, и тот, показывая ему на старинный монастырь, с ободранными куполами и сбитыми крестами «хвастается перед приезжим человеком»: «Видите купола, это я их так», и на недоуменный вопрос «Зачем?», разъясняет: «Не наша это была красота, чужая, чуждая». А на возражение упрямо повторяет: «Мы смотрели иначе: прошлое – значит, чуждое, подлежит ликвидации, и никаких гвоздей». Из дальнейшего же мы узнаем, что во всем городе за годы советской власти не было построено ни одного маломальски красивого здания...

Однако, Солоухин, – не будем забывать, что он не только прозаик, но и поэт, – еще лучше выразил все это в стихах:

В черную свалены яму  
Сокровища всех времен:  
И златоглавые храмы,  
И колокольный звон.  
Усадьбы, пруды и парки,  
Аллеи в свете зари,  
И триумфальные арки,  
И белые монастыри.

К тому же сюжету приводит нас миниатюра «В старинном селе». Степан Ильич, первый председатель сельсовета, который некогда устанавливал в родных местах советскую власть, вспоминает, как громил церковь: «Согнали народ на площадь, образовали круг. В круг положили все, что напоминало о старом: иконы, вышитые ризы, всякие деревянные статуи, книги по пуду в каждой, в кожаных крышках... Я пучок соломы подложил... Бутыли керосину не пожалел. За полчаса прополыхало... Которые плачут, которые крестятся, которые так стоят. Но чтобы кто-нибудь что-нибудь – ни-ни. Ну, правда, у меня наган на боку. И милиционер ради такого случая».

Его же описание прежней жизни села вызывает у героя, от лица которого ведется рассказ вопрос: «Куда же все подевалось, Степан Ильич? И девять чайных, и семь лавок, и рубленая печенка, и рубец с чесноком, и чай парами, и баранки, и лещевая икра в огромных кадках, и уха, и солянка, и пасеки, и медовое сусло, да и... пиво?» – «Кто-е знает» – отзывается советский бюрократ, – «Расточилось как-то все. Было – и нет. Как приснилось».

В другом, гораздо большем по объему, рассказе «Первое поручение» советский администратор Петр Петрович Милашкин живописует свои подвиги времен раскулачивания. И когда писатель спрашивает, за что он выкинул из дома в мороз, на гибель, крестьянскую семью, тот сбивчиво пытается растолковать: «Нет, ты неправильно ставишь вопрос. Не его одного ведь. Сейчас стало известно пять или шесть миллионов семейств. Как это – за что? Тогда об этом не разговаривали. В 24 часа... Ну... За что, за что? За то, что он подошел под рубрику, “ликвидация кулачества как класса на базе сплошной коллективизации”».

В том же рассказе Солоухин цитирует воспоминания своего приятеля из большого приволжского села: «У них будто было три волны. Первая унесла двух действительно богатеев. Потом пришла разверстка раскулачить еще восемь хозяев. Стали думать, скрести в затылках. Кое-как набрали, наметили мужиков поисправнее. О зlostных здесь не было и речи. Ладно, увезли и эти восемь семейств. И старики, не слезавшие уже с печи, и младенцы из люлек, и девушки на выданье, и парни, и женщины с заскорузлыми от земли и воды руками – все пошли в общие подводы, все канули в беспредельную метельную ночь. Но оказалось, на этом не кончилось. Вскоре поступила новая директива – дораскулачивать еще одиннадцать крестьянских хозяйств. Правда, село большое. Но ведь два, да еще восемь, да еще одиннадцать... Всю ночь заседали, прочесывали списки вновь и вновь, ставя против иных фамилий зловещие, отливающие железом, жирные галочки». Для жертв это означало следующее: «С собой придется взять только то, что на себе, все добро останется в доме, который теперь уж не твой, и все, что в нем теперь останется, – теперь не твое, и вся жизнь, прожитая в доме и тобой, и отцом, и дедом».

Как бы итог – и до чего же трагический и жуткий! – подводит писатель в повести «Сосьвинские мотивы»:

«Если бы существовала единица измерения человеческих страданий (на тонны, на мегатонны), то все равно не хватило бы никакой шкалы измерить человеческие страдания на территории страны в 18-е, 19-е, 20-е годы, в 30-е годы, в военные годы, произошел бы новый всемирный потоп, затопило бы весь земной шар вместе с Эльбрусами, Эверестами, Килиманджарами.

Тиф и гражданская война, “рассказывание” России и соловецкие лагеря, голод на Украине и в Поволжье 1933 года (более семи миллионов человек), инспирированный, кстати сказать, голод, лагеря 30-х и 40-х годов... С верхушкой затопило бы Гималаи и сам Эверест. Боже, и Ты все видишь?»

Пытаясь осмыслить судьбу раскулаченных, автор продолжает: «Но за что? Теперь, впрочем, уже мало у кого может возникнуть вопрос: “За что?” Тогда надо спрашивать, за что люди гибли в 20-е годы, за что они гибли на Соловках, а позже и в других лагерях. За что они гибли от голода в 1933 году, за что лучшая часть российской интеллигенции оказалась в изгнании, в эмиграции, за что, за что, за что? Перечнем вопросов можно исписывать целые страницы. За что, скажем, умер от истощения в 40-летнем возрасте Блок, за что был поставлен перед жестокой необходимостью смерти Сергей Есенин. Надо теперь задавать уже другой вопрос:

Ради чего?

Ведь когда энтузиасты махали шашками и трясли наганом да маузерами в начале 20-х годов, все они махали шашками (и выкрикивали перед эскадронами) “за светлое будущее!” Не может не прийти в голову, что наши дни с очередями в магазинах, с нехваткой продуктов и жилья, с алкоголизмом, с низжайшими урожаями и надоями, с низжайшей производительностью труда и некачественной продукцией, с эпидемией рок-музыки и “видиков”, с наркоманией, с абортами школьниц – это и есть ведь то самое светлое будущее, ради которого махалось шашками. Не на тысячу же лет они заглядывали вперед, да и на 70-е едва ли заглядывали. Какие там – 70! Вот кончится гражданская война – и светлое будущее. Вот вывезем “кулаков” из деревни – и светлое будущее. Вот выполним пятилетку и светлое будущее. Вот разоблачим, расстреляем “врагов народа” и – светлое будущее, вот кончится война и – светлое будущее...»

Можно ли составить более страшный, более убийственный обвинительный акт против большевизма?

*«Наша страна», Буэнос-Айрес, 19 августа 1989 г., № 2037, с. 1.*

### 3. Наперекор стихиям

Наши плюралисты, по всему Зарубежью, сосредоточили ныне свой огонь на Солоухине. Это, в некотором роде, комплимент: до сих пор подобная честь оказывалась одному Солженицыну. Почему перемена прицела? Оно отчасти понятно: Александр Исаевич уже давно молчит (хотя нам всем так бы хотелось его слово услышать!) о главных проблемах сегодняшнего дня: о перестройке, о гласности, обо всем, происходящем в СССР.

Атаки, посыпавшиеся на него в эмиграции, интересны тем, что благодаря им выявляется, в известной степени, расщепление оной на два фронта: национальный и антинациональный. За Солоухина явно высказываются «Наша Страна», «Голос Зарубежья», «Русская Жизнь», «Грани» и «Континент»; против него – «Новое Русское Слово» (устаами О. Максимовой) и «Круг» (устаами М. Михайлова). «Русская Мысль» распространяет, в виде своего приложения, под-советский бюллетень «Гласность», где небезызвестный русофоб Г. Померанц<sup>174</sup> специально ярится и аж беснуется против Солоухина. Тогда как в «Посеве» В. Казак<sup>175</sup> его вроде бы и защищает, но так вяло и двусмысленно, что лучше бы не надо совсем.

Самому-то писателю, вероятно, заграничные нападки безразличны: он более сильные удары привык получать от властей на родине. И, можно сказать, за дело! Значительная часть его литературной работы падала на периоды культа личности и застоя; и уже тогда нельзя было не дивиться смелости его высказываний, совершенно необычной в советских условиях.

<sup>174</sup> Григорий Соломонович Померанц (1918–2013) – писатель, публицист. Участник диссидентского движения.

<sup>175</sup> Вольфганг Казак (Wolfgang Kasack; 1927–2003) – немецкий литературовед, переводчик, славист. Автор «Лексикона русской литературы XX века».

Когда-то меня поразило одно место в выпущенной в 1972 году «Славянской тетради» (описывающей путешествие по Болгарии), где изображался разговор автора с типичным совпатриотом из среды старой русской эмиграции (а уж эту публику я как хорошо знал по Парижу, в котором она была богато представлена в первые годы после войны!). Желая подольститься к советскому туристу, тот стал ему ругать царскую Россию: «Ну что же Россия... бездарные и продажные генералы... Офицеры – без чести и совести» – и почти с ужасом услышал от гостя из СССР такую отповедь: «Позвольте, неужели так уж все бездарные и продажные? К тому же без чести и совести? Не будем брать ну там Суворова, Кутузова, Нахимова, Макарова, Корнилова. Это – хрестоматия. А храбрость Багратиона, а мужество и удаль Дениса Давыдова, а Тушин в описании Льва Толстого, да и сам Лев Толстой – офицер Севастопольской кампании. Вы живете в Болгарии, наверное, вы знаете, что здесь существует парк Скобелева. Вы знаете, что, когда Скобелев вел войска на приступ, у него вражескими пулями перешибло саблю. Притом он всегда на белом коне. А морские офицеры “Варяга”... Напротив, мне казалось, да и из литературы известно, что существовали понятия о чести, может быть, слишком уж жестокие...»

В те годы это звучало совершенно необычно. И между тем, я учитывал давление цензуры. То самое, о котором писатель теперь сам рассказывает нам в очерке «Как редактировали мою статью о Тургеневе», начинающемся фразой: «Сейчас положение таково. Одну фразу, которая была бы потом опубликована без изменения, я написать не могу. Но если я напишу страницу, то неизбежно придется там при опубликовании что-то смягчать, сглаживать, округлять, а то и вовсе вычеркивать». И продолжает, излагая свой опыт: «Правка была очень хитрой. Дело отнюдь не в объеме вычеркнутого. Там фраза, там полфразы, там и абзац, там пол-абзаца. Можно отлить половину вина, однако оставшаяся половина сохранит все вкусовые качества напитка, терпкость, аромат, и т. д. Но можно как-нибудь вытянуть из него некоторые компоненты (как соль из супа) и вкус резко изменится, при том, что по объему вроде бы и не ubyло».

Далее он комментирует: «Возникает вопрос, почему же авторы соглашались с такой правкой, с коверканьем и урезанием своих вещей?... А что же им остается делать? Ведь печататься надо, хотя бы для того, чтобы жить. Кроме того, ну вот взял бы я тогда, в 1957 году, “Владимирские проселки” и положил бы их в стол. Взял бы в 1966 году, “Письма из Русского Музея”, взял бы в 1969 году “Черные доски”, и лежало бы все это у меня в столе. Во-первых, эти вещи не работали бы все эти годы (пусть хоть и не в полную силу), не влияли бы на сознание людей, а во-вторых, и меня самого, такого, какой я сегодня в читательском сознании есть, не было бы на свете».

И отлично, что он так сделал! Зато мы имеем, и вся Россия имеет замечательного писателя, оказавшего при том огромное и благотворное воздействие на читательскую массу.

Цензура была свирепая: «Когда журнал “Москва” взялся опубликовать “Черные доски”, мы, уединившись с главным редактором, вычеркнули из рукописи 151 место. Тоже все понемножечку да понемножечку, там словечко, там два, там целую фразу. Но ведь 151 место!» Впрочем, Солоухин рассказывает: «Кто-то из редакторов мне однажды сказал: “А чего ты боишься? У тебя же сколько фраз и слов не вычеркивай, дух все равно останется. Он же разлит по всем словам и фразам”». Умный был редактор, и попал в точку.

А дух-то, подлинно русский дух, подсказывал вещи вовсе противоположенные большевизму: защиту крестьянства и его традиций («Владимирские проселки»), апологию православия и призыв к сохранению церквей и икон («Черные доски»), к обереганию и восстановлению дворянских гнезд («Время собирать камни»), осторожное выражение симпатии к русской эмиграции. Да и еще другое, гораздо худшее с точки зрения коммунизма: Солоухин много лет носит перстень с портретом Николая Второго (сделанный из золотой монеты царского времени). Как он объясняет «Здесь не место рассказывать о побуждениях, вернее о глубине побуждений (пожалуй, это, чтобы быть понятным, потребовало бы исповеди на десятках и сотнях



страниц, каковую я и написал еще в 1976, и каковая существует – не скажу где – в виде рукописи в 500 страниц)». Будем надеяться, что ее со временем прочтем!

Так прошли долгие годы противостояния режиму. Теперь же, когда гнет над словом чуть полегчал, – Солоухину выпала роль трибуна родной страны, которую с чувством полной ответственности и берет на себя заслуженный уже литератор, выражая ее в стихотворении «Настала очередь моя!»

Мы, в эмиграции, привыкли в первую голову сочувствовать и доверять тем, кто пострадал от советской власти, сидел в тюрьме и в лагере. Но не большую ли еще стойкость и твердость убеждений надо было иметь тем, кого эта власть не преследовала и даже баловала (и кому готова была дать гораздо больше еще благ, лишь бы были лояльны и послушны)? Солоухин выдержал всяческие соблазны и поистине был бы вправе применить к себе строки Гумилева:

Золотое сердце России  
Мерно бьется в груди моей.

Без большой охоты, завершив статью ноткой разочарования. При контактах с земляками за границей, у подсоветского писателя возникают досадные недоразумения. Например, он явно сочувствует Зарубежному Синоду и, в частности, канонизации новомучеников; но ошибочно думает, будто епископ Иоанн Шаховской и его преемники на посту в Сан-Франциско ему и подчинены. А это ведь – совсем иная юрисдикция.

Более того, встречаясь в Париже с С. Зерновой, он считает ее за представительницу правой и вряд ли не монархической части эмиграции. На деле же всем знавшим Софью Михайловну известно, что она была человеком «прогрессивным» левых взглядов, и ни о каком монархизме и слышать не желала. Немудрено, что, высказываясь перед нею, Солоухин ловил иногда на ее лице выражение испуга!

В этой связи весьма любопытны рассказываемые им (в очерке «Голубое колечко») факты. Умирая, Зернова завещала ему кольцо, которое он и надел на мизинец левой руки, где пришлось впору. Рука начала вскоре болеть и выходить из строя; страдания перекинулись на плечо, потом и на позвоночник. Врачи недоумевали. Так шло, покамест одна женщина из окружения Владимира Алексеевича (опытная, видать, в оккультизме) ему не посоветовала: «немедленно сними это кольцо и закопай его в землю. Я знаю, что я говорю».

К чему автор добавляет: ««Ну, закапывать колечка я не стал, пожалел, но с руки снял и убрал в ящик стола. Хотите верьте, хотите нет, но рука со временем болеть перестала».

Верим вполне. Важно в жизни уметь отличать истинных друзей от ложных...

*«Наша страна», Буэнос-Айрес, 26 августа 1989 г., № 2038, с. 1.*

## Послесловие

В моей статье о Солоухине я писал в «Нашей Стране» № 2038 о реакции на его творчество в зарубежной прессе. С тех пор прошло не так уж много времени, – но в данной реакции произошло немало перемен, которые стоит отметить.

Наиболее крутой вираж проделал «Континент» (под нажимом каких сил?). В номере 60-м помещено мерзкое письмо Г. Владимова<sup>176</sup>. Приведем, к вечному его позору, отрывок из эпистолярных упражнений автора «Верного Руслана». Вот что он говорит про рассказы Солоухина!

---

<sup>176</sup> Георгий Николаевич Владимов (наст. имя Волосевич; 1931–2003) – советский писатель, журналист, литературный критик. С 1983 в эмиграции, в Германии. В 1990 восстановлен в советском гражданстве и вернулся в Россию.

«Нам то и дело дают почувствовать, в каких сферах обретается и вращается это литературное светило: с крупными деятелями печати, “кадрами ЦК ВЛКСМ” он пьет вино и ест воблу в Домжуре, инструктора ЦК КПСС посвящают его в свои мужские похождения, случалось ему побеспокоить звонками заместителя предсовмина РСФСР Качемасова и министра Фурцеву, а из квартиры И. Стаднюка поздравить с Крещением пенсионера Молотова; в длительных зарубежных турне общался он с советскими послами и лидерами соцстрах, по градам и весям США его сопровождает переводчик госдепартамента, с иноземными достопримечательностями знакомит ответственный сотрудник советского посольства».

Как объяснить эти злобные, истерические выклики? Одно только истолкование автоматически приходит в голову: черная зависть к несравненно более талантливому, а потому и более преуспевающему собрату по перу. Стыдиться Владимиру Алексеевичу своих достижений никак не приходится: все мы знаем, что он с самого начала своей литературной карьеры протаскивал в печать столько правды, сколько было возможно; а что советская цензура всячески силилась у него главное из текста вырвать и основные его мысли исказить, – не его совсем вина.

Изображать его как апологета большевицкой системы есть заведомая ложь (и, без сомнения, Владимов это отлично сознает); как факт его, Солоухина, отрицание советского строя – куда более радикальное и последовательное, чем у самого Владимова.

Зачем бы Солоухину нужно было замалчивать свои встречи с другими подсоветскими писателями, того или иного направления, неизбежно в профессиональном плане? Или деловые контакты с министрами, по литературным делам? А при поездках за границу, ясно, он волея-неволей общался с советскими дипломатами. Вот если бы он про эти вещи не упоминал, – можно бы было его упрекать в неискренности! Он же, в своих биографического характера очерках описывает все, как было, – и это именно есть честная и правильная линия поведения.

Углубила свою позицию и «Русская Мысль», ядовитые инсинуации которой нас не удивляют. Чего и следовало ждать от сего насквозь антинационального, антирусского органа? В напечатанной в нем статье М. Блинковой, эта последняя настойчиво науськивает кремлевское правительство на писателя, повторяя раз за разом, что он-де чужд принципам марксизма-ленинизма и заслуживает за то примерного наказания.

На ее риторический вопрос, почему же его не сажают, не высылают или не расстреливают, мы без особенного труда найдем ответ:

Солоухин стал одним из самых популярных в СССР авторов, одним из самых любимых в народной массе. Репрессии против него произведут, неотвратимо, громкий скандал; каковой совершенно не в интересах властей, особенно в настоящее время.

Чем и объясняется относительная мягкость принимаемых против него мер, как запреты выступать по радио или выезжать за границу, которые не раз уже пускались в ход, или как разносы (достаточно свирепые!) в официальной печати. Вероятно (и даже несомненно!) номенклатура локти себе кусает: вот, мол, отогрели змею на груди своей! Да поздно...

Сперва-то, не столь уж и сложно понять, почему бдительное око партии проморгало: крестьянский сын, комсомолец, сочинитель вроде бы и аполитичных стихов, потом разъездной репортер «Огонька»... Правда, опасный огонек всегда тлел, в его творчестве, огонек патриотизма, христианской веры и стремления к правде, – но до поры до времени (отчасти и благодаря все той же цензуре, вымарывавшей у него все несозвучное принятому свыше курсу) скрыто. Могло представляться, пожалуй, и выгодным позволять ему печататься, в знак выражения некоторого либерализма. Теперь же, – и известность стала непомерно велика, да и времена переменялись. При гласности расправа над пользующимся любовью публики писателя выглядела бы страх как нехорошо!

Специально отвратительна, в «Панораме», статья неумной О. Максимовой, уже и прежде атаковавшей Солоухина в «Новом Русском Слове».

На этой статье, носящей название «Особый ответ», стоит остановиться, как на образец бессовестной дезинформации. Она сплошь построена на фальшивых попытках загромоздить критикуемого писателя под крайнего русского шовиниста, каковым он бесспорно на деле не является, – если таковые вообще в природе есть!

Для этой цели вырываются из контекста следующие слова: «Никто и никогда не вернет народу его уничтоженного генетического фонда, ушедшего в хлюпающие грязью поспешно вырытые рвы, куда положили десятки миллионов лучших по выбору, по генетическому именно отбору россиян». И вот Максимова принимается кричать, будто Солоухин заботится о чистоте русской крови; а Гитлер, мол, заботился о чистоте германской, и значит Солоухин фашист, и пр., и т. д. Она не замечает (вернее, делает вид, что не замечает, – а читателям отводит глаза!), что даже в выдернутой ею цитате речь идет о россиянах.

А россияне означает «народы России», «граждане Российской Империи» и, – сколь ни грустно – по нынешним временам, «жители СССР». Автор не сказал ни великороссы, ни хотя бы русские. Его сожаление относится ко всем племенам поработанной большевиками страны.

Недаром, немного выше, в той же работе Солоухина, «Читая Ленина», сказано (речь идет о жажде мирового коммунистического господства): «Неужели ради этого надо потрошить народы, истреблять физически лучшую часть каждого народа. Тут уж самоочевидно подразумеваете отнюдь не один русский народ. Да и в других своих вещах Солоухин постоянно повторяет, что от советской власти пострадали, наравне с русскими, и узбеки, и буряты, и вогулы.

И где, и когда он – пусть бы Максимова хоть строчку нашла! – говорит о чистоте крови, да еще таком смысле, чтобы отрицал Пушкина или Лермонтова? Он, наоборот, и Блока считает великим русским поэтом, хотя у того и фамилия иностранная. И о Мандельштаме он отзывался (вопреки тому, что он должен бы был говорить, согласно Максимовой) с полной симпатией, в своем письме о «Мемориале». Так что никакого нету дива, если он (по издевательскому выражению Максимовой) «остается поклонником Николая Второго, в котором русской крови на чайную ложку не наберется».

И когда он называет имена «Дзержинского и Свердлова, проливших реки и моря русской крови», он их называет как палачей; бессовестное занятие отсюда выжимать полонофобию или антисемитизм. Как факт, о Польше Солоухин везде пишет с симпатией, польской культурой восхищается; а иудеофобии мы у него пока никогда не видали; если видела Максимова, пусть укажет, где.

Такие вот нечистоплотные переделки и подделки, явно нечестные лжеистолкования, в стиле большевических процессов «оппозиции», составляют всю длинную статью «Особый ответ». Обмануть она может тех, кто Солоухина совсем не читал и его книг и статей под руками не имеет. Те же, кто с его творчеством знаком, только и могут сочинения г-жи Максимовой квалифицировать как мошенническую клевету.

*«Наша страна», Буэнос-Айрес, 13 января 1990 г., № 2058, с. 2.*

## В. Солоухин. «Соленое озеро» (Москва, 1994)

Мы убеждены, и уже с давних пор, что Владимир Алексеевич Солоухин – лучший русский писатель наших дней.

С нами многие в России не согласятся. Но бывает, что издали и со стороны виднее.

Не согласятся же главным образом потому, что – нет пророка в своем отечестве! – он выражает мысли, которые не по нутру левому стану, да и значительной части того, что приходится условно именовать правым.

Но это, быть может, мысли, которым принадлежит будущее.

Новое его произведение (оно уже печаталось в московском журнале «Наш Современник») – в несколько необычном для него жанре документальной повести.

Однако в нем ясно проявляется присущее Солоухину чрезвычайно симпатичное – и чисто русское по духу, – свойство: сочувствие и понимание по отношению ко всем народам России. Недаром он активно способствовал ознакомлению русской публики с творчеством ряда племен нашей империи, будь то киргизы, якуты или вогулы.

В данном случае, в центре его внимания стоят хакасы, как он уточняет, обитатели Минусинской впадины в Сибири.

Их история, которую автор нам кратко излагает, может быть разделена на две эпохи; и трагическая линия, их разделяющая, падает на первую половину 20-х годов.

До того это был в целом счастливый народ, «красивый, свободолюбивый, трудолюбивый, своеобразный», живший в благодатной области «со своим благоприятнейшим микроклиматом и плодородными землями (все же это Сибирь, а растут абрикосы, и помидоры там вкуснее, чем где-либо)».

В сей благословенной стране мирно уживались и коренное население, и русские колонисты, в данном случае казаки, немало с ним породнившиеся. Благо между ними не было вероисповедных перегородок: хакасы, по старому названию минусинские татары, исповедовали православие, хотя у них и сохранялись сильные пережитки шаманизма.

Кровавый, ледяной перелом наступил тут не собственно с революцией, а позже. И связался навсегда в сознании переживших его с одной демонической, сатанинской фигурой: с Аркадием Голиковым. Тем самым, который несколькими поколениями подсоветских читателей известен в качестве детского писателя, носившего псевдоним Гайдар.

Писателя, впрочем, по нашему разумению, не особенно талантливого. Зато в другом он проявил если не способности, то по крайней мере решительность и непреклонную целеустремленность: в деле уничтожения врагов советской власти. А ими стали, волей неволей, все крестьяне, скотоводы, земледельцы, охотники, русские и туземцы, которых эта власть беспощадно грабила и разоряла.

На их усмирение и были двинуты Части Особого Назначения (ЧОН), одним из главных руководителей коих являлся совсем еще молодой тогда Гайдар. Он историю своей деятельности в Хакасии написал поистине слезами и кровью...

Нашелся ему и противовес, выдвинутый терзаемым народом герой: казачий хорунжий, бывший колчаковец Иван Николаевич Соловьев, возглавивший сопротивление, начальник «Горноконного партизанского отряда имени Великого Князя Михаила Александровича».

Борьбе между этими двумя людьми и посвящена львиная часть книги. Борьба окончилась гибелью Соловьева. Гайдар, впрочем, еще до того был отозван из Хакасии: творимые им жестокости даже в глазах большевиков оказались чрезмерными; вернее, чересчур явными и кричащими.

Знал ли он муки совести? Во всяком случае, он страдал потом до конца жизни психическим расстройством. Как говорится: Бог шельму метит.

Вполне понятно то чувство щемящей жалости и жгучего негодования, с каким Владимир Алексеевич, известный нам своей любовью к крестьянскому быту и к народным (любого народа!) традициям рассказывает о зверствах Гайдара со присными, разрушивших навсегда местную национальную культуру, приведших к безграничному упадку этого прежде благословенного Господом уголка России.

Читателю трудно было бы не разделять его благородные и человеческие чувства.

В плане критики, заметим одну небольшую ошибку, касающуюся той части, где речь о покорении русскими Сибири.

В «Ермаке» Рылеева Кучум не назван «презренным царем Сибири». Эти слова Солоухин вполне мог слышать, как один из вариантов народной песни, в которую превратилась «Дума» декабристского поэта. Я и сам эту песню слышал не раз в различных версиях.

В подлинном тексте стоит иное:

Кучум во тьме, как тать презренный,  
Прокрался тайною тропой.

Так что тут осуждение не Кучума как такового, а тактического приема нападения врасплох на спящих врагов. Осуждение, впрочем, несправедливое (хотя по человечеству и понятное): *à la guerre comme à la guerre*<sup>177</sup>, и такие вещи запросто практикуются. Но трудно осуждать Рылеева за сочувствие Ермаку, в котором он, с полным основанием, видел русского национального героя!

Не так давно мне случилось писать статью о Вандее. И я тогда искал аналогий в России. Междоусобная война в Хакасии (о которой я не подумал) была бы самой яркой аналогией! ЧОН – чем не «адские колонны» французских революционеров? А Соловьев сильно напоминает вандейских вождей. Даже и совместные действия русских и инородцев против навязываемого им режима напрашиваются на сравнения с положением в Бретани, где основное население не было французским.

*«Наша страна», рубрика «Библиография», Буэнос-Айрес, 13 апреля 1996 г., № 2383–2384, с. 3.*

---

<sup>177</sup> На войне как на войне (*фр.*).

## **В. Солоухин. «Последняя ступень» (Москва, 1995)**

В начале книги автор рассказывает, как завязалось его знакомство с модным фотографом К. Бурениным. Тот приветствовал его словами: «Единственный русский писатель». С этим можно бы согласиться. Как и с дополнением жены Буренина, Лизы: «В то время, когда все пишут о газопроводчиках и комбайнерах, вы единственный поднимаете голос в защиту русских церквей, русской природы, старинных парков, вообще всего русского».

Эти комплименты целиком заслужены. Не знаем, насколько справедливо то влияние, которое в дальнейшем Буренин оказал на Солоухина. Сквозь строки выясняется, что тот и сам стоял на пороге (если уже его полностью не перешагнул) тотального отрицания большевизма, переоценки ложной советской пропаганды о недостатках царского режима и о благах, принесенных якобы революцией народу.

Только этим и можно объяснить, что он так легко с Бурениным в этих пунктах согласился. Дальнейшие страницы во многом перекликаются с тем, что мы уже под пером Солоухина читали, и вызывают у нас в памяти слова Николая Первого о Пушкине: «Самый умный человек в России!»

Критика достижений советской власти, коммунистической идеологии, описание реального положения населения в России даны с непревзойденным блеском.

Увлечателен и рассказ писателя о себе. В отличие от иных антикоммунистов, он ко своим новым убеждениям пришел не в результате каких-либо своих страданий или хотя бы неприятностей. Напротив, его судьба складывалась как нельзя более благоприятно: сын крестьянина (хотя, как факт, семья его едва не попала в число подлежащих истреблению «кулаков!»), комсомолец, член партии (куда он попадал как бы само собою), преуспевающий писатель, – он мог бы от существующего строя ждать всего, чего душе угодно.

Но совесть, но разум, но пронизательный взгляд на суть вещей... но знание о прошлом, все углублявшееся с приобщением его ко все высшей культуре.

Вот что положило постепенно непреодолимую грань между ним и идеологией марксизма-ленинизма.

Наблюдение за живой жизнью, за подлинным положением вещей неизбежно привели этого представителя новой, – но вполне полноценной! – интеллигенции к ряду «проклятых» вопросов: «Зачем же нужно было уничтожать такую страну и такое крестьянство?» – стал он думать, читая о прошлой России даже у таких ее принципиальных противников как Некрасов.

Так что оппозиционные речи Буренина лишь пробуждали уже таившиеся в его душе чувства и мысли: «Оказалось, что все... уже жило во мне...»

Недаром он на провокационный умышленно вопрос того о достижениях советских лет отвечает: «Что за привычка – сравнивать теперешний СССР с Россией 50-летней давности?»

Более того: «Да, дворянство не носило камней, не стояло у кузнечных мехов, но дворянство управляло государством», а «труд есть труд». «Россию собирали русские цари, проводя последовательную политику расширения пределом Российского Государства при помощи русской армии».

Отсюда уже недалеко до следующего логически вывода: «Преимущество монархического образа правления. Возрождение монархии как единственный путь возрождения России». А затем и: «В результате революции Россия была обезглавлена и ограблена». И что это позор для русского народа, что он не поднялся как один человек, узнав о злодейской казни царя.

Вполне понятно, что первое время большевики, захватив власть, не допускали слова Россия, ни даже слова родина. А пришли они ко власти путем лозунгов, обещавших «что-то радужно-светлое, невообразимое, какою-то небывалую жизнь».

Мелькает в беседах Солоухина с Бурениным и идея о некоем мировом центре зла: служат ли большевики просто окостеневшей идее, или есть некие силы, которые ими управляют? Но мимо нее они как-то слишком легко проходят...

Оглядываясь на происходящее в России, автор вновь и вновь задает себе недоуменный вопрос: «И ради этого стоило убивать и замучивать миллионы и десятки миллионов людей?»

И что принесли Советы оккупированным ими и превращенным в сателлиты странам? «Резкое понижение жизненного уровня».

До сих пор мы во всем соглашались с Солоухиным. Теперь придется кое в чем ему возразить. Хотя в какой мере ему, а в какой – Буренину? Это остается неясным в силу структуры повествования, с ее не всегда различимым диалогом...

Целиком ошибочно (и свидетельствует о недостатке осведомленности в СССР) представление, что немцы, в случае победы могли бы восстановить в России царскую власть. Все, кто видел своими глазами германскую оккупацию, знают, что гитлеровский режим терпеть не мог монархистов, а в России ощеривался при любом упоминании о династии или о возврате к прошлому.

Да и о колхозах. Они, власти, роспуска таковых не желали. Иное дело, что явочным порядком, где немцы не вмешивались, где управляли военные, а не национал-социалистическая партия, крестьяне их явочным порядком распускали.

Ну, это сравнительно мелкие детали.

А вот что нам не представляется убедительным (но оговоримся, что это воззрение скорее Буренина, и что Солоухин против него даже пытался бунтовать, что чуть не привело между ними к ссоре) так это концепция, будто большевизм был создан евреями и держался благодаря их помощи.

Конечно, печальная роль евреев, в частности пресловутых «мальчиков с наганами», бесспорна; как и то, что они в первые годы большевизма с успехом оттеснили русскую интеллигенцию.

Но ведь кончилось-то преследованиями и на них! И даже справедливость требует признать, немало из них от советского режима ничего не выиграли, и даже все потеряли; а иные с ним и боролись.

Думается порою, не наоборот ли? Может быть, не евреи использовали советскую власть, а она – евреев? В частности, выдвигая их на посты в Чека и на прочие самые зловредные должности, – не придерживала ли София Власьевна камешка за пазухой? Мол, если надо, – мы на них все свалим; все мол были эксцессы... Если народ возмутится, то... Но народ, увы, подчинялся, а протесты оказалось легко подавить и заглушить.

Мы не рискуем а priori отрицать наличие какого-то «глобального центра» зла. Но он, если есть, то скорее – интернациональный. Масонство? Может быть, скорее да. Но здесь все так хорошо спрятано, так затемнено, что слишком опасно делать предположения.

Лучше воздержимся!

*«Наша страна», рубрика «Библиография», Буэнос-Айрес, 6 июля 1996 г., № 2395–2396, с. 3.*

## Двойная бухгалтерия

Родившись в СССР, уже после революции, я волей-неволей с детства привык к советской беллетристике, хотя она всегда и внушала мне отвращение.

Поэтому я знаю, что один из ходовых в ней мотивов, – восхищение перед искусством конспирации у коммунистов и идейно близких к ним людей, в неблагоприятных для них условиях царской России или зарубежных стран, где их партия находилась под запретом.

Помню, например, рассказы и очерки, посвященные революционному герою Камо, умевшему виртуозно притворяться, смотря по обстоятельствам, то грузинским князем, то наивным аптекарским учеником. С. Мстиславский, в романе о подпольном деятеле Н. Баумане, описывает с восторгом ловкость и смелость, с которой тот нелегально въезжал в Россию, откуда бежал, с паспортом немецкого инженера.

Помнится, у Гайдара, да и в фильме «Красные дьяволята», удалые подростки, пропитанные советским духом, проникают в тыл к белым, используя случайно попавшие в их руки документы погибших сверстников, принадлежавших к другому стану.

Еще красочнее изображено сходное положение у Б. Лавренева<sup>178</sup>, в «Рассказе о простой вещи», где большевицкий шпион разыгрывает роль француза, не говорящего даже по-русски, чтобы циркулировать среди офицеров Добровольческой Армии и узнавать их секреты.

Впрочем, подобный взгляд присущ не одной советской литературе: такие же ситуации встречаются под бойкими перьями иностранных попутчиков разных национальностей, когда они трактуют, скажем, о французском Резистансе или о подвигах немецких либо итальянских антифашистов-подпольщиков.

Не странно ли, что картина резко меняется, если речь заходит о противниках большевизма?

Когда мы, новые эмигранты, оказались, после Второй Мировой войны, за рубежом, и столкнулись, – я, в частности, испытал это в Париже, – с советскими патриотами из числа первой волны, мы, рассказывая об ужасах сталинизма, постоянно слышали в ответ:

– Это вы тут так говорите! А на родине, небось, помалкивали... Почему вы там не высказывали подобные взгляды?

Без сомнения, для чекистов было бы самое удобное, кабы антикоммунисты, и вообще все, кто в чем-то расходился во мнениях с ортодоксальной партийной линией, сами являлись бы в ГПУ и исповедовались бы в своих сомнениях и заблуждениях, подробно докладывая заодно о таковых всех своих друзей, родных и знакомых!

Тогда бы, ясное дело, всякую антисоветскую крамолу представилась бы возможность убить в зародыше, и тем предотвратить, на будущее, такие явления как создание власовской армии, возникновение второй эмиграции, да и в пределах самой страны вспыхнувшие сейчас довольно-таки ярким огнем, в условиях перестройки и гласности, разоблачения зверств времен Гражданской войны, военного коммунизма и большого террора при Ягоде, Ежове, Берии и К<sup>о</sup>. Только мы так не делали. Помогать врагам рода человеческого в выкорчевывании инакомыслящих, – нам и в голову не приходило; совершать самоубийство для их удовольствия, – и того меньше. Естественно было, в те годы, при полной невозможности активной борьбы с режимом, «молчать, скрываться и таить» свой подлинный образ мыслей, – и ждать лучшего времени.

---

<sup>178</sup> Борис Андреевич Лавренев (наст. имя Сергеев; 1891–1959) – писатель, поэт, драматург, переводчик. Участник Гражданской войны. Военный корреспондент во время Второй мировой войны.



Как бы мастерски ни была налажена машина истребления в Советском Союзе, – мы видим: сквозь сеть многие проскользнули; те, что сейчас поднимают голову внутри, и те, кто как мы попали в изгнание и можем действовать вполне открыто.

Отголоском лицемерной красной пропаганды, у коей всегда и во всем есть две меры и два веса, для своих и для чужих, являются упреки Р. Медведева В. Солоухину, что он-де человек неискренний!

Бесспорно, если бы Солоухин, – проявлявший, однако, удивительную смелость, за что и имел серьезные неприятности, – написал то, что он пишет сегодня, при Сталине, его бы давно не было в живых. А он, вероятно, уже и тогда думал то же самое, что теперь. Но он, сжав зубы, проводил в печать только то, что было все-таки возможно; и тем делал большое, полезное дело.

Навряд ли и сам Медведев был, вплоть до нынешних горбачевских послаблений, вполне откровенен с властями. Еще менее правдоподобно, чтобы он был искренен в наши дни, продолжая служить интересам большевизма. Так что корить других неискренностью ему уж и совсем не пристало. Ему бы следовало оставить эти обвинения молодежи, пришедшей к сознательной жизни в момент падения культа личности; та может их бросать от души, – по незнанию или непониманию, какова была жизнь старшего, предшествовавшего ей, поколения.

*«Наша страна», Буэнос-Айрес, 11 ноября 1989 г., № 2049, с. 3.*

## Литература народов СССР

### Солнечный владыка

Есть в русской литературе замечательный писатель Н. Тан (1865–1936). В жизни его звали Владимир Германович Богораз. Еврей родом, революционер, член партии народных социалистов (сравнительно умеренной), угодил он студентом в ссылку на Колыму. Ну да, та Колыма была не нынешняя! «Ссылные жили коммуной... “Колымская республика” жила трудно, но ярко и весело, не унывая» (оно и не с чего бы...). В Сибири Тан стал беллетристом, этнографом и лингвистом высокого класса; его имя всем специалистам, русским и иностранным, в области изучения палеоазиатских народов, хорошо знакомо. Романы его как «8 племен», «Жертвы дракона», да и «Союз молодых», кто читал, не забудет: стоят Джека Лондона и Рони<sup>179</sup>. Большевикам он не слишком ко двору пришелся, и большой карьеры у них не сделал; хотя, как ученого, его поневоле ценили.

Подобного человека в монархизме не заподозришь. Но вот как он описывает представление чукок о русском царе: «Эйгелин говорит, что Солнечный Владыка живет в большом доме, где стены и пол сделаны из твердой воды, которая не тает и летом – ну, вроде как тен – койхгин (“стеклянная чаша”). А под полом настоящая вода, в ней плавают рыбы, а Солнечный Владыка смотрит на них. И потолок такой же, и солнце весь день заглядывает туда сквозь потолок, но лицо Солнечного Владыки так блестит, что солнце затмевается и уходит прочь!»

О европейской же России они думали, как о «чудесной стране, откуда привозят такие диковинные вещи: котлы и ружья, черные кирпичи чаю и крупные сахарные камни, ткани, похожие по ширине на кожу, но тонкие как древесный лист, и расцвеченные разными цветами как горные луга весною, и множество других див». Спросим себя: не стояли ли эти «простодушные полярные дикари» (как их именует автор, в рассказе «Кривоногий», откуда мы выписали цитату) выше бессмысленно злобствовавшей тогдашней левой интеллигенции, не дышат ли их слова истинным имперским патриотизмом и подлинным верноподданническим чувством? Не зря в Евангелии сказано: «Если не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное!»

Сдается нам, анализ отношений к правительству инородческого населения России много бы способен был пролить света на дух и порядки великой и трагически погибшей Империи. Изучение же мифов и первобытных религий земного шара в целом (впрочем, не только и первобытных...) немало бы помогло вдумчивому исследователю понять, касательно самой сущности и корней монархической власти вообще.

Да на беду, в иных отношениях, и впрямь, как определил Пушкин: «Мы ленивы и нелюбопытны». Мы больше насчет социальных и экономических вопросов: будто уж они – главное! А не оторвавшись немного от земли (или не став, наоборот, на нее двумя ногами, вместо парения в абстракциях и отвлеченностях), право же, иные вещи, – важные и нужные – вовсе и уразуметь нельзя, ибо:

Есть многое на свете, друг Горацио,  
Что и не снилось нашим мудрецам...

---

<sup>179</sup> Рони-старший (Joseph Henri Rosny; наст. имя Ж.-А.-О. Боэкс; 1856–1940) – французский писатель бельгийского происхождения. В течение ряда лет писал вместе с младшим братом. Автор многих фантастических романов.

*«Наша страна», рубрика «Монархическая этнография», Буэнос-Айрес, 4 июня 1983 г., № 1715, с. 3.*

## Убивающие душу

В числе преступлений советской власти, – творимое ими над литературами национальных меньшинств. Те все равно бы сформировались, конечно, даже у народностей, не имевших письменности в старое время (а у многих была уже своя литература, или, по крайней мере, начатки таковой, еще при царе). Большевики их создание, пожалуй, и ускорили, – но какой ценой!.. Все, что у них издается, – сплошь серая пропаганда коммунизма. Когда пробиваются ростки чего-то подлинно национального, или индивидуального, лирического порыва или сюжетного мастерства, – то беспощадно затапываются и выкорчевываются.

Кое-какие любопытные вещи из них, однако, можно и извлечь. Вот у хакасского поэта Г. Сысолятина<sup>180</sup>, в поэме «Аптекарь», описывается такое: Наследник Николай, будущий царь, проезжая через Красноярск, подойдя в музей к фигуре шамана с бубном, в бубен сам ударил. Представлена следующая реакция, на рассказ об этом происшествии, Ленина, в тот момент ссыльного в Сибири:

- Так значит, царь камлал?
- Камлал.
- Дурак! – и гость захохотал.

Ильич так и должен был, понятно, отозваться! Между тем, в жесте Николая Александровича выразилось глубокое уважение престолонаследника ко всем подданным Империи, даже самым примитивным, ко всем их верованиям и традициям, пусть и странным, экзотическим, трудно поддающимся восприятию европейца. Как известно, многого в России:

Не поймет и не заметит,  
Гордый взгляд иноплеменный...

Но иначе смотрели российские государи. Строгий Николай Первый, когда ему передали дело о приношении черемисами лошадей и прочего скота в жертву языческим богам, наложил резолюцию: принимая во внимание детское простодушие обвиняемых, не накладывать на них никакого наказания.

В изданном в 1952 году романе буряты Читима Цыдендамбаева<sup>181</sup> «Доржи, сын Банзара», об известном ученом и просветителе конца XIX века, Банзарове, любопытно изложение его беседы с соучеником по гимназии и земляком, Галсаном Жамбаловым, напоминающим ему о национальном достоинстве их народа: «Мы потомки великого завоевателя Чингисхана... Ты забыл, что солнце встает на востоке. Свет в Россию идет с востока» и добавляющим, что он склоняется перед Белым Царем и считает его воплощением Бога, и что он против тех, кто подтачивает Его престол. Банзаров ему отвечает: «Я сын бурятского народа, гражданин великой Российской Империи».

Другой бурятский писатель, Даширабдан Батожабай<sup>182</sup>, в романе «Похищенное счастье», изображает следующий эпизод. В Агинский дацан (монастырь), расположенный в Забайкалье, приезжает (в последние годы прошлого столетия) из Тибета старший учитель далай-ламы бурят Туван-хамбо. Он прибыл отстаивать «желтую веру» перед русским царем. Посланнику далай-ламы дается разрешение строить в Бурятии новые дацаны, укрепляя ламаизм.

---

<sup>180</sup> Геннадий Филимонович Сысолятин (1922–2003) – поэт, писатель, переводчик, журналист и литературный критик. Заслуженный деятель искусств Хакасии.

<sup>181</sup> Чимит-Доржи Цыдендамбаевич Цыдендамбаев (1918–1977) – бурятский писатель, поэт.

<sup>182</sup> Даширабдан Одбоевич Батожабай (1921–1977) – бурятский писатель, драматург.

Эта широкая, великодушная терпимость православной императорской России составляет убийственный контраст с беспощадным гонением на любые верования, на все религии, являющимся сущностью проклятого, кровавого советского строя.

*«Наша страна», рубрика «Монархическая этнография», Буэнос-Айрес, 11 июня 1983 г., № 1716, с. 2.*

## «Пермский край» (Пермь, 1990)

Название привлекает: еще бы, древняя легендарная Биармия, дороги из Руси в Сибирь, родина малоизученного финно-угорского племени, о котором так интересно писал еще А. Мельников-Печерский. Но читаешь оглавление, – и, право, хочется плюнуть и закрыть книжку!

«Памятные даты и события». Какие же? А вот: «К 120-летию со дня рождения В. И. Ленина»; «85 лет первой российской революции»; «К 45-летию победы советского народа в великой отечественной войне». Это все – даты скорби и позора, кровью вписанные в судьбы нашей несчастной земли! Да и всего человечества...

Отбросить данный «краеведческий сборник», не читая, было бы все же ошибкой. Есть в нем и относительно ценное, например, в разделе «Эхо дальних лет», статьи В. Мухина «Уральские крепостные и легенда о Беловодье», И. Сергеева «Камский Китеж» и И. Мюллера «Пути через Уральские горы».

Особо остановимся на очерке Г. Немтиновой «Забота о родном языке». Речь идет о коми-пермяцком языке, и автор начинает с жалоб, что мол в царское время «на территории Пермского края» имелось много церквей и монастырей, но мало школ; а язык мол был вовсе заброшен. Однако она сама рассказывает, что: «Первые попытки создать коми-пермяцкую письменность относятся к концу XVIII века. Пермский священник Антоний Попов составил словарь и грамматику коми-пермяцкого языка. Впоследствии словарь и грамматику выпустили Федор Любимов, священник Евгинской церкви, и Ф. А. Волегов... Впервые на коми-пермяцком книги вышли в 60-е годы, XIX века. Это были жития святых, сделанные Н. А. Роговым и священником Авраамием Поповым из Кудымкара. «В 1860 году Рогов выпустил грамматику, а в 1869 году, в Санкт-Петербурге, “Пермяцко-русский и русско-пермяцкий словарь”. Российская Академия Наук присудила автору премию».

Так что, в общем, дело-то обстояло не так уж и плохо. Просто, – до всего у России руки еще не доходили; а постепенно все нужное делалось.

А что принесла советская власть? В стихах В. Климова, поставленных эпитафией к очерку, говорится:

Солнце революции великой  
Подарило нам тепло и свет.

Но читаем, – и узнаем следующее: «В начале XX столетия выпускник Казанской учительской семинарии К. М. Мошегов перевел на коми-пермяцкий язык басни И. А. Крылова и “Сказку о рыбаке и рыбке” А. С. Пушкина, а в 1908–1909 годах напечатал “Букварь” и “Книгу для чтения”. Имя этого человека заслуживает большого внимания: он проводил археологические раскопки, изучал свадебные обряды, сказания, легенды, мечтал писать об устном народном творчестве и истории коми-пермяцкого народа, но в 1937 году был репрессирован»; «Активным участником перестройки жизни коми-пермяцкого народа был М. П. Лихачев... Он классик коми-пермяцкой литературы... У него были большие творческие замыслы, но претворить их ему не удалось: его жизнь была оборвана в 1937 году».

Подлинно, есть пермякам за что благодарить советскую власть! А может быть, все-таки, без нее-то лучше бы было?

Вот вам и другие ее подвиги:

«В 1931 году коми-пермяцкая азбука перешла на латинизированный шрифт. Дело было кропотливое, требовало большого напряжения, но время диктовало жестокие сроки, и необходимо было в них уложиться».

То есть, значит, сделали всех грамотных пермяков снова неграмотными! Многих, надо полагать, навсегда.

Потом же: «В конце 30-х годов для народов страны появилась необходимость создания массовой письменности и новых алфавитов на единой графической основе. Латинизированный шрифт не соответствовал перспективам развития межнациональных отношений».

Так зачем же его вводили?! Теперь: «Был подготовлен проект алфавита для коми-пермяков на русской графической основе». Иначе сказать, уже третий! «Новый алфавит был утвержден 7 августа 1938 года».

Ну и дальше что же? «В 70-е годы в связи с развитием двуязычия, многие национальные школы в округе были закрыты, обучение велось на русском языке... Дети посещают 131 школу, но ни в одной из них нет преподавания на родном языке. Коми-пермяцкий язык и литература изучаются только в педучилище».

Замечательные результаты! Так кто же, все-таки вел (и с успехом!) агрессивную русификаторскую политику, направленную на ликвидацию местного языка: царская власть или советская?

Мы так думаем, первенство тут решительно и безусловно принадлежит Софье Власьевне.

*«Наша страна», рубрика «Библиография», Буэнос-Айрес, 18 мая 1991 г., № 2128, с. 2.*

**Я. Кулдуркаев<sup>183</sup>, К. Абрамов<sup>184</sup>, Н. Эркай<sup>185</sup>. «Кезэрень  
пингеде эрзянь раськеде» (Саранск, 1994); И.  
Кривошеев<sup>186</sup>. «Кочказь произведеният» (Саранск, 1998)**

Обе книги изданы в элегантных крепких переплетах и сопровождаются прекрасными иллюстрациями. Название первой, содержащее три поэмы: «Эрьмезь», «Сараклыч» и «Моро Ратордо», по-русски означает: «О древних временах, об эрзянском народе», второй – «Избранное».

Из приложенных биографий мы узнаем, что двое из авторов подверглись большевизским репрессиям. Кулдуркаев провел в лагере 20 лет (и умер вскоре по выходе); Кривошеев отделился несколькими месяцами заключения, но вдоволь натерпелся истязаний и оскорблений.

Обоих обвиняли в мордовском национализме. Со свойственной советской системе противоречивостью, сперва маленьким народам России было позволено развивать свои культуру и литературу; а потом их стали за это с крайней строгостью преследовать. Помнится, мы где-то читали, что у черемисов под корень истребили местную интеллигенцию. Как видим, и у мордвы было немногим лучше.

Немудрено, что поэты обращали свой взгляд по преимуществу в прошлое, которое казалось более светлым (а возможно, и менее опасным, – хотя это и оказалось ошибкой).

«Песнь о Раторе» Никула Эркая (он же Николай Лазаревич Иркаев) переносит нас в седую древность. Мордвины живут среди глухих лесов, молятся языческим богам, охота для них один из главных источников существования; и капканы для зверей – самое важное искусство. Лес источник жизни; но в нем обитают могучие и недобрые духи; беда тому, кто попадает в их руки!

Поэма открывается увлекательным введением в стиле арабских сказок, сразу захватывающим внимание читателя.

Мы бы сказали, однако, что вторая часть повествования оставляет впечатление анахронизма, и потому слабее первой. История о жестоком наместнике и его свирепых солдатах явно принадлежит другой уже эпохе.

Эпическая поэма «Эрьмезь» (за которую сочинитель заплатил такой страшной ценой!) отчасти напоминает «Руслана и Людмилу»: превращения, чудеса, мотивы, взятые из фольклора (только не русского, а мордовского, где, впрочем, встречается немало сходных элементов). Как факт, первоначальное название и было «Эрьмезь ды Котова».

Эрзянский витязь Эрьмезь влюбляется в дочь мокшанского князька Котову. Но ее отец, коварный Пурейша, сперва задает ему всякие трудные поручения (типичный сказочный сюжет!), которые он все же выполняет, а потом пытается его обмануть. Эрьмезь похищает девушку и навлекает на себя мщение тестя, тот призывает на помощь враждебных соседей, половцев и русских, и в завязавшейся войне Эрьмезь в конце концов погибает.

Согласимся с негодующим восклицанием биографа о судьбе Якова Яковлевича Кулдуркаева, кандидата филологических наук И. Инжеватова: «Вот в какие времена мы жили!»

---

<sup>183</sup> Яков Яковлевич Кулдуркаев (1894–1966) – мордовский поэт, писатель. Участник Первой мировой войны. В 1938 репрессирован как «враг народа». Реабилитирован в 1958.

<sup>184</sup> Кузьма Григорьевич Абрамов (1914–2008) – писатель, драматург. Народный писатель республики Мордовия. Главный редактор Мордовского книжного издательства.

<sup>185</sup> Никул Эркай (наст. имя Николай Лазаревич Иркаев; 1906–1978) – мордовский поэт, писатель, драматург, переводчик.

<sup>186</sup> Иван Петрович Кривошеев (псевд. Илька Морыця) (1898–1967) – мордовский поэт. Педагог. Заслуженный учитель Мордовской АССР.



Короткая поэма К. Абрамова «Сараклыч» говорит о более ясно определенной эпохе: о татарских набегах и татарском иге, от которых мордва страдала наравне с русскими, а и то и хуже (мордовские народные песни полны о том воспоминаний). В борьбе с кочевниками мордовцы и русские действовали вместе, что здесь и показано.

Абрамов пишет исключительно ясным и прозрачным языком. Он, впрочем, не только поэт, но и автор нескольких романов в прозе.

К прошлому обращался и выдающийся эрзянский поэт Илья Кривошеев; но к прошлому уже более близкому. Положим, в его «старинной сказке» о непредусмотрительной девушке время действия определить нельзя; но персонажи носят уже христианские имена – Манюша, Алексей, – и даже местные названия отмечены русским влиянием; например, магическое озеро Зеркалка.

Напротив, в его пьесе «Олдокимень свадьбазо» («Свадьба Евдокима») время точно указано: 1880-е годы. Цепь не лишенных очарования картинок из сельской жизни, вплоть до включенных в нее остроумных частушек, отдельно напоминает «Сорочинскую ярмарку». Дочь богатого хозяина Катя избрала себе из всех поклонников пастуха Олдокима и добивается своей цели с еще большей решительностью, чем ее суженый.

Лирические стихи Кривошеева, почти все небольшие по размеру, посвящены главным образом природе; реже любви. Иногда он отдает дань советским мотивам своего периода; но грешит он этим относительно немного.

Его ученик (не только в поэзии, он окончил педагогическое училище, где тот преподавал), А. Доронин рисует очень обаятельный образ Кривошеева в его биографии, озаглавленной «Илька Морыця» (псевдоним, которым пользовался Кривошеев; по-русски примерно «Ильюша Певец»).

Так, он рассказывает, что, ведя литературный кружок в училище, Кривошеев избегал критиковать, а всегда пытался отметить то удачное, что можно было найти в стихах начинающих поэтов и поэтесс, стараясь их ободрить к дальнейшему творчеству.

В целом, мы видим, что несмотря на испытания, литературная Мордовия пережила не без успеха ужасы советского строя. Будем надеяться, что с концом большевизма она сможет развернуться еще успешнее...

*«Наша страна», рубрика «Библиография», Буэнос-Айрес, 24 января 2004 г., № 2743, с. 3.*

## Литературы Поволжья

В московском журнале «Дружба народов», № 9 за 1988 г., помещен большой репортаж чувашского литературоведа А. Хузангая «Право на наследство» с подзаголовком «Молодая финно-угорская поэзия Поволжья и Приуралья». Для нас ситуация, сложившаяся в культурной жизни данных народов, представляется особо важной потому, что речь идет о племенах, которые в рамках здравого смысла не могут (да вроде бы и не проявляют желания) отделиться от России; и притом таких, которые с нами тесно связаны принятой ими православной религией и опытом долгого общения.

Хузангай рассказывает, как он, выехав из Чебоксар, посетил города Йошкар-Ола (бывший Царевококшайск и затем Краснококшайск), Саранск и Ижевск, где имел беседы с местными писателями, выражая сожаление, что мог с их произведениями ознакомиться только в русских переводах. Впрочем, он уточняет, что: «Быть чувашским критиком, оказывается, большое преимущество в данном случае, ибо, как выражаются ученые мужи, "...по мере укрепления ислама в культуре татар и башкир, в разной степени расширялись и стабилизировались центрально- и среднеазиатские традиции, а среди чувашей – язычников и христиан – доминирующим стал субстратный слой финно-угорской культуры. В результате чуваша оказались наиболее бикультуральным этносом: сохраняя архаичный тюркский язык, они в то же время развивали культуру, во многих отношениях близкую к культуре финно-угорского мира"» («Болгары и чуваша», Чебоксары, 1984).

Жаль, что этюд Хузангая не охватывает зырянской литературы (кажется, как раз весьма богатой), не говоря уже о положении дел у пермяков, вогулов и остяков. Он ограничивается, как факт, черемисами (марийцами), мордвой и вотяками (удмуртами).

О новых веяниях, или вернее о пробуждении спавших сил, свидетельствует следующий пассаж, посвященный творчеству одного из молодых марийских поэтов, Анатолия Тимиркаева: «Есть у Тимиркаева замысел новой поэмы, тема которой снова память – на этот раз память о марийских поэтах поколения "отцов", незаконно репрессированных в конце тридцатых годов, погибших на полях войны в сороковые (Олык Ипай, Йыван Кырля, Пет Першут, Шадт Булат, Яныш Ялкайн и другие). Словно ночные бабочки, тени этих вечно юных поэтов слетаются на свет лампы, стоящей на столе поэта конца восьмидесятых, совесть которого тревожит несправедливость их судьбы, и он ведет с ними долгий разговор. Их поддержка нужна Тимиркаеву сейчас, когда поэтическое слово проходит испытание на ветру гласности. Хочу только пожелать, чтобы автор нашел в себе душевные силы воплотить трагедию того поколения, не оставляя места недомолвкам и полуправде».

Те же проблемы, что и у нас!

С этими образами перекликаются цитируемые далее оценки венгерского литературоведа Петера Домокоша: «Исследователь отмечает конец 30-х годов, когда "литература национального духа и социалистической гражданственности была разделена: национальная ветвь погибла, политическая исказилась..."».

Как формулирует сам Хузангай: «Репрессии конца 30-х годов, последующая война уничтожили самую активную часть творческой интеллигенции в автономиях Урала и Поволжья... другим навешали ярлыки... третьих обрекли на длительное молчание и открыли дорогу спекулятивному словоблудию, которое всячески отмежевывалось от национального».

Но есть и другие, более специфические проблемы, завещанные предшествующими годами, – теми, которые нынешняя под-советская печать именует временами культа личности и застоя: «Последовательно, на всех ступенях надо осуществить коренное улучшение преподавания марийского языка и литературы. Это первый шаг на трудном пути».

Хузангай приводит слова черемисского литературоведа А. Васинкина: «Серьезные проблемы связаны с литературной критикой. Мы же не имеем возможности назвать белое – белым, черное – черным. Критика конкретная, с названием фамилий авторов, жесткая и нелицеприятная, не в чести. А с другой стороны, вот два наших молодых прозаика выступили в журнале “Ончыко” с повестями (Алексей Александров – “Узел сердец”, Геннадий Алексеев – “Сиротская душа”), попытались поглубже заглянуть в душу человеческую, острее, чем привычно, поставить проблемы современного села. Это была попытка прорвать традицию вторичной “деревенской” прозы. Наша критика встретила ее в штыки, она подошла к этим вещам с критериями чуть ли не 20-летней давности. “Городской”, “молодежной” прозы у нас нет. Молодые (к названным именам можно прибавить имена Валерия Берлинского, Геннадия Гордеева) приблизились, скажем, к некоторым “запретным” в контексте местной ситуации темам (брошенные дети, алкоголизм, более открытое изображение интимной сферы). И тут же посыпались обвинения чуть ли не во фрейдизме, натурализме, порнографии. Хотя у них через интимное, через сферу эмоций, просвечивают как раз социальные проблемы»».

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.